ЦВЕТ ЛИТЕРАТУРЫ



Richard

YATES

Young Hearts Crying

Ричард

ЙЕЙТС

Плач юных сердец

NATIONAL BOOK AWARD FINALIST

Финалист Национальной книжной премии США

АЗБУКА

Плач юных сердец
Ричард Йейтс

Аннотация
Ричард Йейтс. Плач юных сердец
Часть первая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Глава шестая
  Глава седьмая
Часть вторая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Глава шестая
  Глава седьмая
Часть третья
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья

Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
О Ричарде Йейтсе

Аннотация

Впервые на русском — самый масштабный, самый зрелый роман американского классика Ричарда Йейтса, изощренного стилиста, чья изощренность проявляется в уникальной простоте повествования, «одного из величайших американских писателей двадцатого века» (Sunday Telegraph), автора «Влюбленных лжецов» и «Пасхального парада», «Холодной гавани», «Дыхания судьбы» и прославленной «Дороги перемен» — романа, который послужил основой недавно прогремевшего фильма Сэма Мендеса с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях (впервые вместе после «Титаника»!). Под пером Йейтса герои «Плача юных сердец» — поэт Майкл Дэвенпорт и его аристократическая жена Люси, наследница большого состояния, которое он принципиально не желает трогать, рассчитывая на свой талант, — проживают не один десяток лет, вместе и порознь, снедаемые страстью то друг к другу, то к новым людям, но всегда — к искусству…

Удивительный писатель с безжалостно острым взглядом.

Time Out

Один из важнейших авторов второй половины века… Для меня и многих писателей моего поколения проза Йейтса была как глоток свежего воздуха.

Роберт Стоун

Ричард Йейтс, Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй — три несомненно лучших американских автора XX века. Йейтс достоин высочайшего комплимента: он пишет как сценарист — хочет, чтобы вы увидели все, что он описывает.

Дэвид Хейр

Ричард Йейтс — писатель внушительного таланта. В его изысканной и чуткой прозе искусно соблюден баланс иронии и страстности. Свежесть языка, резкое проникновение в суть явлений, точная передача чувств и саркастический взгляд на события доставляют наслаждение.

Saturday Review

Подобно Апдайку, но мягче, тоньше, без

нарочитой пикантности, Йейтс возделывает ниву честного, трогательного американского реализма.

Time Out Book of the Week

Каждая фраза романа в высшей степени отражает авторскую цельность и стилистическое мастерство. Йейтс — настоящий художник.

The New Republic

Ричард Йейтс
Плач юных сердец[1]

Трем моим дочерям

---

[1] Примечания: 1

В оригинале название романа — дословная цитата из стихотворения Д. Джойса «Наблюдая за лодками в Сан-Саббе» (сборник «Пенни за штуку», 1927):

Молодые сердца, стеная,
В лодках к любви скользят,
И шепчет трава степная:
Нет, не вернуться назад.
О сердца, о травы печали,
Флаг любви ваш напрасно поднят!
Ветер дикий утих, и едва ли
Он вернется назад.

(Пер. П. Серебряного)

Часть первая

Глава первая

К двадцати трем годам Майкл Дэвенпорт научился доверять собственному скептицизму. Легенды и мифы любого рода быстро выводили его из терпения, даже когда формулировались в виде общих положений; ему хотелось, причем всегда, докопаться до реальной истории.

Совершеннолетие он отметил в Европе, бортовым стрелком на бомбардировщике Б-17, незадолго до окончания войны, и меньше всего в армейской авиации ему нравилось, как ее подавали общественности. Люди думали, что из всех военных летчики — самые везучие и самые счастливые: их и кормили лучше, и расквартировывали удачнее, и платили им больше, чем всем остальным; им-де предоставляли больше свободы и давали хорошую одежду, которую можно было носить как обычную. Кроме того, считалось, что к военной дисциплине у летчиков не так сильно придирались: полет, отвага и высокий дух товарищества ставились выше слепого чинопочитания; офицеры могли приятельствовать с рядовыми, если им того хотелось, и, даже когда летчики отдавали честь, как того требует устав,

эта процедура превращалась в их исполнении в убийственную, отвязную пародию на саму себя. Говорили, что в сухопутных войсках пилотов завистливо называли «летунами».

Вся эта болтовня была, наверное, вполне безобидной, спорить из-за нее не имело смысла, но Майкл Дэвенпорт никогда не забывал, что годы, проведенные им в воздушных силах, были самыми унизительными, нудными и мрачными; что в сражениях он едва не умирал от страха; что он был несказанно рад развязаться со всей этой дрянью, когда война наконец закончилась.

Тем не менее домой он привез и пару хороших воспоминаний. Первое относилось к соревнованиям по боксу на военной базе Бланчард-Филд в Техасе, где он дошел до финала в среднем весе, — в Морристауне, штат Нью-Джерси, найдется не много адвокатских сынков, способных похвастаться таким достижением. Второе — о нем размышлял так долго, что оно разрослось до философических масштабов, — касалось замечания, которое обронил в духоте скучнейших послеобеденных занятий безымянный инструктор по стрельбе.

— И еще запомните, ребятки: профессионал — это тот, кто в любом деле — в *любом* деле, я

подчеркиваю, — может сделать так, чтобы сложные вещи оказались простыми.

Майкл сидел среди сонных курсантов, разбуженный этой пронзительной мыслью, и уже тогда ему давно было ясно, в каком деле он хотел бы в итоге достигнуть такого профессионализма: ему хотелось писать стихи и пьесы.

Как только его уволили из армии, он поступил в Гарвард — главным образом потому, что именно туда советовал поступать отец; поначалу он был полон решимости ни в коем случае не поддаваться легендам и мифам Гарварда: доходило даже до того, что он не желал признавать природную красоту этого места, не говоря уж о том, чтобы ею восхищаться. Гарвард был для него «школой», одной из многих школ, одинаково жадных до денег, причитавшихся ему по Солдатскому биллю о правах[2].

---

[2] Примечания: 2

Ряд законов об обеспечении солдат, демобилизованных после войны (GI Bill of Rights). Первый из них — Закон о компенсациях ветеранам Первой мировой войны — был принят в 1924 г. В 1944 г. законодатели дополнили пакет Законом об обеспечении демобилизованных солдат (Servicemen's Readjustment Act), вводившим финансирование медицинского обслуживания, оплату образования в колледжах, гарантии ссуд на приобретение жилья или фермы, денежные пособия безработным ветеранам и другие виды помощи. Из 12 миллионов вернувшихся с войны мужчин и женщин не менее восьми воспользовались займом на образование, что навсегда изменило социальный статус высшей школы в США. — Здесь и далее прим. перев.

Но через год-другой он стал понемногу смягчаться. Большинство курсов оказались весьма интересными, большинство книг именно того рода, что он всегда хотел прочитать, а другие студенты, во всяком случае некоторые из них, именно теми, с кем ему всегда хотелось общаться. Он не носил свою старую армейскую форму — в университете тогда было полно облаченных в военные кители молодцев, но их по большей части серьезно не воспринимали и звали «профессиональными ветеранами». Он оставил, правда слегка закрученные, усы (единственное, что ему понравилось в армии), да и то потому, что до сих пор чувствовал потребность выглядеть взрослее. Пару раз он все же признавался себе, что, в сущности, его ничуть не раздражает ни блеск, который появлялся в глазах у людей, когда выяснялось, что он был воздушным стрелком, ни повышенное к себе внимание, ни даже то, что его ироничное отношение, похоже, только усиливало впечатление. В конце концов он был готов поверить, что Гарвард и вправду дает не самые плохие возможности, чтобы научиться делать сложные вещи простыми.

И вот в один прекрасный весенний день, на третьем курсе, когда горечь уже ушла, а скепти-

цизм примолк, он не смог устоять перед легендой и мифом о прекрасной девушке из Рэдклифа[3], которая может появиться в любой момент и полностью переменить твою жизнь.

— Ты так много знаешь, — сказала она; они сидели за столиком в ресторане, и она сжимала обеими руками его ладонь. — Не знаю, как еще сказать. Ты просто… так много *знаешь*.

Девушку из Рэдклифа звали Люси Блэйн. Ей досталась главная роль в первой одноактной пьесе Майкла, которую было не стыдно поставить в небольшом студенческом театре, и вот он наконец-то решился пригласить ее пообедать.

— Каждое слово, — продолжала она, — каждый звук и каждая пауза в этой пьесе выдают в авторе глубочайшее понимание… мм… человеческого сердца. Ну вот, господи ты боже мой, я тебя смутила.

Так оно и было: он настолько смутился, что не смел поднять глаз и мог только надеяться, что это не заставит ее сменить тему. Это была не самая красивая девушка на свете, однако это была

---

[3] Примечания: 3

Рэдклиф — женский колледж свободных искусств и наук, расположенный, как и Гарвард, в Кембридже, штат Массачусетс. Начиная с 1963 г. Рэдклиф стал выдавать двойные дипломы (Рэдклиф/Гарвард), а в 1999 г. полностью слился с Гарвардским университетом.

первая красивая девушка, проявившая к нему такой интерес, и он знал, что на таком сочетании можно далеко уехать.

Как только представилась возможность предложить пару ответных комплиментов, он рассказал, с каким удовольствием наблюдал за ее игрой на репетициях.

— Нет-нет, — быстро проговорила она, и он только теперь заметил, что она давно уже рвет свою салфетку на ровные, строго параллельные полосы. — То есть спасибо, конечно, мне приятно это слышать, только никакая я не актриса. Если бы я была актрисой, я пошла бы на актерский, работала бы во всех летних театрах, рвалась бы на прослушивания и так далее. Нет. — Она собрала все полоски в кулак и слегка стукнула им по столу в подтверждение своих слов. — Нет, мне просто нравится играть — как девочкам нравится наряжаться в наряды своей матери. Одним словом, я даже и мечтать не могла — не могла даже мечтать, что буду когда-нибудь играть в такой пьесе, как эта.

Он уже обнаружил, пока они шли из театра, что она идеально подходила ему по росту: ее макушка покачивалась где-то у края его плеча; по возрасту она тоже подходила: ей было двадцать, ему скоро

исполнится двадцать четыре. Теперь, приведя ее в свою невзрачную «одобренную»[4] комнату на Уэйр-стрит, он спрашивал себя: возможно ли, что это установившееся уже идеальное соответствие, эта явная близость к совершенству никуда не исчезнут? Или где-то должен произойти сбой?

— Что же, примерно это я себе и представляла, — сказала она, когда он впустил ее к себе, украдкой осматривая комнату, не валяются ли на виду грязные носки или трусы. — Просто, пустовато, все приспособлено для работы. И все так… по-мужски.

Близость к совершенству никуда не исчезала. Когда она отвернулась, чтобы посмотреть в окно: «А как здесь, наверное, светло и приятно по утрам! Высокие окна! А какие деревья!» — казалось совершенно естественным подойти сзади, обхватить руками ее груди и приникнуть ртом к шее.

Не прошло и минуты, как они, голые, уже упивались друг другом под армейскими одеялами на его двуспальной кровати, и Майкл Дэвенпорт обнаружил, что не знал еще такой славной и чут-

---

[4] Примечания: 4

«Одобренное жилье» — жилье, которое студенты старших курсов имели право снимать вне университетского кампуса при одобрении университета. Это право предоставлялось наиболее успешным студентам.

кой девушки и никогда даже не догадывался, что девушка может оказаться таким беспредельным, таким необычайным миром.

— О господи! — проговорил он, когда они наконец успокоились, и ему хотелось сказать ей что-нибудь поэтическое, только он не знал как. — О господи, какая же ты замечательная, Люси!

— Я рада, что ты так думаешь, — ответила она тихо, едва различимо, — потому что, по-моему, ты удивительный.

А в Кембридже стояла весна. Все остальное не имело ни малейшего значения. Даже пьеса утратила свою важность: когда рецензент гарвардской газеты «Кримзон» назвал ее «излишне схематичной», а игру Люси охарактеризовал как «приблизительную», они ничуть не расстроились. Будут и другие пьесы, они не за горами; и потом, все знают, какие завистливые снобы пишут эти рецензии в «Кримзон».

— Не помню, может, я уже спрашивал, — сказал он как-то во время прогулки в Бостонском парке, — чем занимается твой отец?

— Папа? Он вроде управляет каким-то бизнесом. Никогда толком не понимала, чем именно он занимается.

И это была первая подсказка, если не считать

ее изысканно простой одежды и таких же манер, что Люси — девочка из очень богатой семьи.

Когда через месяц или два она повезла его знакомиться с родителями в их летний дом на Мартас-Виньярд[5], появились и другие подтверждения. Никогда он не видел ничего подобного. Сначала надо было доехать до глухой деревушки под названием Вудс-Хоул, погрузиться там на неожиданно роскошный паром, который уходил далеко в открытое море, потом, после высадки на далеком «острове-винограднике», ехать по дороге, проложенной между высокими нестриженными кустами, и через некоторое время свернуть на едва заметный проезд, приводивший — мимо лужаек и деревьев — почти к самой кромке нежного океана; там и стоял дом Блэйнов — длинный и очень просторный; стекла в нем было ничуть не меньше, чем дерева, и деревянные секции, отделанные темно-коричневым гонтом, в неровном солнечном свете отдавали серебром.

— Я уже было думал, что мы никогда тебя не увидим, Майкл, — сказал отец Люси, когда они пожали друг другу руки. — Мы только твое имя

[5] Примечания: 5

Мартас-Виньярд («Виноградник Марты») — остров на юго-востоке штата Массачусетс, известный как место летнего отдыха очень богатых американцев.

и слышим начиная с… хм… всего-то с апреля. Но кажется, что гораздо дольше.

Супруги Блэйн были высокой, стройной, элегантной парой с такими же умными лицами, как у дочери. Кожа у них была загорелая и упругая — обычный эффект от занятий теннисом и плаванием, — а хрипловатые голоса свидетельствовали о том, что оба отдают должное ежедневному алкоголю. Им нельзя было дать больше сорока пяти. Когда они сидели, улыбаясь, на длинном, обитом ситцем диване в своих безупречных летних костюмах, их можно было снимать в качестве иллюстрации для какой-нибудь журнальной статьи под заголовком «Есть ли в Америке аристократия?».

— Люси, — заговорила миссис Блэйн, — вы сможете остаться на воскресенье? Или романтическая необходимость влечет вас в Кембридж?

Негритянка-горничная бесшумно внесла поднос, и напряжение, сперва витавшее над их собранием, стало отступать. Смакуя первые глотки ледяного сухого мартини, Майкл откинулся на спинку кресла и украдкой посмотрел на девушку своей мечты, до сих пор не веря в происходящее. Потом его взгляд скользнул вдоль верхней кромки стены: далеко-далеко одна линия встречала

под прямым углом другую, а еще дальше в послеполуденной игре теней открывался вид на другую комнату, за ней — еще на одну, а потом еще, еще и еще. В этом доме царил вечный покой, создать который могло лишь продленное на несколько поколений богатство. Это было высшее сословие.

— Что еще за «высшее сословие»? Что ты имеешь в виду? — спросила его Люси на следующий день, когда они гуляли вдвоем вдоль узкого пляжа. От раздражения она даже нахмурилась. — Когда ты бросаешься такими словами, ты становишься похожим или на пролетария, или на дурака. Не говори ерунды.

— Но по сравнению с тобой я и есть пролетарий.

— Глупости, — ответила она. — Ничего глупее я никогда от тебя не слышала.

— Ладно. Скажи только, мы можем не оставаться здесь на воскресенье, а уехать прямо сегодня?

— Думаю, да, без проблем. Но почему?

— Потому что. — Он остановился, чтобы дождаться, когда она повернется к нему и его пальцы смогут сквозь ткань блузки прикоснуться с величайшей нежностью к одному из ее сосков. — Потому что романтическая необходимость влечет нас в Кембридж.

Его самой насущной романтической необходимостью на протяжении всей осени и зимы оставался поиск благовидных аргументов против ее осторожного, но весьма настойчивого стремления пожениться.

— Конечно, мне хочется, — говорил он. — И ты прекрасно это знаешь. Хочется ничуть не меньше, чем тебе, а может, даже больше. Мне просто кажется, что жениться раньше, чем я найду какую-нибудь работу, не слишком умный поступок. Разве это не логично?

И она вроде бы соглашалась, однако довольно быстро он понял, что для Люси Блэйн логика не значила так много.

Свадьбу назначили через неделю после выпускного. На протяжении всей церемонии его родители, прибывшие по этому случаю из Морристауна, скрывали свое замешательство за вежливыми улыбками, и Майкл обнаружил себя женатым, так и не разобравшись до конца, как это все получилось. Такси доставило их из церкви на торжественный прием, устроенный в старом каменном здании у подножия Бикон-Хилл[6],

[6] Примечания: 6

Бикон-Хилл — один из самых престижных районов Бостона с исторической застройкой. Изначально холм был самой высокой точкой в округе, и на нем располагался маяк (beacon) — отсюда название.

и, когда они с Люси выходили из машины, над ними нависла грозная фигура конного полицейского: его красивая ухоженная лошадь стояла, как статуя, у самой кромки тротуара, а сам он приложился к фуражке, отдавая честь.

— Боже, — сказал Майкл, когда они устремились вверх по изящной лестнице, — за сколько же можно нанять конного полицейского для свадебной вечеринки?

— Не знаю, — нетерпеливо ответила она. — Не думаю, что задорого. За пятьдесят?

— Нет, солнышко, в пятьдесят тут никак не уложиться, — сказал он ей. — Хотя бы потому, что надо закупить овес для лошади.

Она засмеялась и приникла к его руке, давая понять, что оценила его остроумие.

В одном из трех или четырех открытых для приема огромных залов небольшой оркестр играл попурри из мелодий Кола Портера, и всюду сновали согбенные под грузом заказов официанты. Один раз Майклу удалось разглядеть в море гостей своих родителей, и он был рад обнаружить, что в этой толпе незнакомцев у них не было недостатка в собеседниках и что их морристаунские наряды смотрелись неплохо, но потом он снова потерял их из виду. Дряхлый старикашка (на лац-

кане его пошитого на заказ костюма красовался какой-то редкий знак отличия в виде шелковой розочки) пытался, сражаясь с одышкой, объяснить, что он помнит Люси в младенческом возрасте: «В *коляске*! В крошечных шерстяных варежках и в *ботиночках*!» — а другой, помоложе, поинтересовался после рукопожатия, от которого у Майкла захрустели суставы, как, по его мнению, следует относиться к облигациям, погашаемым из выкупного фонда. Потом было три девушки, знавшие Люси «по Фармингтону»: визжа от счастья, они кинулись ее обнимать, а она еле дождалась, когда они уйдут, чтобы сказать Майклу, как она их всех ненавидит; за ними последовали женщины возраста ее матери: смахивая воображаемые слезы, они говорили, что никогда еще не видели такой прекрасной невесты. Притворяясь, что вслушивается в пьяные излияния человека, который играл в сквош с отцом Люси, Майкл опять вспомнил о конном полицейском на тротуаре. Очевидно, нанять полицейского с лошадью было бы невозможно; поставить их там могло в знак внимания только полицейское управление или мэр, из чего следовало, что семейство Люси не только богато, но и пользуется определенным влиянием.

— Мне кажется, все прошло удачно, правда же? — сказала Люси поздней ночью, когда они остались одни в роскошном люксе отеля «Копли-Плаза». — Церемония получилась приятная; вечер, правда, под конец слегка испортился, но, с другой стороны, иначе и не бывает.

— Да нет, все было прекрасно, — успокоил он. — Но я все равно рад, что это уже позади.

— Боже, а я-то как рада!

Люкс в этом роскошном отеле был оплачен для них на неделю вперед, и, только когда половина этого изнеженного, свободного от грубой повседневности существования под пристальными взглядами незнакомцев была уже позади, Люси решилась наконец объявить о том, что значительно осложнит их отношения в будущем.

Это произошло утром, после завтрака, когда официант уже укатил тележку с дынными корками, размокшими хлопьями недоеденных круассанов и тарелками, испачканными яичным желтком. Люси сидела перед зеркалом, причесывалась и наблюдала, как ее новоиспеченный муж расхаживает по ковру у нее за спиной.

— Майкл, — сказала она, — присел бы ты на минуту, а? Потому что эта ходьба меня раздражает. И еще… — добавила она, кладя расческу на

туалетный столик с такой осторожностью, будто та могла разбиться, — и еще потому, что я должна сообщить тебе нечто важное.

И пока они усаживались для разговора в пухлых гостиничных креслах вполоборота друг к другу, он сначала подумал, что она, наверное, беременна (и радостного в этом мало, однако ничего плохого тоже нет) или ей сказали, что у нее вообще не может быть детей; потом его смятенному уму представилась еще одна страшная возможность: она могла быть смертельно больна.

— С самого начала я хотела, чтобы ты это знал, — сказала она, — но боялась, что от этого все переменится.

Теперь ему казалось, что он едва знаком с этой длинноногой симпатичной девушкой, которую он, возможно, так никогда и не приучится называть «женой»; холодок ужаса поднимался от мошонки к горлу, и он сидел, глядя на ее губы в ожидании худшего.

— А теперь нужно перестать бояться, вот и все. Я тебе все сейчас расскажу, могу только надеяться, что ты не воспримешь это… ну, как бы там ни было. Суть в том, что у меня есть деньги — не то три, не то четыре миллиона. Мои собственные.

— А-а-а, — сказал он.

Вспоминая об этом позже, даже много лет спустя, Майкл не мог избавиться от ощущения, что дни и ночи, остававшиеся до отъезда из этого отеля, были заполнены исключительно разговорами. И хотя присущая спору напряженность появлялась в их голосах лишь изредка, а до ссоры дело не дошло ни разу, они вели спокойный, но предельно серьезный разговор, который крутился вокруг одних и тех же вопросов и в котором явно присутствовали две точки зрения.

Позиция Люси состояла в следующем: раз для нее деньги никогда ничего не значили, то почему для него они должны значить нечто большее, чем исключительную возможность для работы, — он будет свободен, у него будет много времени. Они смогут жить где угодно. Смогут ездить, если будет такое желание, пока не найдут место, способное обеспечить им наполненную, плодотворную жизнь. Разве не об этом мечтает большинство писателей?

И Майкл признавал, что выглядит все это заманчиво — господи, еще как заманчиво! — но у него была другая позиция: как выходец из среднего класса, он всегда думал, что сможет построить свою жизнь самостоятельно. Стоит ли ждать, что

он вот так вдруг откажется от этой усвоенной с детства мысли? Если он станет жить на ее состояние, все его устремления могут просто сойти на нет; возможно, он даже лишится энергии, необходимой, чтобы вообще начать работать; и для него немыслимо платить такую цену.

Он надеялся, что она поймет его правильно: конечно же, замечательно знать, что у нее есть все эти деньги, хотя бы потому, что это означает, что за будущее их детей можно не беспокоиться, оно всегда будет обеспечено трастовыми фондами и прочими штуками. Но пока что будет все-таки лучше, если все эти денежные дела останутся строго между ней и ее банкирами, или брокерами, или кто там еще этим занимается.

Она снова и снова уверяла, что его подход к делу «достоин восхищения», но он каждый раз отвергал этот комплимент, говоря, что восхищаться тут нечем, что он всего лишь проявляет упорство. Он всего-навсего хочет жить так, как планировал жить с ней задолго до свадьбы.

Они поедут в Нью-Йорк, там он пойдет работать, как и другие начинающие писатели, в какое-нибудь рекламное агентство или в издательство — эту дурацкую работу любой идиот может делать левой ногой, — они будут жить на

его зарплату как обыкновенная молодая пара, желательно в какой-нибудь простой, но приличной квартире в Уэст-Виллидж. На самом деле единственная разница, после того как он узнал о ее миллионах, сводится к тому, что им обоим придется скрывать это от других обыкновенных молодых людей, с которыми им предстоит познакомиться.

— Разве ты не согласна, что это и в самом деле самое разумное решение, — спрашивал он ее, — по крайней мере до поры до времени? Люси, ты понимаешь, к чему я веду?

— Ну, — сказала она, — когда ты говоришь «до поры до времени», я, конечно, могу… тогда я, конечно, понимаю. Потому что в случае чего у нас всегда будут деньги.

— Хорошо, — уступил он. — Но откуда взялось это «в случае чего»? Разве я когда-нибудь давал тебе повод думать, что меня остановят какие-то «случайности»?

И он сразу же порадовался, что ввернул удачную фразу. Потому что, пока они разговаривали, он не раз ловил себя на том, что готов был уже выпалить, что принять ее деньги значило бы для него поставить под угрозу свое «мужское достоинство» или даже «выхолостить» себя, теперь же

можно было забыть об этих неприятных мотивах этой слабой и отчаянной защиты.

Он снова был на ногах и снова ходил по комнате, сжимая кулаки в карманах брюк. Потом он остановился у окон, выходивших на Копли-сквер, и смотрел какое-то время на залитый утренним солнцем поток пешеходов, спешивших на работу по Бойлстон-стрит, и на простиравшееся над зданиями бесконечное темно-синее небо. Стояла хорошая, летная погода.

— Мне просто хочется, чтобы ты не торопясь обдумал этот вопрос, вот и все, — заговорила Люси из глубины комнаты, где-то у него за спиной. — Попробуй посмотреть на вещи без предубеждений.

— Нет, — ответил он наконец, оборачиваясь к ней. — Нет. Извини, девочка, но мы будем жить, как я сказал.

Глава вторая

В Нью-Йорке они нашли жилье, в точности такое, как он описывал: простую, но приличную квартиру в Уэст-Виллидж. Они заняли три комнаты на первом этаже на Перри-стрит, неподалеку от пересечения с Хадсон; в самой маленькой из них Майкл корпел за закрытыми дверями над сборником стихов, который он хотел закончить и продать к собственному двадцатишестилетию.

Найти правильную работу для левой ноги оказалось, правда, чуть труднее, чем он думал. После нескольких интервью он стал подозревать, что от работы в рекламном агентстве легко может сойти с ума, и в итоге устроился в отдел «разрешений» одного небольшого издательства. Работа его сводилась главным образом к безделью: большую часть рабочего времени он сидел над своими стихотворениями, что вроде бы никого не раздражало, потому что никто этого даже не замечал.

— Что ж, ситуация как будто бы идеальная, — сказала Люси, и это было бы справедливо, если бы не зарплата: денег, которые он приносил домой, едва хватало на еду и оплату квартиры.

Имелся, правда, небезосновательный расчет на

то, что его повысят: других сотрудников из его застойного отдела время от времени забирали «наверх» и платили им по-настоящему; так что он решил поторчать там еще годик. Когда ему исполнилось двадцать шесть, книга была еще далека от завершения, потому что он выбросил из нее много слабых ранних стихотворений; в том же году обнаружилось, что Люси ждет ребенка.

К апрелю 1950 года, когда появилась на свет их дочь Лаура, он уже не сидел без дела в издательстве, найдя место, где платили получше. Как штатный сотрудник бойкого, быстро развивающегося отраслевого журнала «Мир торговых сетей», он целыми днями выстукивал материалы о «новых, смелых и революционных концепциях» в розничной торговле. Делать эту работу одной левой ногой было нельзя — эти ребята хотели черт знает сколько всего в обмен на свои деньги, — и, прислушиваясь к стуку своей машинки, он порой удивлялся, что́ здесь может делать человек, женатый на миллионерше.

Домой он всегда возвращался усталым и никак не мог отказать себе пропустить пару стаканчиков; о послеобеденном затворничестве один на один с рукописью нельзя было и мечтать: в его бывшем кабинете теперь располагалась детская.

Он, правда, знал, даже если ему и приходилось то и дело напоминать себе об этом, что только последний дурак стал бы жаловаться на жизнь в его ситуации. Люси превратилась в образец безмятежного материнства — ему нравилось выражение ее лица, когда она кормила грудью ребенка, да и сам ребенок, с мягкой, как цветочный лепесток, кожей, с круглыми темно-синими глазами, был источником постоянного восхищения. «Ах, Лаура, — хотелось ему сказать каждый раз, когда он носил ее на руках, чтобы она заснула, — о крошка, верь мне. Просто верь мне и ничего не бойся».

Довольно скоро он вполне освоился с работой в «Мире торговых сетей». Получив отдельную похвалу за несколько своих «сюжетов», он начал расслабляться (в конце концов, может, и не стоит так выкладываться ради всего этого дерьма) и вскоре подружился с другим штатным сотрудником — приветливым и разговорчивым молодым человеком по имени Билл Брок, который, похоже, презирал эту работу еще больше, чем он сам. Окончив Амхерст[7], Брок пару лет занимался

[7] Примечания: 7

Амхерст — один из старейших частных гуманитарных колледжей (основан в 1821 г.) в штате Массачусетс.

организационной работой в профсоюзе электриков — «лучшее и самое полезное время в моей жизни» — и теперь сидел над «романом из жизни рабочего класса», как он сам его называл.

— Смотри, у нас есть Драйзер, Фрэнк Норрис[8] и еще пара человек, — объяснял он, — ну, допустим, еще ранний Стейнбек, но, вообще-то, пролетарской литературы в Америке не было и нет. Получается, что мы боимся посмотреть правде в глаза и при этом не обосраться.

А иногда он вроде бы чувствовал, что его страсть к общественным переменам несколько абсурдна, и поэтому отшучивался, удрученно качая головой, и говорил, что, судя по всему, опоздал родиться лет на двадцать.

Когда Майкл пригласил его как-то вечером в гости, он ответил:

— Конечно. С удовольствием. Ничего, если я приду с девушкой?

— Разумеется.

А когда Майкл начал записывать для него свой адрес на Перри-стрит, Брок сказал:

— Черт побери, мы же практически соседи. Мы

---

[8] Примечания: 8

Бенжамин Фрэнклин Норрис (1870–1902) — американский писатель-натуралист, автор романов «Мактиг», «Спрут. Калифорнийская история» и «Омут» о спекуляциях на чикагской бирже.

живем в двухстах ярдах от вас, с другой стороны Эбингдон-сквер. Отлично, придем обязательно.

И ровно с той минуты, когда Брок привел свою девушку в квартиру Дэвенпортов («Знакомьтесь: Диана Мэйтленд»), Майкл начал опасаться, что до конца своей жизни будет тайно, до боли влюблен в нее. Она была стройная и темноволосая, с печальным молодым лицом, от которого ожидаешь тонкой игры выражений; держалась она немножко как модель или, точнее, с той небрежной и утонченной грацией, какую профессиональная выучка либо доводит до совершенства, либо вовсе уничтожает. Он не мог оторвать от нее глаз и только надеялся, что Люси этого не заметит.

Когда они сидели вчетвером с первым или вторым бокалом, Диана Мэйтленд бросила на него быстрый, озорной взгляд.

— Майкл похож на моего брата, — сказала она Броку. — Правда ведь? Я имею в виду, не столько лицом, сколько общим сложением и манерами, ну как-то в целом похож.

Билл Брок нахмурился и, хоть был, похоже, не согласен, сказал:

— Так или иначе, но это большой комплимент, Майк: она всегда была без ума от своего брата. Хороший, кстати, парень; думаю, тебе бы он по-

нравился. Временами унылый и депрессивный, но, в сущности, очень… — Он поднял руку в знак того, что не потерпит от Дианы никаких возражений. — Да ладно тебе, детка, не надо говорить, что я к нему несправедлив. Ты же знаешь, что он кого угодно достанет, когда напивается, встает в позу Великого Трагического Художника и начинает нести этот свой глубокомысленный бред.

И в полной уверенности, что Диана возражать не будет, он снова обратился к Дэвенпортам, чтобы сообщить, что Пол Мэйтленд — художник.

— И все говорят, что дико хороший; во всяком случае, нужно отдать ему должное: он пашет как проклятый, и его, похоже, не колышет, сможет ли он что-нибудь за это получить. Живет у черта на рогах — на Деланси-стрит, или как там эта жуть называется, снимает за тридцать баксов в месяц огромную, как сарай, студию. На квартиру и на выпивку зарабатывает плотницкими заказами — примерно представляете, да? Тот еще фрукт. А предложи работу вроде нашей — дизайнером каким-нибудь или типа того, — сразу заедет в челюсть. Решит, что его заставляют прогибаться. Скажет, что ему предлагают продаться, — вот именно такими словами: «продаться». Нет, Пол мне всегда дико нравился, он меня восхищает.

Меня вообще восхищают люди, у которых хватает духу… так сказать, хватает духу идти своей дорогой. Мы с Полом вместе учились в Амхерсте; так что, если бы не он, я бы никогда и не встретил это вот существо.

Выражение «это вот существо» звенело у Майкла в голове весь вечер и много после. За столом Диана Мэйтленд, не упускавшая случая похвалить кулинарные таланты Люси, могла быть просто девушкой; в тот час или два, что они провели потом за разговорами, она тоже была всего лишь девушкой, девушкой она оставалась и пока Билл Брок подавал ей пальто в прихожей, пока они прощались и пока их шаги звенели, постепенно затихая, по Эбингдон-сквер, через которую они шли домой к Броку, «к себе» домой, но, когда они оказались дома, когда дверь была закрыта, а одежда разбросана по полу, когда она билась и стонала в объятиях Брока, у Брока в постели, она была существом.

Той осенью переходы через Эбингдон-сквер в обоих направлениях совершались еще не раз. И каждый раз Майкл собирался с силами, чтобы решиться на новое сравнение, и быстро переводил взгляд с Дианы на Люси в надежде, что Люси окажется более привлекательной, однако каж-

дый раз его ждало разочарование. Диана вновь и вновь брала верх — господи, какая девушка! — и через некоторое время он решил бросить эти подлые тайные сравнения. Потому что заниматься такими вещами тупо, просто тупо. Наверное, другие женатые мужчины занимаются время от времени абсолютно тем же самым и вряд ли преследуют иную цель, чем самоистязание, но не надо быть сильно умным, чтобы понимать, как все это тупо. К тому же, когда они с Люси оставались одни и он мог рассматривать ее под разными углами и в разном свете, ему не составляло труда убедиться, что ее красоты ему хватит на всю жизнь.

Как-то в декабре — на улице стоял дикий холод — все четверо по настоянию Дианы сели в такси и поехали в гости к ее брату.

Пол Мэйтленд, как выяснилось, был вовсе не похож на Майкла: усы он, правда, носил примерно такой же формы (и, смутившись на мгновение при виде незнакомых людей, он приглаживал их красивыми длинными пальцами), но гораздо пышнее — то были усы бесстрашного молодого бунтаря, а не щеточка офисного труженика. Гибкий, поджарый, он повторял в мужском изводе тип собственной сестры; на нем были джинсы и

куртка «Левайс», а под ней — свитер, какой носят матросы торгового флота; разговаривал он с большой любезностью, тихо, почти шепотом, так что собеседнику приходилось чуть склоняться к нему из страха что-нибудь не расслышать.

Пока он вел гостей через студию — обыкновенный большой чердак, принадлежавший раньше какой-то небольшой фабрике, — выяснилось, что картины им посмотреть не удастся, потому что они были испещрены тенями от яркого уличного фонаря за окном. В дальнем углу на веревках висели длинные куски тяжелого брезента, создавая нечто вроде палатки, и внутри этого небольшого ограждения Пол Мэйтленд устроил себе зимовье. Он приподнял край брезента, пропустил их внутрь, и они увидели других людей, сидящих с красным вином в тепле керосиновой печки.

После необязательного обмена приветствиями Майкл не запомнил имен, но теперь его гораздо больше имен беспокоила одежда. Усевшись со стаканом теплого вина на перевернутый ящик из-под апельсинов, он думал только о том, что в этой компании они с Биллом Броком должны выглядеть совершенно неуместно: деловые костюмы, наглухо застегнутые рубашки, шелковые галстуки — пара улыбчивых проныр с Меди-

сон-авеню[9]. К тому же он знал, что Люси тоже должна чувствовать себя неловко, хотя желания заглянуть ей в глаза и выяснить этот вопрос у него не было.

Диане в этом собрании были явно рады: стоило ей выползти из-под брезента, как внутри раздались приветственные крики: «Диана!», «Детка!» — и теперь она вела оживленную беседу с лысоватым молодым человеком (судя по одежде, тоже художником), изящно расположившись на полу у ног своего брата. Если Брок ей когда-нибудь надоест — а какой первоклассной девушке Брок в скором времени не надоест? — ей не придется раздумывать, куда податься дальше.

Была там еще девушка по имени Пегги — на вид ей было не больше девятнадцати-двадцати лет, — с милым серьезным лицом, в крестьянской блузе и широкой юбке в сборку, казалось, она была преисполнена решимости доказать, что принадлежит Полу. Она сидела, прижавшись к нему, на низком диване, который, очевидно, по ночам служил им кроватью; она не сводила с него взгляда, и было понятно, что обнять его ей тоже очень хотелось бы. Он же будто совсем

---

[9] Примечания: 9
Медисон-авеню — центр рекламной индустрии Нью-Йорка.

ее не замечал, когда, склонившись над плитой и задрав подбородок, обменивался немногословными репликами с человеком, сидевшим на ящике из-под апельсинов рядом с Майклом; потом он, правда, откинулся назад и наградил ее ленивой улыбкой, а через некоторое время приобнял.

В этой сухой, сильно перегретой импровизированной комнатенке больше всех на художника был похож человек, сидевший на ящике рядом с Майклом: на нем был белый комбинезон, весь в пятнах и разноцветных мазках, но он быстро объяснил, что он «только любитель, всего лишь вдохновенный дилетант». У него был небольшой строительный бизнес — это он подбрасывал Полу плотницкие заказы, благодаря которым тот держался на плаву.

— И для меня это большая честь, — сказал он, пригнувшись поближе к Майклу и перейдя на шепот, чтобы его слова не дошли до хозяина. — Для меня это большая честь, потому что этот парень правильный. Этот парень — настоящий.

— Ну что ж, это… славно, — сказал Майкл.

— И на войне ему досталось.

— Да?

Об этой стороне биографии Пола Мэйтленда Майклу слышать еще не приходилось, вероятно,

потому, что Билл Брок, которого во время войны признали негодным к службе, отчего он до сих пор страдал, был не расположен об этом распространяться.

— Да, черт побери, да. Не по полной, конечно, — слишком он молодой, но с Арденн[10] до самого конца оттрубил. В пехоте. Стрелок-пехотинец. Сам он об этом не рассказывает, но куда от этого денешься? По картинам все видно.

Майкл ослабил галстук и расстегнул воротник рубашки, как будто это могло помочь ему разобраться в ситуации. Он не знал, что обо всем этом думать.

Человек в комбинезоне сполз к стоявшему на полу кувшину и налил себе еще вина; вернувшись на место и сделав глоток, он вытер рукавом рот и снова доверительно заговорил с Майклом о предмете своего почитания.

— В Нью-Йорке этих художников как грязи, — сказал он. — Да вся страна ими кишит, если уж на то пошло. Но таких, как он, больше одного на поколение не бывает. В этом я уверен. Признания можно ждать годами — может, он при жизни

---

[10] Примечания: 10

Арденнская операция декабря 1944 — января 1945 г., когда немецкие войска перешли в контрнаступление на Западном фронте в Бельгии и Нидерландах, но потерпели сокрушительное поражение.

его и не получит, не дай бог, конечно, — на этих словах он опустил руку и постучал костяшками пальцев по ящику, — но придет время, когда Музей современного искусства заполонят толпы, а там будет висеть сплошной Пол Мэйтленд. Во всех залах. В этом я уверен.

Что ж, круто, хотел сказать Майкл, только, может, уже пора бы на этот счет и заткнуться? Но вместо этого он кивнул, помедлив, и уважительно промолчал, а потом стал разглядывать профиль Пола Мэйтленда, сидевшего по другую сторону от печки, как будто подробное исследование могло бы доставить ему удовлетворение, если бы обнаружило какой-нибудь изъян. Для начала он вспомнил, что Мэйтленд учился в Амхерсте, а ведь все знают, что Амхерст — это дорогущий колледж для легковесных умников и золотой молодежи, хотя нет: говорят, после войны все эти стереотипы уже устарели; кроме того, он мог выбрать Амхерст просто из-за того, что там хороший художественный факультет, или потому, что там он мог уделять живописи гораздо больше времени, чем в любом другом колледже. Но все равно этот бывший рядовой пехоты, должно быть, сполна оценил царивший там дух аристократической расслабленности.

Вряд ли его не коснулась всеобщая озабоченность относительно того, какого покроя должны на самом деле быть твидовые костюмы и какого — костюмы из легкой шерсти, вряд ли он не стремился достичь правильного тона в разговорах — всегда легких и остроумных; не может же быть, чтобы он в соперничестве с другими не доводил до совершенства искусство беспечного отдыха на выходных («Билл, я бы хотел познакомить тебя с моей сестрой Дианой…»). Но разве тогда его безоглядное погружение в бедность богемного существования, его готовность довольствоваться случайной плотницкой работой не содержат в себе некоторой доли абсурда? Может быть. А может, и нет.

В стеклянном кувшине еще оставалось вино, однако Пол Мэйтленд объявил — как обычно, невнятно, — что пришло время выпить по-настоящему. Он потянулся к какой-то нише в слоях висящего брезента и достал оттуда бутылку дешевого виски — напиток назывался «Четыре розы», и эту дрянь Мэйтленд научился пить уж точно не в Амхерсте; Майкл подумал, что сейчас, быть может, им доведется стать свидетелями той стороны существования Пола, о которой с таким пренебрежением отзывался Билл Брок:

тягомотных пьяных бредней о Трагедии Великого Художника.

Но в тот вечер на это явно не хватало ни времени, ни виски. Пол щедро подливал всем и каждому, удовлетворенно вздыхая и гримасничая, и Майкл тоже с удовольствием, несмотря на вкус, почувствовал, как его встряхнуло. Разговоры в брезентовой комнатке на некоторое время оживились и потекли с новой силой — тут и там раздавались громкие радостные голоса, — но дело шло к полуночи, и гости стали потихоньку вставать и одеваться. Пол поднялся, чтобы прощаться, но после третьего или четвертого рукопожатия присел и застыл в неподвижности, сосредоточив все свое внимание на маленьком замызганном радиоприемнике, который весь вечер жужжал и потрескивал на полу у самой кровати. Теперь помехи исчезли, и из пластмассовой коробки полились звуки кларнетов, которые тут же сложились в нежную легкую мелодию и перенесли всех присутствовавших в 1944 год.

— Гленн Миллер, — сказал Пол и проворно опустился на корточки, чтобы прибавить звук.

Потом он зажег яркий верхний свет в студии, взял за руку свою девушку и повел ее танцевать на холод. Но приглушенная брезентом музыка

показалась ему слишком тихой, и он побежал назад, принес радио и стоял с вилкой в руке, обводя взглядом стены в поисках розетки. Ее не было. Тогда он поднял откуда-то с пола конец древнего удлинителя — продолговатую штуку с двумя розетками, куда втыкали обычно утюг или какой-нибудь старинный тостер, — и задумался на долю секунды, стоит ли пробовать.

Майкл хотел сказать: «Стой! Я не стал бы этого делать! У нее такой вид, что даже ребенок бы поостерегся», но Пол Мэйтленд воткнул радио в одну из розеток с апломбом человека, который знает, что делает. Розетка ответила большой бело-голубой искрой, но цепь замкнулась: радио зазвучало с новой силой, и Пол вернулся к своей даме, как раз когда нежность гобоев и кларнетов Гленна Миллера сменил быстро набирающий силу торжественный глас духовой секции.

Стоя в пальто и ощущая себя полным идиотом, Майкл тем не менее не мог не признать, что ему было приятно смотреть, как они танцуют. Рабочие ботинки Мэйтленда, тяжелые и высокие, передвигались по полу поразительно быстро и четко, да и сам он без остатка претворился в ритм: раскрутив Пегги, он отбрасывал ее в сторону, насколько пускала рука, а затем привлекал назад, и,

пока она послушно крутилась в его руках, ее широкая сборчатая юбка вздымалась и опускалась, открывая симпатичные молодые коленки. Ни в школе, ни в армии, ни в Гарварде Майкл, сколько ни старался, не смог научиться так танцевать.

А раз уж он все равно чувствовал себя идиотом, то решил, что хуже не будет, если он обернется к стене и, пользуясь светом, рассмотрит висящую там большую картину. Как он и опасался, картина являла собой нечто хаотично-непостижимое; ощущения порядка — как, впрочем, и никакого ощущения вообще — она не создавала, а если и создавала, то лишь в недоступном безмолвии авторского сознания. Это был образчик того, что Майкл с огромной неохотой научился именовать абстрактным экспрессионизмом; из-за одной такой картины ему случилось еще до женитьбы серьезно повздорить с Люси, пока они созерцали ее среди приглушенного шепота в одной из бостонских галерей.

— Ну что ты опять не понимаешь? — раздраженно спросила она. — Ты что, не видишь, что здесь нечего «понимать»? Здесь ничего не изображено.

— Тогда что на этой картине происходит?

— Да ровно то, что ты видишь: игра цветов

и форм, воспевающая, наверное, сам акт художественного творения. Это субъективное высказывание художника, не более того.

— Конечно, разумеется. Но если это его субъективное высказывание, то что он хочет сказать?

— Ну, Майкл, перестань! Мне кажется, ты надо мной издеваешься. Если бы он мог это сказать, ему не нужно было бы писать картину. Хватит, пойдем отсюда, пока мы окончательно не…

— Нет, погоди. Я все равно не понимаю. И нечего выставлять меня идиотом, девочка, — все равно у тебя ничего не получится.

— Сдается мне, ты сам делаешь из себя идиота, — ответила она. — Я даже не знаю, как с тобой разговаривать, когда ты в таком состоянии.

— Ага-ага. Сменила бы ты пластинку, любимая, а то будет только хуже. Потому что знаешь, в кого ты превращаешься с этой своей чванливой снисходительностью девочки из Рэдклифа? В зануду. Ты меня бесишь. Я не шучу, Люси.

Но здесь, в студии Пола Мэйтленда, он был только рад, когда жена, аккуратная, подтянутая, с приятной усталостью на лице, подхватила его и повела к двери. Будет еще время в этом разобраться. Может, когда он посмотрит другие работы Мэйтленда, он придет наконец к пониманию

этой живописи.

Когда они тащились вслед за Дианой и Биллом Броком по холодной грязной лестнице, выходившей на Деланси-стрит, Билл обернулся и бодрым голосом возвестил:

— Надеюсь, вы не прочь прогуляться — в этом районе мы такси железно не найдем.

В итоге, выдыхая клубы пара и потирая замерзшие руки, они так и прошли всю дорогу пешком.

— Эти двое редкие люди, если можно так выразиться, — сказала Люси, когда они с Майклом укладывались спать.

— Кто? — спросил он. — Диана и Билл?

— Да нет же, господи, только не Билл. Билл — обыкновенное трепло, причем очень нахальное, — он, кстати, стал мне надоедать, а тебе нет? Я имею в виду Диану и Пола. Что-то есть в них обоих особенное, правда же? Неземное, что ли. Магическое.

И он сразу же понял, что она имеет в виду, хотя сам бы так, наверное, не сказал.

— Да, — проговорил он. — Ну то есть мне понятно, что ты имеешь в виду.

— И у меня было по отношению к ним такое же странное ощущение, — добавила она. — Я сидела там сегодня, смотрела на них и думала:

именно с такими людьми я всю жизнь хотела познакомиться. Ну то есть на самом деле я пытаюсь сказать, что мне хотелось бы, чтобы я им тоже нравилась. Мне так сильно этого хочется, что я начинаю нервничать и расстраиваться: боюсь, я им не понравлюсь, а если и понравлюсь, то ненадолго.

Она сидела на кровати в ночной рубашке и казалась такой жалкой, словно само несчастье воплотилось сегодня в этой богатой бедняжке; голос ее опасно срывался на слезы. Он знал, что, если она позволит себе расплакаться по такому поводу, ей станет потом стыдно, и будет только хуже.

Поэтому он сказал ей самым тихим и обнадеживающим голосом, на какой только был способен, что понимает ее страхи:

— Это не значит, что я с тобой согласен, — почему ты думаешь, что ты им не понравишься? Почему мы оба обязательно должны им не понравиться? Я только хочу сказать — мне понятно, что ты имеешь в виду.

Глава третья

Таверна «Белая лошадь» на Хадсон-стрит оказалась самым подходящим местом для их собраний. Обычно они приходили туда вчетвером — Билл, Диана и Дэвенпорты, — но не так уж редко выдавались и более веселые вечера, когда Пол Мэйтленд приводил Пегги и вся компания усаживалась вокруг большого коричневого стола, всегда немного влажного, чтобы выпить, поговорить, посмеяться, а иногда и спеть. Майклу нравилось петь; он гордился, что помнит наизусть слова самых малоизвестных песен и, кроме того, знает, когда закончить, хотя в иные вечера Люси все же приходилось бросать на него хмурые взгляды или толкать в бок, чтобы он замолчал.

Все это было незадолго до смерти Дилана Томаса[11], после которой «Белая лошадь» прославилась на весь мир («А мы так ни разу его и там и не застали, — спустя много лет жаловался Май-

---

[11] Примечания: 11

Дилан Томас умер в Нью-Йорке 9 ноября 1953 г. Он приехал в город незадолго до этого для участия в поэтических фестивалях и стал на пару недель завсегдатаем «Белой лошади».

кл. — Черт знает что: сидеть в „Лошади“ почти каждый вечер и так его и не увидеть. Как можно было не заметить такое лицо? Господи, я даже не знал, что он умер в Америке»).

После этой смерти весь Нью-Йорк, похоже, воспылал желанием выпивать каждый вечер в «Белой лошади», и место утратило свою былую привлекательность.

Впрочем, к весне Дэвенпортов не привлекал уже и сам город. Их дочери исполнилось четыре, и мысль о переезде в пригород представлялась в этой ситуации верхом благоразумия — при условии, конечно же, что до города легко можно будет добраться на электричке.

Они остановили свой выбор на Ларчмонте[12], потому что он показался Люси более «цивилизованным», чем остальные, куда они съездили, а в доме, который они нашли, было все, что им сейчас нужно. Он был симпатичный: здесь хотелось работать, здесь хотелось отдыхать; сзади к дому примыкал хороший, поросший травой дворик, где могла играть Лаура.

— Предместья! — возвестил Билл Брок с интонацией человека, только что увидевшего на

[12] Примечания: 12

Ларчмонт — пригород Нью-Йорка, расположенный в 30 километрах от центра Манхэттена, на берегу пролива Лонг-Айленд.

горизонте берег нового континента, и замахал бутылкой бурбона, которую привез в подарок на новоселье.

Рядом с ним, обхватив его руку и от смеха уткнувшись лицом ему в пальто, стояла Диана Мэйтленд и всем своим видом демонстрировала, что именно такого рода эскапады ей больше всего в нем нравятся.

И пока они медленно поднимались, преодолевая безудержное веселье, по короткой дорожке, ведущей от ларчмонтского тротуара к ларчмонтской резиденции Дэвенпортов, Билл демонстрировал явное нежелание отказываться от своей клоунады.

— Боже! — проговорил он. — Вы только посмотрите! Посмотрите на себя! Вылитые новобрачные из фильма про любовь или из журнала «Гуд хаускипинг»[13].

Дэвенпортам ничего не оставалось, кроме как продолжать изо всех сил подыгрывать гостям, даже когда они уселись для разговора в гостиной со стаканами в руках, хотя Майкл начал уже надеяться, что насмешки вскоре иссякнут. Но Билл Брок и не думал заканчивать: не выпуская

---

[13] Примечания: 13

«Гуд хаускипинг» — ежемесячный женский журнал, выходящий в США с 1859 г. и в Великобритании с 1911 г.

стакана из руки, он простер указательный палец и остановил его сначала на Люси, а потом на Майкле (они сидели на диване) и произнес:

— Блонди и Дагвуд![14]

И Диана чуть не упала со стула. Первый раз в жизни она показалась Майклу неприятной. Но что еще хуже, во второй раз это случилось в тот же вечер, когда разговор давно уже перешел к другим предметам и от напряженности не осталось и следа. Брок, отчасти как бы извиняясь за свои выходки, выразил вполне серьезное желание осмотреть город, и они вчетвером совершили долгую прогулку по его тенистым улочкам. Майкл даже было обрадовался, потому что лучшего момента для осмотра Ларчмонта было не придумать: в темноте гнетущее сияние его чистоты смягчалось, и городок казался приветливым. Горящие окна, проглядывавшие сквозь зелень в каждом доме, словно бы говорили об умиротворенности, порядке и заслуженном покое. Было очень тихо, и в воздухе разливался чудесный

[14] Примечания: 14

Блонди и Дагвуд — герои популярных комиксов, публиковавшихся в газетах с 1930 г. Позже на основе комиксов стали снимать фильмы и сделали радиопрограмму. Блонди и Дагвуд жили в пригороде города Джоплин, штат Миссури. Дагвуд каждый день ездил в офис, где над ним измывался его начальник Юлий Цезарь Дитерс, и жил под постоянным страхом увольнения, а Блонди проводила свои дни дома, с двумя детьми и собакой.

аромат.

— Нет, я вполне понимаю привлекательность таких мест, — говорил Билл Брок. — Здесь все ровненько, никакой халтуры, все работает. Наверное, к этому и стремишься, когда у тебя жена, семья и все такое. На самом деле миллионы людей пожертвовали бы всем чем угодно, только бы им дали возможность пожить в таких условиях, — например, многие из тех, с кем я работаю в профсоюзе, сюда подались. Но есть люди, которые просто по складу характера здесь не приживутся. — И тут он слегка подтолкнул свою девушку. — Можешь представить, чтобы Пол жил в таком месте?

— Боже! — тихо проговорила Диана и вздрогнула так явно, что эта дрожь еще долго отдавалась у Майкла в спине. — Да он бы тут сдох. Точно бы сдох, без вариантов.

— Она что, черт возьми, не понимала, какую бестактность сказала? — обрушился Майкл на жену, когда гости уже ушли. — За кого она нас принимает? И зачем было устраивать такой балаган из-за одной дурацкой шуточки про Блонди и Дагвуда?

— Я знаю, — уверила его Люси. — Знаю. Какой-то дурацкий вечер вышел.

Но он был рад, что сорвался первым. Если бы он сдержался, Люси могла бы не выдержать, и, если бы не выдержала она, ее реакцией был бы не гнев, а скорее слезы.

В углу на чердаке ларчмонтского дома он устроил себе рабочий закуток — небольшой, но укромный — и весь день только и ждал того часа, когда сможет там уединиться. У него возникло ощущение, что книга вновь обрела форму, что она будет готова, если только ему удастся закончить последнее стихотворение — длинную, масштабную вещь, которая должна была оправдать и подтянуть к себе все остальные стихотворения. Он уже подобрал для нее рабочее название, «Если начистоту», но некоторые строчки никак не хотели оживать, упорно противясь всем его усилиям: целые периоды готовы были испариться или рухнуть у него под рукой. Чаще всего он работал на чердаке до полного изнеможения, но бывали дни, когда ему не удавалось собраться с мыслями и он сидел оцепенелый, в каком-то безразличном параличе, курил и изводил себя презрением до тех пор, когда уже надо было идти спать. Но даже в этом случае ему не хватало ночного сна, чтобы почувствовать себя готовым к напору и толчее ларчмонтского утра.

Едва за ним захлопывалась входная дверь, его подхватывал и уносил за собой плотный поток шагающих к станции людей. Это были мужчины его возраста, мужчины на десять и двадцать лет его старше, некоторым было даже за шестьдесят, и казалось, что они испытывают гордость от самого своего единообразия: темные с иголочки деловые костюмы с консервативными галстуками, начищенные до блеска ботинки, ступающие по тротуару едва ли не строевым шагом. Редко кто шел один; почти у всех был как минимум один собеседник, но чаще они передвигались стайками. Майкл предпочитал вообще не смотреть по сторонам, чтобы случайно не привлечь к себе товарищеской улыбки, — на кой черт ему все эти люди! — однако особой радости от одиночества тоже не испытывал, потому что слишком уж это все было похоже на армию: то же ощущение, что приходится тихо помалкивать в сторонке, когда вокруг тебя вовсю смеются и разговаривают люди, давно приспособившиеся к службе. Всего острее этот дискомфорт ощущался на станции, куда все заходили гуськом, чтобы тут же рассредоточиться по группам: там было совершенно нечего делать. Приходилось стоять в сторонке и ждать.

В один из таких моментов он заметил еще одного незнакомца: тот стоял у стены в полном одиночестве, уставившись сквозь очки в металлической оправе на зажженную сигарету, как будто курение требовало от него полной сосредоточенности. Он был ниже Майкла, выглядел моложе, да и одет был совершенно неправильно: вместо пальто на нем была армейская куртка танкиста — прочная ветровка на молнии, бывшая в свое время предметом всеобщего вожделения в сухопутных войсках, потому что выдавали ее только тем, кто ездил на танках и бронированных десантных машинах.

Майкл пододвинулся к нему, чтобы тот мог расслышать вопрос:

— Из танковой дивизии?

— Как?

— Просто хотел поинтересоваться: во время войны вы, наверное, служили в танковой дивизии?

Вопрос привел молодого человека в полное недоумение: глаза за стеклами очков несколько раз моргнули.

— А, куртка, — наконец проговорил он. — Не, просто купил ее у одного парня, и все.

— Понятно.

Майкл уже знал, что, если он скажет: «Что же, удачная покупка; хорошо иметь такую вещь», он почувствует себя еще большим идиотом, поэтому промолчал и решил тихонько отойти.

Но незнакомцу явно не хотелось оставаться в одиночестве.

— Не, на войне я не был, — сказал он с той же поспешностью и непроизвольным чувством вины, с какими эту фразу всегда выдавал Билл Брок. — Я попал в армию только в сорок пятом, и в Европу меня так и не отправили. Закончил войну на базе Бланчард-Филд в Техасе.

— Ах вот как!

Открывались новые возможности для разговора.

— Я тоже просидел некоторое время в Бланчарде в сорок третьем, — сказал Майкл. — Вот уж где мне совсем не хотелось оставаться. И что вы там у них делали?

По лицу молодого человека прошла легкая, не лишенная язвительности судорога отвращения.

— Я был в оркестре, — сказал он. — В долбаном военном оркестре. Я, видишь ли, имел неосторожность сказать одному кадровику, что играл когда-то на барабанах, и сразу после базовой подготовки они повесили на меня этот чертов

барабан. Строевой. Трам-пам-пам! Трам-пам-пам! Построения в парадной форме, построения по поводу выхода в отставку, построения для церемоний награждения и дальше по списку. Бог мой, я думал, что никогда оттуда не выберусь.

— Так ты, значит, музыкант? На гражданке?

— Не совсем, в профсоюз пока не вступил, но постучать люблю. А ты что делал в Бланчарде? Базовую подготовку?

— Стрельбу.

— Ого! — Теперь молодой человек смотрел на него как мальчишка — широко открытыми от восторга глазами. — Так ты бортстрелок?

Разговор приобретал тот же приятный оборот, что и в Гарварде или в редакции «Мира торговых сетей»: Майкл должен был лишь отвечать на вопросы — чем короче, тем лучше, — и, пока отвечал, чувствовал, как приобретает все больший вес в глазах собеседника. Ну да, летал на боевые задания — Восьмая воздушная армия, летали из Англии; нет, его ни разу не сбили и даже не ранили, хотя пару раз чуть не обделался от страха; конечно, это правда, что девушки в Англии замечательные; да — нет; да — нет.

И теперь, как и раньше, ему тоже удалось сменить тему раньше, чем собеседник мог проде-

монстрировать какие-либо признаки угасающего интереса. Он спросил молодого человека, как долго тот живет в Ларчмонте (год всего-навсего) и женат ли он.

— Конечно, как и все. Кто здесь не женат? Для этого Ларчмонт и существует, старина.

У него было четверо детей, все мальчики, все погодки.

— У меня жена католичка, — объяснил он. — Упрямая на этот счет до жути. Дико долго упрямилась. Думаю, теперь я ее уже переубедил, хотя… в общем, надеюсь, что переубедил. Я в принципе-то не против: они хорошие, милые, но четверо — это очень много.

Потом он спросил Майкла, где тот живет:

— Ого, да у вас целый дом! Здорово! У нас только верхняя квартира. Но все равно здесь лучше, чем в Йонкерсе[15]. Мы три года прожили в Йонкерсе; не хотел бы я снова через это пройти.

Когда грохот возвестил о прибытии поезда, они успели обменяться рукопожатиями и познакомиться (молодого человека звали Том Нельсон), и уже на платформе Майкл заметил, что тот несет с собой нечто похожее на неплотно свернутые

[15] Примечания: 15

Йонкерс — один из ближайших к Нью-Йорку городов-спутников; расположен к северу от Манхэттена.

в трубочку бумажные полотенца, прихваченные посредине резинкой. Только это были не полотенца: бумага не такая мягкая и не совсем чистая. Судя по пятнам и общей потрепанности, это были старательно оформленные таблицы с техническими спецификациями для запчастей или оборудования, которые потребовались начальнику Тома Нельсона (владельцу гаража? начальнику где-нибудь на стройке?) и которые Том Нельсон разыскивал потом целыми днями на складах в каком-нибудь унылом месте типа Лонг-Айленда.

Так что из поездки в город в компании Тома Нельсона можно будет извлечь по крайней мере пару-тройку грустных или смешных историй и вечером рассказать Люси об этом неудачнике, в такой ранней молодости награжденном по милости Церкви четырьмя детьми, об этом жалком кривляке с тарарарамским строевым барабаном на шее, месившем пыль на базе Бланчард-Филд и не заслужившем даже своей танковой куртки, не говоря уж о профсоюзном билете.

Первые несколько минут в вагоне прошли в молчании; они сидели бок о бок, и каждый, похоже, пытался придумать новую тему для разговора. Наконец Майкл спросил:

— Когда ты был в Бланчарде, там все еще проводили турниры по боксу?

— Ага, был у них такой пунктик. Так сказать, безотказное средство для поднятия боевого духа. Любишь смотреть?

— По правде сказать, — признался Майкл, — я в них участвовал. В среднем весе. Дошел до финала, но там один сержант-снабженец разнес меня своими левыми джебами; никогда не встречал человека с таким джебом, впрочем, с правыми у него тоже проблем не было. Технический нокаут в восьмом раунде.

— Черт! — сказал Нельсон. — У меня с моим зрением, конечно, никогда бы ничего такого не вышло, но, даже если бы не зрение, я все равно, наверное, не стал бы. Дойти до финала! Ничего себе! Чем же ты теперь занимаешься?

— Я писатель — ну или как минимум пытаюсь. Стихи и пьесы. Поэтический сборник почти готов; пару моих пьес несколько раз играли в окрестностях Бостона. Но пока суд да дело, я нашел себе дурацкую подработку в городе. Пишу рекламу. Просто чтобы заработать на жизнь.

— Ого! — Том Нельсон взглянул на него с подчеркнутым добродушием, явно намереваясь подшутить. — Бог мой! Пулеметчик, боксер, поэт,

драматург. Такое впечатление, что я тут разговариваю с титаном Возрождения.

При всем своем дружелюбии шутка была не из приятных. Вот ведь гаденыш! Сам-то он кто? Но что противнее всего, Майкл должен был признать, что сам нарывался. Сдержанность и чувство собственного достоинства он всегда ставил выше прочих человеческих качеств — тогда зачем же он сам вечно начинал разглагольствовать?

И даже если такой человек, как Пол Мэйтленд, и не загнулся в этом Ларчмонте, он уж точно не стал бы давать повод для насмешек какому-то придурку в ларчмонтской электричке.

Но Том Нельсон, похоже, не замечал, что причинил боль. Он продолжал:

— Что ж, поэзия всегда была для меня чем-то очень важным. Сам, слава богу, не пишу, но читать всегда очень любил. Любишь Хопкинса[16]?

— Очень.

— Ага, пробирает до костей, правда же? Примерно как Китс, как поздний Йейтс — он местами

---

[16] Примечания: 16

Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) — английский поэт, иезуитский священник, стихотворное наследие которого стало известно читателям лишь после Первой мировой войны. Новаторский «скачущий стих», которым написано большинство его духовных сонетов, сразу же сделал Хопкинса одним из важнейших англоязычных поэтов.

тоже пробирает. И мне дико нравится Уилфред Оуэн[17]. И даже кое-что у Сассуна. Французов я тоже люблю: Валери и других, только я не думаю, что их можно по-настоящему понять, если не знаешь язык. Мне раньше нравилось иллюстрировать стихи — пару лет только и делал, что иллюстрировал; может, когда-нибудь я к этому вернусь, но сейчас делаю просто картины.

— Так ты, значит, художник.

— Ну да. Я разве не сказал?

— Нет. И работаешь в Нью-Йорке?

— Нет, работаю дома. Время от времени отвожу готовые вещи в город, и все. Пару раз в месяц.

— И тебе удается… — Майкл хотел уже было сказать «зарабатывать этим на жизнь?», но вовремя остановился; вопрос о том, чем художник зарабатывает себе на жизнь, мог оказаться излишне щекотливым. Вместо этого он сказал: — И ты только этим и занимаешься?

— Ну да. В Йонкерсе, правда, приходилось еще преподавать — я работал в школе, но потом дела понемногу пошли на лад.

---

[17] Примечания: 17

Уилфред Эдвард Солтер Оуэн (1893–1918) — английский поэт, участник Первой мировой войны, чьи военные стихи оказали сильнейшее влияние на поэзию 30-х гг. Оуэн погиб на фронте за неделю до перемирия; сборник его поэзии, составленный упомянутым далее другом-поэтом Зигфридом Сассуном (1886–1967), вышел в 1920 г.

И Майкл пустился в детальные расспросы по поводу техники: пишет ли Нельсон маслом?

— Не, с маслом у меня толком ничего не получается, сколько я ни пробовал. Я делаю акварели: тушь, перо, акварельная заливка. Больше ничего. Я в этом смысле крайне ограничен.

Может, тогда его искусство ограничивается художественными отделами рекламных агентств или — раз уж он делает акварели, при одном упоминании которых воображение рисует приятные сценки с дремлющими в гавани лодочками и парящими птичьими стаями, — все сводится к удушающей атмосфере сувенирных лавочек, торгующих, наряду с такими картинками, дорогими пепельницами, розовыми статуэтками пастухов и пастушек и тарелками с портретом президента Эйзенхауэра с супругой.

Вопроса-другого было бы достаточно, чтобы все это подтвердить или опровергнуть, но Майклу не хотелось торопить судьбу. Он не произнес ни слова, пока поезд не втащил их в гулкую толчею Центрального вокзала.

— Тебе куда? — спросил Нельсон, когда они очутились на улице, щурясь от городского солнца. — Направо или налево?

— Мне на Пятьдесят девятую.

— Хорошо. Пройдусь с тобой до Пятьдесят третьей. Надо отметиться там в Современном.

Пока они шли, до него постепенно доходил смысл этой фразы, и, когда они стояли на Пятой авеню, Майкл уже не сомневался, что необходимость «отметиться в Современном» означала деловую встречу в Музее современного искусства[18]. Ему тут же захотелось под каким-нибудь предлогом пойти туда вместе с Нельсоном, чтобы на месте выяснить, что же такое там происходит, но, когда они дошли до угла Пятьдесят третьей улицы, Нельсон сам предложил присоединиться к нему:

— Это не долго, буквально пару минут. А потом пойдем дальше на Пятьдесят девятую.

В лице облаченного в форму швейцара, открывшего перед ними толстые стеклянные двери, а потом и в манере лифтера Майклу почудилась какая-то особая почтительность, хотя ручаться в том, что это не он ее придумал, он не стал бы. Зато удивительно приятная девушка, рабочий стол которой находился наверху, в дальнем конце

---

[18] Примечания: 18

Музей современного искусства в Нью-Йорке, основанный в 1929 г. по инициативе семейства Рокфеллер, располагает лучшей в мире коллекцией модернистского и современного искусства. Попасть в коллекции МоМА — и по сей день предел профессиональных устремлений любого актуального художника.

большого тихого зала, не оставила его воображению никакого простора: она даже сняла очки в роговой оправе, чтобы они не скрывали радушия и восхищения, сиявших в ее чудесных глазах.

— Томас Нельсон! — проговорила она. — Теперь я знаю, что сегодня все сложится замечательно.

Обычная девушка осталась бы, наверное, на своем месте, подняла бы трубку, нажала бы пару кнопок, но в этой девушке не было ничего обычного. Она поднялась и быстро обогнула свой стол, чтобы взять Нельсона за руку и дать Майклу возможность увидеть, какая она стройная и как хорошо одета. Когда его представили, она прищурилась и пробормотала что-то невнятное, как будто только что заметила его присутствие; через секунду она снова обратилась к Нельсону, и Майкл ничего не понял из этой краткой оживленной беседы, то и дело прерывавшейся смехом.

— Что вы! Я точно знаю, что он вас ждет, — проговорила она наконец. — Проходите прямо к нему.

И действительно, лысый смуглый человек средних лет, в одиночестве стоявший у себя в офисе, упершись костяшками пальцев в пустой стол, казалось, только и ждал этого момента.

— Томас! — воскликнул он.

К гостю Нельсона он проявил чуть большую вежливость, чем девушка: он предложил Майклу стул, от которого тот отказался, а затем вернулся к столу и произнес:

— Что же, Томас, давайте посмотрим, что хорошего вы нам на этот раз принесли.

Он снял резинку, развернул покрытый пятнами бумажный рулон, а затем нежно свернул в противоположную сторону, чтобы листы выпрямились, и шесть ярких акварелей предстали на рассмотрение музея — чуть ли не на суд мира искусства вообще — так, по крайней мере, казалось.

— Ничего себе! — сказала Люси вечером, когда Майкл дошел в своем повествовании до этого момента. — И что у него за картины? Можешь описать?

Его немного рассердило это ее «можешь описать?», но он решил не обращать внимания.

— Что тут скажешь? Уж точно не абстракции, — ответил он. — Я имею в виду, что они изобразительные: там есть люди, звери, вещи, но они при этом не реалистические. Что-то типа… в общем, даже не знаю.

И тут он ощутил благодарность за то единственное, что рассказал ему Нельсон в поезде о

своей технике.

— Это такие грубоватые, немного размытые рисунки пером и тушью с акварельной заливкой.

И в награду ему она медленно, с умным видом кивнула, как если бы хвалила ребенка за удивительно зрелую догадку.

— Ну так вот, — продолжал он. — Музейщик стал медленно, очень медленно ходить вокруг стола, а потом говорит: «Что же, Томас, могу сразу же сказать, что, если я упущу вот эту, я себе этого никогда не прощу». Потом походил еще немного и говорит: «Эта тоже с каждой минутой нравится мне все больше. Можешь отдать нам обе?» А Нельсон отвечает: «Конечно, Эрик. Бери». И просто стоит там, спокойный как черт, в своей дурацкой танковой куртке, не расстегнувшись, как будто ему абсолютно все равно.

— То есть они берут все это на какую-то временную выставку? Или как? — спросила Люси.

— Это первое, что я спросил, когда мы вышли, и он сказал: «Не, это они берут в постоянную коллекцию». Ты можешь себе представить? В постоянную коллекцию!

И Майкл пошел к кухонной стойке добавить себе льда и бурбона.

— Да, вот еще что, — обернулся он к жене. —

Знаешь, на чем он все это рисует? На подстилочной бумаге.

— На какой бумаге?

— На подстилочной. Знаешь, которой застилают полки, чтобы ставить на них консервы и всякие такие вещи. Сказал, что выбрал ее много лет назад, потому что она дешевая, а потом понял, что ему «нравится, как она держит краску». И рисует он все это на засранном кухонном полу. Говорит, у него там есть большой плоский кусок оцинкованного железа, чтобы была поверхность, где работать; кладет на нее мокрый лист оберточной бумаги, встает на колени и начинает работать.

Люси старательно занималась обедом, с тех пор как Майкл пришел домой, но ее то и дело что-нибудь отвлекало. Свиные отбивные пересушились, яблочный мусс она забыла остудить, стручковая фасоль переварилась, картошка не пропеклась. Но Майкл ничего этого не заметил — или ему было все равно. Он ел, водрузив локоть на стол и обхватив лоб рукой, а рядом с тарелкой стоял наготове стакан виски — уже третий или четвертый.

— И я его спросил… — говорил он, разжевывая мясо, — спросил, сколько времени он работает

над одной картиной. Он сказал: «Ну, минут двадцать, если повезет, а так обычно часа два, иногда даже целый день. А потом раза два в месяц я их все просматриваю, многое выбрасываю — треть примерно или четвертую часть, а то, что остается, везу в город. В Современном всегда хотят, чтобы им дали право выбрать первым, иногда Уитни[19] просит принести посмотреть, а все, что останется, я отношу своему агенту, то есть в галерею, с которой я работаю».

— И что это за галерея? — спросила Люси, и, когда он повторил название, она снова сказала: «Ничего себе!» — потому что это место не сходило со страниц художественного раздела «Нью-Йорк таймс».

— И еще он мне сказал, и он при этом не хвастался, — с ума сойти, о чем бы этот сукин сын ни рассказывал, он никогда не хвастается, — так вот, он мне сказал, что ему устраивают как минимум одну персональную выставку в год. В прошлом году было даже две.

— Как-то во все это с трудом верится, да? — ска-

---

[19] Примечания: 19

Уитни — музей американского искусства, организованный в 1931 г. художницей и меценаткой Гертрудой Вандербильт Уитни на основе ее собственной коллекции. Одно из крупнейших собраний американского искусства XX в.

зала Люси.

Майкл оттолкнул от себя тарелку — к печеной картошке он даже не прикоснулся — и принялся за виски, как будто это было его основное блюдо.

— Просто невероятно, — сказал он. — Ему двадцать семь лет. И подумать только, господи, стоит только подумать — господи, солнышко. — И он покачал головой в изумлении. — Вот и говори после этого, что трудные вещи должны оказаться простыми. — Потом после некоторой паузы он добавил: — Да, и он сказал, что хотел бы пригласить нас пообедать как-нибудь на днях. Сказал, что посоветуется с женой и позвонит.

— Правда? — Вид у Люси был счастливый, как у ребенка в день рождения. — Неужели правда?

— Да, но ты же знаешь, как это бывает. Вдруг забудет. Ну то есть особо на это рассчитывать не надо.

— А мы разве не можем им позвонить? — спросила она.

И он про себя разозлился. Для девочки, выросшей в верхних пределах высшего слоя, она порой проявляла удивительную тупость, когда дело заходило о хороших манерах. Хотя, может, как раз миллионерам хорошие манеры и не были никогда присущи; что могут знать об этом обыч-

ные люди?

— Нет, девочка, — сказал он. — Не думаю, что это хорошая мысль. Хотя, может, я снова столкнусь с ним на вокзале; что-нибудь придумается. — А потом он сказал: — Слушай, я тебе еще не рассказал постскриптум ко всей этой истории. Когда я наконец дошел до конторы, у меня голова шла кругом. Было понятно, что работать я не смогу, так что я зашел к Броку, чтобы убить с ним время, и рассказал ему про Тома Нельсона. Он все это выслушал и говорит: «Вот как! Интересно. Хотелось бы знать, кто у него отец».

— Вот он весь в этом, правда же? — сказала Люси. — Билл Брок только и знает, что рассказывать, как он ненавидит цинизм в любом его проявлении, а на деле большего циника, чем он, я никогда не видела.

— Подожди, это еще не все — дальше будет хуже. Я говорю: «Во-первых, Билл, его отец — аптекарь из Цинциннати, а во-вторых, не понимаю, какое это может иметь значение?» А он мне отвечает: «Да? Ну тогда ладно. Тогда интересно, у кого он отсасывает».

От отвращения Люси так сильно передернуло, что она поднялась из-за стола. С ее искривленных губ слетел лишь один слог «фу!»; она стояла,

обхватив себя обеими руками, как будто ее до костей пробирал холод.

— Господи, до чего же мерзко! — сказала она. — Не слышала ничего мерзее.

— Ну ты же знаешь Брока. К тому же у него уже которую неделю паршивое настроение. Думаю, у них с Дианой что-то не ладится.

— Ничего удивительного, — сказала она, собирая со стола тарелки. — Не знаю, почему Диана давным-давно его не бросила. Никогда не понимала, как она вообще могла с ним связаться.

Как-то в субботу с утра позвонил Билл Брок и с необычной для него робостью спросил, нельзя ли ему приехать к ним в Ларчмонт после обеда.

— Он так и сказал: приеду один? — допытывалась Люси.

— Он что-то там пробубнил или вообще как-то это обошел, но я абсолютно уверен, что смысл был именно такой. Он точно ни разу ни сказал «мы».

— Ну, значит, между ними все кончено, — сказала она. — Хорошо. Только нам придется теперь во всем этом разбираться: ему наверняка захочется, чтобы мы сидели тут часами и слушали, пока он будет изливать свою душу.

Но вышло совсем по-другому, по крайней мере вначале, когда Брок только приехал.

— То есть с кратковременными отношениями у меня все в порядке, — объяснял он им с дивана, подавшись немного вперед и демонстрируя полную готовность к серьезному обсуждению собственной персоны. — Это я точно знаю, потому что раньше у меня никогда проблем не было. Но похоже, я не способен поддерживать интерес на… как бы это сказать… долгих перегонах. Я устаю от женщины, и все тут. Мне становится скучно, я начинаю нервничать — тут все просто. Честно говоря, я никогда не принимал саму идею брака. Ну то есть если у вас, ребята, это получается — хорошо, но это ваше личное дело, верно?

На протяжении последних нескольких месяцев, сообщил он им, Диана все подкатывала к нему с разговорами о женитьбе.

— Поначалу ничего серьезного — намек здесь, намек там, их легко было игнорировать, но дальше — больше. В конце концов мне пришлось с ней объясниться. Я ей сказал: «Слушай, дорогая: давай мы будем считаться с некоторыми фактами, ладно?» В итоге она согласилась съехать, сняла с подружкой квартиру, и мы стали встречаться по-новому, от силы пару раз в неделю. Так дела обстояли, когда мы были у вас здесь в прошлый раз. Она записалась на актерские курсы — вы

же знаете, теперь по всему городу устраивают эти семинары по актерскому «методу»[20], ведут их в основном актеры-неудачники, пытаются хоть немного подзаработать на своей профессии. Мне показалось, что идея вполне себе здравая: я думал, ей это поможет. Но черт возьми, не проходит и двух недель, как она начинает гулять с парнем, с которым познакомилась на этих курсах, — какой-то актер, полный прощелыга, засранец несчастный! У него богатый папаша в Канзас-Сити, дает ему деньги, лишь бы домой не возвращался. Потом три дня назад — клянусь, это был худший вечер в моей жизни — я приглашаю ее пообедать, и она мне сообщает — с этой своей сдержанностью, очень отстраненно, — сообщает мне, что она переехала к этому парню. Что она его «любит», и все эти сопли. Домой я пришел убитый, будто меня переехал грузовик. Бросился на кровать… — в этом месте он откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза рукой, чтобы показать,

[20] Примечания: 20

«Методическая» игра — подход к актерскому ремеслу, в 1930-е гг. пропагандируемый в Нью-Йорке Групповым театром, а начиная с 1940-х — Ли Страсбергом и его Актерской студией. Актерское мастерство этого типа восходит к системе Станиславского и предполагает серьезный анализ чувств и мотиваций персонажей для достижения психологической реалистичности игры. Одним из пропагандистов «метода» в США был Михаил Чехов (1891–1955), начинавший свою актерскую карьеру у Станиславского во МХАТе.

как захватило его горе, — бросился на кровать и расплакался как ребенок. Не мог остановиться. Плакал и плакал. И твердил себе: «Я ее потерял. Я ее потерял».

— Билл, — сказала Люси, — из того, что ты говоришь, как-то непохоже, что ты ее потерял, — скорее, ты ее бросил.

— Ну конечно же, — проговорил Билл, все еще прикрывая глаза рукой. — Конечно. Но разве это не самая страшная потеря? Когда не можешь осознать ценность чего-то до тех пор, пока не выбросишь своими руками?

Билл Брок остался у них ночевать («Я так и знала, — сказала потом Люси. — Знала, что этим все и кончится») и на следующий день уехал только после обеда.

— Ты никогда не замечал, — спросила Люси, когда они остались вдвоем, — что сочувствие к человеку — к любому человеку — испаряется, как только он начинает рассказывать, как долго и горько он плакал?

— Ага, — сказал Майкл.

— Хорошо, хоть уехал, — проговорила она. — Но он вернется, причем довольно скоро. И станет частым гостем, можешь не сомневаться. Только знаешь, что хуже всего? Хуже всего, что мы, на-

верное, уже никогда не увидим Диану.

У Майкла сжалось сердце. Он даже не подумал об этом, но, стоило Люси об этом заговорить, сразу понял, что так и будет.

— Когда люди расстаются, от тебя всегда ждут, что ты примешь чью-то сторону, — продолжала она. — Забавно, что это происходит, по сути, случайно. То есть если бы нам позвонила Диана — а такое вполне могло случиться, — тогда она осталась бы нашей подругой, а Билл Брок незаметно исчез бы из нашей жизни.

— Я бы на твоем месте не стал так переживать, — сказал Майкл. — Может, она и так нам позвонит. В любой момент может позвонить.

— Нет. Думаю, я достаточно хорошо ее знаю, чтобы не рассчитывать на это.

— Да гори оно все — давай мы сами ей позвоним?

— Как? Мы же даже не знаем, где она. Правда, это можно узнать, только она вряд ли обрадуется нашему звонку. Ничего уже не изменишь.

Через некоторое время, закончив с посудой, она стояла в дверях, с грустью вытирая руки.

— А я так надеялась, что мы с ней подружимся, — проговорила она. — И с Полом Мэйтлендом тоже. А ты? Я всегда считала, что это такое хоро-

шее… знакомство.

— Майк Дэвенпорт? — буквально через несколько минут спросил по телефону застенчивый бархатный голос. — Это Том Нельсон. Слушай, мы с женой посоветовались и решили позвать вас в гости в пятницу вечером. Вы сможете прийти к ужину?

И Дэвенпортам показалось, что, быть может, их тяга к хорошим знакомствам не останется в итоге без ответа.

Глава четвертая

— Квартирка так себе, сами увидите, — предупредил Том Нельсон, торопливо спустившись со второго этажа, чтобы открыть для них застекленную входную дверь. — С четырьмя детьми за порядком не уследишь.

На верхней площадке их встречала с улыбкой его жена, некогда ревностная католичка, едва не погубившая этим карьеру своего мужа.

Ее звали Пэт. Следы набожной и пугливой девочки из Цинциннати все еще можно было прочесть на ее лице, когда, склонившись в пару над кипящей кастрюлей, она проверяла, не готовы ли овощи, или бросала косой взгляд на духовку, чтобы решить, не пора ли вынимать жаркое и поливать его соусом, но стоило ей вернуться с бокалом в руке в гостиную, как становилось ясно, что Музей современного искусства тоже не обошел ее своим влиянием. На ней было модное тогда простое платье, держалась она очень прямо, но без всякого напряжения, а улыбка и большие красивые глаза от природы казались одновременно веселыми и ответственными.

Трое младших детей уже спали, старшему же

— пухлому шестилетнему Филипу, чье круглое лицо не выдавало ни малейшего сходства ни с отцом, ни с матерью, — разрешили пока не ложиться, и он подозрительно разглядывал гостей. Пэт пришлось долго уговаривать его, прежде чем он решился предложить гостям тарелку соленых крекеров с печеночным паштетом, затем, поставив тарелку на столик, он вернулся к матери и приник к ее коленке.

— Мы уже начали думать, что в Ларчмонте живут только те, — говорила тем временем Пэт Нельсон, — кому, кроме этого Ларчмонта, ничего не надо.

И Люси тут же заверила ее, что они с Майклом начинали думать абсолютно то же самое.

Вопреки ожиданиям Дэвенпортов, ни о живописи, ни о поэзии они не говорили, но Дэвенпорты быстро поняли всю несообразность своих ожиданий: в такой компании профессионализм попросту считался чем-то само собой разумеющимся. Поэтому разговор шел почти исключительно о вещах самых тривиальных.

Всеобщее отвращение вызывал кинематограф, хотя никто не отрицал, что фильмов за свою жизнь посмотрел немало, и они принялись развлекать друг друга киношными анекдотами.

Что, если на роль Скарлетт О'Хары взять Джун Эллисон?[21] Что, если роль Хамфри Богарта в «Касабланке» дали бы Дэну Дейли?[22] Может, в кинобиографии Альберта Швейцера лучше было снять Бинга Кросби или Пата О'Брайена?[23] А потом Майкл задал вполне риторический вопрос: возьмется ли кто-нибудь подсчитать, в скольких сотнях самых разных картин — комедий, любовных и военных драм, детективов и вестернов — имеется фраза «Подожди, я сейчас все объясню»? И он даже смутился от неожиданности, когда все расхохотались, как будто никогда в жизни не слышали ничего смешнее.

Филипа отправили к братьям в спальню, где, вероятно, стояли аж две двухъярусные кровати, и вся компания вскоре переместилась за кухонный

---

[21] Примечания: 21

Джун Эллисон (1917–2006) чаще всего играла роли веселых и шумных простушек, много танцевала и пела в кадре. Страдания родовитой южанки в ее исполнении смотрелись бы исключительно комично.

[22] Примечания: 22

Дэн Дейли (1915–1978) снимался в основном в мюзиклах (часто в паре с Бетти Грейбл). Одна из самых заметных его ролей — в музыкальной комедии Уолтера Ланга «Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес» (1954), где сыграла одну из первых своих ролей Мэрилин Монро. «Касабланка» с его участием неизбежно превратилась бы в нечто опереточное.

[23] Примечания: 23

Бинг Кросби (1903–1977) — один из самых популярных американских певцов 40-х гг., часто снимался в кино. За роль в картине Лео Маккери «Идти своим путем» Кросби получил «Оскар». Пат О'Брайен (1899–

1983) — звезда американского кино 1930—1940-х гг.; сыграл в паре с Джеймсом Кэгни в девяти картинах, включая знаменитый гангстерский фильм «Ангелы с грязными лицами» (1938). Шутка, очевидно, строится на том, что на роль тонкого христианского гуманиста Швейцера предлагаются иконические «крутые парни» американского кино.

стол. Стол был не слишком большой, и четверо едва за ним помещались, а в кухне было все еще жарко от готовки. На полу в противоположном от плиты углу, который теперь загораживал стол, Майкл заметил пластину оцинкованного железа; рядом с ней стояла картонная коробка с рекламой рисовых хлопьев «Келлогз», из которой торчали еще не распечатанные рулоны подстилочной бумаги. Майкл решил, что краски, тушь, ручки и кисти хранятся, должно быть, в той же коробке.

— Майкл, придется тебе расстаться с пиджаком и галстуком, иначе ты здесь просто умрешь, — сказала Пэт Нельсон.

Чуть позже, когда они уже начали есть, она стала всматриваться в одно из запотевших окон, как будто за ним открывались яркие виды на будущее.

— Хорошо, что нам осталось здесь жить всего несколько месяцев, — проговорила она. — Том уже сказал вам, что летом мы переезжаем в деревню насовсем?

— Но это же ужас! — воскликнула Люси, как показалось, с излишним драматизмом. — То есть для вас-то это замечательно, зато для нас ужасно. Едва мы успели познакомиться, как вы уже уезжаете.

И Пэт мягко заверила ее, что уезжают они недалеко: они будут жить в округе Патнем. Это следующий округ к северу от Вестчестера, объяснила она, там одни деревни без малейшего намека на городской дух. Они с Томом объездили округ вдоль и поперек, пока не обнаружили, как им показалось, правильный дом, стоящий в правильном месте — недалеко от городка Кингсли. Дом требовал ремонта, и сейчас там как раз шли работы; им обещали, что все закончат в июне.

— На машине отсюда совсем недалеко. Сколько здесь ехать, Том? Чуть больше часа? Так что общаться со всеми нашими друзьями будет не так сложно.

Люси отрезала себе еще кусочек остывающего ростбифа, и Майкл заметил по ее лицу, что ее задела последняя фраза: «со всеми нашими друзьями». Разве не говорили им Нельсоны, что никаких друзей у них в Ларчмонте не было? Но потом, пока она жевала мясо, ей, похоже, стало понятно, что Пэт имела в виду нью-йоркских друзей: народ из Музея современного искусства и музея Уитни, состоятельных поклонников, привыкших скупать у Томаса Нельсона все, что они могли себе позволить, и, конечно же, всех своих — веселую остроумную компанию моло-

дых художников, к которым со временем тоже приходил успех.

— Ну что ж, замечательно, — сказал Майкл с искренней радостью.

Он снял не только пиджак и галстук, но уже успел расстегнуть две верхние пуговицы на рубашке и закатать рукава; и теперь он сутулясь сидел с бокалом вина и разговаривал, по мнению Люси, наверное, громче, чему нужно; ему хотелось сказать, что он тоже, вероятно, вскоре свалит с себя бремя обыденной рутины.

— Как только мне удастся скинуть с себя эту проклятую работу, — сказал он, — мы тоже созреем для такого переезда. — И он шутливо подмигнул жене. — Может, когда выйдет книжка, детка.

После обеда они переместились в гостиную, и Майкл заметил на комоде шесть или восемь солдатиков — точные копии британских солдат старых полков в полном обмундировании; такие коллекционные вещи иногда стоили по нескольку сотен долларов за штуку.

— Бог мой, Том! — заговорил Майкл. — Откуда они у тебя?

— Я их сам делаю, — ответил Нельсон. — Это несложно. Берешь обычного оловянного солдатика, разогреваешь его немножко, чтобы изменить

форму, наращиваешь, где нужно, авиамодельным клеем, а потом самое главное — правильно раскрасить.

— Ни фига ж себе!

Один из солдатиков держал длинное древко с развевающимся британским флагом, и Майкл спросил:

— А флаг-то ты как делаешь?

— Из тюбиков от зубной пасты, — ответил Нельсон. — Отрезаешь кусочек — и все дела. Надо только правильно его изогнуть.

Майклу хотелось сказать: знаешь что, Нельсон, какой-то уж слишком ты охуительный! Но вместо этого он глотнул бурбона из тяжелого стакана, который держал в руке, и сказал, что солдатики очень красивые.

— Я их делаю просто для забавы, — объяснил Нельсон. — Ну и мальчишкам нравится смотреть. Но вообще я всю жизнь был помешан на солдатиках. Смотри… — и он выдвинул глубокий ящик, — здесь моя армия.

Ящик был до краев забит дешевыми оловянными солдатиками: стрелки в разных позах валялись вперемешку с пехотинцами, отступающими на шаг назад, чтобы метнуть гранату, с сидящими или лежащими ничком пулеметчиками и с при-

севшими у своих стволов минометчиками, — и у Майкла от тоски внезапно перехватило горло. Раньше ему казалось, что он единственный мальчишка во всем Морристауне в Нью-Джерси, а то и на всей земле, который не перестал играть в оловянных солдатиков, когда ему исполнилось десять, который не променял это увлечение на какой-нибудь спорт. Он прятал их в коробке глубоко в шкафу и часто играл с ними по утрам, когда родители еще спали, пока однажды отец не поймал его за этим занятием и не приказал выбросить все к чертовой матери.

— С ними можно устраивать настоящие сражения, — продолжал Том Нельсон.

— Настоящие?

— Из винтовок, конечно, не постреляешь, но из артиллерии вполне можно.

И он извлек из другого ящика два игрушечных пистолета, стреляющие десятисантиметровыми палочками с резиновыми присосками на конце.

— В Йонкерсе мы с приятелем устраивали сражения почти на целый день, — сказал Нельсон. — Сначала нужно было найти правильную местность — чтобы не было травы; только грязь с хребтами и возвышенностями. Если мы разыгрывали Первую мировую войну, то рыли по

обеим сторонам траншеи — несколько рядов с каждой. Потом мы делили войска и долго их расставляли, учитывая все, так сказать, тактические преимущества. А с артиллерией у нас было строгое правило: куда попало палить было нельзя, иначе будет сплошное месиво. Нужно было отступить на шесть футов от задних рядов своей пехоты, и ладонь ни при каких условиях нельзя было отрывать от земли. — И он продемонстрировал правила в действии, опустившись на четвереньки и уперев в ковер задний конец дула игрушечного пистолета.

На другом конце комнатки, где сидели девушки, Пэт Нельсон в смиренном отчаянии закатила глаза к потолку и сказала:

— О боже! Взялись за солдатиков! Ладно, главное — не обращать внимания.

— Можно было менять наводку по вертикали и регулировать дальность, — говорил Нельсон. — И можно было даже менять огневые позиции, — как правило, мы разрешали друг другу трижды менять позиции в течение одного сражения, но стрелять всегда нужно было с фиксированной точки на земле, как будто это настоящие пушки.

Майкл был заворожен, особенно восхищал его по-мальчишески серьезный тон, с каким Нельсон

все это рассказывал.

— И в конце, — продолжал Нельсон, — если мы были довольны битвой, то раскладывали по всему полю боя дымящиеся сигареты и фотографировали. Кадры не всегда получались, но на некоторых все выглядело совершенно по-настоящему. Можно было принять их за фотографии Вердена[24] или чего-то такого.

— С ума сойти, — проговорил Майкл. — А дома тоже можно играть?

— В дождливую погоду мы играли иногда дома, но это совсем не то: ни окопов, ни возвышенностей, ничего.

— Знаешь что, Нельсон, — произнес Майкл с шутливой воинственностью и отхлебнул из стакана. — Я намереваюсь при первой же возможности сразиться с тобой: не важно, у меня во дворе, у тебя во дворе или где найдем подходящую местность.

Он чувствовал, что стремительно пьянеет, но не мог понять, от виски или от дружеской расположенности, и его радовало, что Том Нельсон

---

[24] Примечания: 24

Битва при Вердене — крупнейшее сражение Первой мировой войны на Западном фронте, продолжавшееся с 21 февраля по 18 декабря 1916 г. к северу от города Верден в Северо-Восточной Франции. Одна из самых кровопролитных битв в мировой истории.

ласково улыбается.

— Только я окажусь в крайне невыгодном положении, если сначала не потренируюсь: надо разучить все маневры, иначе я даже не буду знать, как использовать собственную артиллерию. Может, разыграем пару сражений прямо здесь? Сейчас. В этой комнате.

— Не, на ковре не получится, Майк, — сказал Нельсон. — Будут падать. Они стоят только на деревянном полу.

— Подумаешь! Мы скатаем ковер. На время. Пока я не пройду артиллерийскую подготовку.

Майкл краем уха слышал, как Нельсон говорит: «Нет, подожди…» — но он все равно кинулся к кухонному порогу, где заканчивался ковер, присел на корточки и ухватился обеими руками за край, отметив попутно, что он был зеленого цвета, дешевый и сильно истертый; и только когда он рванул ковер вверх, он услышал, что говорит Нельсон:

— Да остановись же! Он прибит!

Слишком поздно. Сотня мелких гвоздиков взлетела вверх и заплясала в клубах домашней пыли, взметнувшейся от ковра сразу с трех оторвавшихся от пола сторон — через всю комнату до того места, где он еще как-то держался, в нескольких

дюймах от столика, за которым сидели девушки, — и Пэт Нельсон моментально вскочила со своего места. «Что ты делаешь?!» — заорала она, и Майкл навсегда запомнил ее лицо в тот момент. Гнева на нем не было, по крайней мере пока: она была совершенно шокирована.

— Просто… — проговорил Майкл. Он так и стоял с несчастным видом, подтягивая свой конец ковра к подбородку. — Я просто не понял, что он был прибит. Прошу меня извинить, если я…

И Том Нельсон немедленно попытался его выручить.

— Мы просто хотели расставить солдатиков, — объяснил он. — Ты только не расстраивайся, мы сейчас все положим на место.

Пэт уперла кулачки в бедра; теперь ею овладел гнев, лицо покраснело, но набросилась она на мужа, а не на гостя, как будто это больше соответствовало правилам хорошего тона:

— Я четыре дня потратила, чтобы вколотить эти гвозди. Четыре дня!

— Мадам, — начал Майкл, потому что по опыту знал, что иной раз такое обращение к девушке помогает выпутаться из затруднений, — мне кажется, что, если вы одолжите мне молоточек и дадите немного гвоздиков, я мигом справлюсь с

этим бедствием.

— Ну что за тупость! — проговорила она, обращаясь на этот раз вовсе не к Тому. — Если у меня ушло на это четыре дня, тебе, вероятно, потребуется пять. Хотя вот что можно сделать: давайте оба на колени и собирайте эти чертовы гвозди. Все до одного. Не хватало еще, чтобы мальчишки вышли утром и поранили ноги.

Только сейчас Майкл отважился посмотреть на свою жену — до этого у него не хватало духу; она сидела к нему вполоборота, но он почти не сомневался, что никогда еще не видел ее такой смущенной.

Больше часа — по ощущениям — мужчины медленно инспектировали на четвереньках каждый сектор пола, каждую складочку ковра в поисках ржавых, обломанных и гнутых гвоздиков. По мере работы они обменивались краткими робкими шутками, и пару раз девушки с некоторой нерешительностью смеялись вместе с ними — Майкл начал даже лелеять смутную надежду, что вечер еще можно спасти. Когда дело было сделано и Пэт налила всем «по последней», возникло ощущение, что ее благосклонность почти удалось вернуть, хотя Майкл знал, что, если бы благосклонность вернулась полностью, она бы

не сказала «по последней». К счастью, разговор о ковре больше не заходил, и вскоре Дэвенпорты стали прощаться.

— Мадам, — осведомился Майкл уже в дверях, — сможете ли вы когда-нибудь простить меня за ковер, чтобы мы все-таки остались друзьями?

— Да ладно тебе, — сказала Пэт и потрепала его по руке, вроде бы даже по-доброму. — Прости, что я так разошлась.

Но предстояло еще дойти до дома с Люси.

— Конечно же она тебя «простила», — говорила Люси. — Ты как ребенок, который готов думать, что вот он снова такой хороший и пригожий только потому, что мама его «простила»? Ты что, не заметил, что они нищие, как только мы туда зашли? Ну или, по крайней мере, были нищими, за исключением последних нескольких лет? И теперь, когда он начал по-настоящему зарабатывать, они вкладывают все до последнего доллара в этот свой деревенский дом. Своей работой он добился того, что у них начнется совсем новая жизнь, и можно даже не сомневаться, что это будет отличная жизнь, потому что из всех, кого я встречала, они, наверное, больше всего заслуживают восхищения. И вот, доживая здесь

последние дни, они совершают эту ужасную ошибку: приглашают нас в гости. Когда я увидела, как ты отдираешь этот ковер от пола… — я не шучу, Майкл, — когда я увидела, как ты отдираешь этот ковер, у меня было ощущение, что какой-то совершенно незнакомый мне человек вытворяет на моих глазах нечто безумное и разрушительное. Я тогда думала только одно: я его не знаю. Никогда не встречала этого человека.

Потом она замолчала, как будто желая показать, что разговаривать смысла нет — только устанешь, а Майклу сказать было нечего. Он так ослаб, что почти не расстроился, а кроме того, он знал, что достойного ответа просто не существует, так что он стиснул зубы и решил не отвечать. Время от времени, когда сквозь кроны растущих вдоль тротуара деревьев проглядывало небо, он смотрел на мерцающие в черноте звезды, как будто спрашивая, научится ли он когда-нибудь — ну хоть когда-нибудь — все делать правильно.

Дела стали налаживаться уже весной.

Майклу удалось избавиться от работы — ну или почти удалось. Он убедил «Мир торговых сетей» перевести его из штата в «постоянные авторы». Теперь он появлялся в редакции пару раз в месяц, чтобы принести готовые статьи и взять новые

задания. Твердой зарплаты у него теперь не было, как не было и «дополнительных льгот», но он не сомневался, что и на одних статьях сможет заработать ровно столько же. Но главный плюс, объяснял он жене, состоял в том, что теперь он сможет сам устанавливать график работы: делать все, что относится к «Торговым сетям», за полмесяца или даже быстрее, а оставшееся время полностью посвящать собственным занятиям.

— Что ж, — ответила она, — это обнадеживает.

— Еще бы!

Но куда больше обоих обнадеживало то, что Майкл закончил свой сборник и он почти сразу же был принят к публикации молодым человеком по имени Арнольд Каплан — гарвардским приятелем Майкла, который работал теперь редактором в одном из мелких нью-йоркских издательств.

— Издательство у нас, конечно, небольшое, Майк, — оправдывался Каплан. — Зато мы не печатаем такого дерьма, как некоторые университетские издательства.

И Майкл, в общем-то, готов был с этим согласиться, хотя не мог не признать, что некоторые из его самых любимых молодых поэтов, постепенно набирающих вес, печатались как раз в универси-

тетских издательствах.

Он получил пятьсот долларов авансом, — наверное, это были крохи по сравнению с деньгами, которые Том Нельсон зарабатывал на своих акварелях за двадцать минут, и, поскольку сумма оказалась такой незначительной, Дэвенпорты решили сразу же ее потратить: они купили подержанную машину, как оказалось на удивление хорошую.

Потом пришли гранки. Каждая опечатка заставляла Майкла морщиться, ругаться и кричать от боли, но делалось все это ради того, чтобы скрыть от Люси — а может, и от самого себя, — какую безудержную гордость он испытывает оттого, что видит свои слова напечатанными.

Еще одним греющим душу моментом той весной были Том и Пэт Нельсон, продолжавшие выказывать все признаки дружелюбия. Два раза они приходили отобедать к Дэвенпортам и еще раз приглашали их к себе в квартирку, ни разу не упомянув инцидента с ковром. Том прочитал сборник Майкла в гранках и объявил его «славным», что самого Майкла несколько разочаровало: только через несколько лет он поймет, что большей похвалы, чем «славный», от Нельсона вообще не услышать, тем более что он

сам сгладил это разочарование, попросив разрешения переписать два или три стихотворения, потому что, как он сказал, ему хотелось бы их проиллюстрировать. Когда Нельсоны окончательно переехали из города в свой новый дом — к тому моменту в самом названии округа Патнем всем слышался отзвук счастья как такового, — обещания скорых встреч казались уже естественными.

Фотограф из «Мира торговых сетей» сам предложил Майклу сделать бесплатную фотографию на обложку (ему хотелось иметь не только журнальные, но и книжные публикации), но Майклу ни один из его пробных отпечатков не понравился; он хотел все их отвергнуть и нанять «настоящего фотографа».

— Что за глупости! — сказала Люси. — На мой вкус здесь есть пара очень удачных карточек — вот эта особенно. И вообще, что ты хочешь, чтобы он тебе сделал? Фотопробу для «Метро-Голдвин-Майер»?

Но единственное по-настоящему серьезное разногласие между ними вызвала биографическая справка, которую помещают под фотографией. Майкл даже уединился, чтобы написать ее как следует: он понимал, что тратит на нее слишком много времени, но в то же время знал, как

внимательно он сам читает эти справки в книгах молодых поэтов, и видел, как много едва уловимых, но дьявольски важных вещей может содержаться в этих словах. В конечном счете на одобрение Люси был представлен такой текст:

Майкл Дэвенпорт родился в 1924 г. в Морристауне, штат Нью-Джерси. Во время войны служил в военно-воздушных силах, затем учился в Гарварде, выбыл на раннем этапе из турнира «Голден-главз»[25] и сейчас живет в Ларчмонте, штат Нью-Йорк, с женой и дочерью.

— Про «Голден-главз» я не поняла, — сказала Люси.

— Здесь нечего понимать, радость моя. Ты же знаешь, что я участвовал в этом турнире. В Бостоне, за год до того, как мы познакомились; я тебе сто раз рассказывал. И я действительно рано выбыл. Хреново начал и не пошел дальше третьего круга.

— Мне это не нравится.

— Слушай, — сказал он, — легкая издевка над собой такие тексты только улучшает. Иначе…

---

[25] Примечания: 25

«Голден-главз» («Золотые перчатки») — ежегодные соревнования боксеров-любителей, проводившиеся с 1926 г. в Нью-Йорке и Чикаго, а со второй половины 1930-х распространившиеся по всей стране.

— Но здесь же нет никакой легкости, и никакая это не издевка, — заговорила она. — Ничего, кроме болезненной настороженности здесь не читается. Ты как будто боишься, что Гарвард может показаться слишком уж стерильным местом для поэта, и сразу же пытаешься уравновесить его этой идиотической боксерской крутизной. Знаешь, ты как эти писатели, которые всю жизнь проводят при университетах, получают степень за степенью, преподают потихоньку и потом дорастают до профессоров. Многим из них стыдно писать все это на обложках, поэтому они фотографируются в рабочей одежде и перечисляют все сезонные работы, какие у них только были в студенческие годы: «Уильям такой-то работал скотником, водителем грузовика, комбайнером и матросом на торговом флоте». Разве ты не видишь, насколько это нелепо?

Майкл выпрямился, отошел в другой конец гостиной, молча развернулся и уселся в кресло, оставлявшее между ними не меньше пятнадцати футов свободного пространства.

— В последнее время становится все очевиднее, — заговорил он оттуда, стараясь не смотреть на нее, — что ты стала считать меня дураком.

В комнате воцарилось молчание, и, когда он

посмотрел на нее, ее глаза блестели от слез.

— Майкл, — сказала она, — неужели я действительно так себя вела? Так отвратительно? Майкл, я никогда, никогда не думала… Майкл!

И уже по тому, как медленно, с некоторой даже театральностью она пересекала эти разделявшие их пятнадцать футов, он понял — еще до того, как поднялся, чтобы принять ее в свои объятия, — что никаких придирок, и покровительственного тона, и вообще никаких неприятностей в его доме больше не будет.

Ларчмонту никогда не стать Кембриджем, но ни запах ее волос, ни вкус ее губ, ни голос, ни страстное ее дыхание ничуть не изменились с тех пор, как они оказались под армейским одеялом на Уэйр-стрит много лет назад.

Хотя в конечном счете он решил, что по поводу обложки она была, наверное, права. Мир или, точнее, та бесконечно малая доля американских читателей, которые дадут себе труд взять его книгу и бросить на нее взгляд, так никогда и не узнает, что Майкл Дэвенпорт когда-то выбыл из турнира «Голден главз» на самых ранних этапах.

Глава пятая

Осенью в округе Патнем можно увидеть, как фазан поднимается из своего укрытия и летит над долгими рыжевато-желтыми полями, а порой меж тонких стволов, под сенью дубов и белой березы, можно было найти даже пугливых оленей. Серьезные охотники, правда, особого интереса к этим местам не питали из-за их недостаточной «открытости»: здесь было много оживленных асфальтовых дорог, вдоль которых показывались то тут, то там небольшие группы домов, магазинов и школ, не говоря уже о безжалостном вторжении в округ идущей через весь штат, всегда загруженной скоростной дороги.

Неподалеку от южной границы округа располагается озеро Тонапак, некогда излюбленное место летнего отдыха для городских отпускников; само озеро давно вышло из моды, однако небольшой торговый поселок, возникший у одной из его оконечностей, никуда не исчез.

Именно в эту унылую деревню и ехали Дэвенпорты этим сентябрьским днем: Майкл сидел за рулем, пытаясь не пропустить нужный левый поворот, а Люси с хмурым видом разглядывала

разложенную на коленях карту.

— Здесь, — сказал он ей. — Вот этот поворот.

Они проехали улицу, состоявшую из аккуратных, близко поставленных друг к другу одноэтажных домиков, в палисадниках которых красовались кое-где гипсовые Мадонны и горделивые флагштоки с поникшими в безветрие американскими флагами, и Люси сказала:

— Очень уж все это убого, правда же?

Но затем они выехали на длинный изогнутый участок дороги, по обеим сторонам которого не было ничего, кроме невысоких старых каменных стен и густых зарослей, и наконец обнаружили то, что искали: покрытый коричневым гонтом почтовый ящик, на котором значилось: «Донарэнн».

Они приехали сюда по объявлению: раздел «Сдается» обещал им «очаровательный гостевой домик в четыре комнаты в частном землевладении: красивый участок; идеальный вариант для семьи с детьми».

— Не сказать, что дорога в идеальном состоянии, — проговорил Майкл, когда колеса загромыхали по выбоинам уходящего вверх внутреннего проезда, а машину окутали клубы пыли, но оба ошеломленно следили, какой он был длинный и дремучий.

— А вот и Дэвенпорты! — сказала хозяйка, выходя из собственного дома с увесистой связкой ключей в руке. — Сразу нас нашли? Меня зовут Энн Блейк.

Это была невысокая полная женщина; из-за длинных накладных ресниц ее стареющее лицо с мелким подбородком смотрелось почти что комично: Майклу она напомнила Бетти Буп[26] из старых мультфильмов.

— Думаю, лучше сначала показать вам маленький гостевой домик, — объяснила она. — Может, он вам по какой-нибудь причине не подойдет — я его обожаю, но я знаю, что далеко не всем он нравится. А потом, если вы найдете его приемлемым, я проведу вас по имению и покажу все остальное. Потому что вся прелесть здесь на самом деле вовсе не в доме.

Насчет дома она была права: оценить его мог далеко не каждый. Он был приземистый и непропорциональный, покрытый бледной ро-

---

[26] Примечания: 26

Образ Бетти Буп, героини многочисленных мультфильмов 1930-х гг., создал художник Грим Натуик. Изначально героиня была слегка очеловеченным французским пуделем, но уже к 1932 г. очеловечилась полностью: от пуделя в ней осталась лишь квадратная физиономия с почти отсутствующим подбородком. Бетти Буп была первым мультяшным персонажем с ярко выраженной сексуальностью: она носила короткие платья, высокие каблуки, чулки на поясе и периодически демонстрировала публике красивое нижнее белье.

зовато-серой штукатуркой, с выкрашенными в бледно-лиловый деревянной отделкой и ставнями. С одной стороны застекленная створчатая дверь на втором этаже вела на усеченный балкон, увитый густыми лозами, и с этого балкона легкомысленная, запутавшаяся в винограде винтовая лестница спускалась на вымощенную плитами террасу, расстилавшуюся, как теперь выяснялось, у парадного входа. Отступив на траву, дом можно было рассмотреть целиком, и его кривобокий, грубоватый и причудливый облик напоминал рисунок, который сделал ребенок, не слишком представлявший себе, как должен выглядеть дом.

— Я сама его спроектировала, — сообщила им Энн Блейк, отыскивая нужный ключ. — Собственно, здесь все здания мои — все это делалось много лет назад, когда мы с мужем только купили землю.

Но, оказавшись в доме, они, к удивлению своему, обнаружили, что его серо-коричневые внутренности вовсе не так безнадежны: там было, как выразилась Люси, много закутков и щелочек. Имелся симпатичный камин, по потолку гостиной шли чисто декоративные, но симпатичные балки, были встроенные кладовые

и книжные полки, а в большей из двух верхних спален — в той, что выходила на балкон с винтовой лестницей (Дэвенпорты сочли, что она и будет их спальней), — света и пространства было достаточно, чтобы Люси сказала о ней: «Вполне себе элегантная, правда же?»

Ну да, домик был чудной, но кого это интересовало? По существу, в нем все было нормально; стоил он недорого; на ближайшие год или два сгодится.

— Ну что, — сказала Энн Блейк, — готовы к обзорной экскурсии?

И они вышли вслед за ней из дома, прошли прямо по траве мимо гигантской ивы (она спросила их: «Удивительное дерево, правда?») и оказались на площадке, откуда наверх вели широкие каменные ступени.

— Видели бы вы эти террасы пару месяцев назад! — говорила она, пока они лезли вверх. — Изумительные, яркие цвета — и на каждой разные: астры, пионы, бархатцы, и даже не помню, что еще; а там, по другой стороне, по всем этим решеткам вились розы — несметное количество! Конечно, с садовником нам необыкновенно повезло. — И она оглянулась на них, чтобы убедиться, что имя, которое она собирается

произнести, произведет на них должное впечатление: — Садовник у нас — мистер Бен Дуэйн.

Ступени давно кончились, они поднялись до верхней террасы с цветами, и Майкл заметил в некотором отдалении деревянный сарай — достаточно высокий, чтобы в нем можно было стоять в полный рост и площадью примерно пять на восемь футов. Ему сразу подумалось, что сарайчик вполне сгодится для работы, и он поднял ржавый крючок на двери, чтобы заглянуть внутрь. В сарае было два окна и места вполне хватало, чтобы поставить стол, стул и керосиновую печку, и он тут же ощутил сладость писательских бдений: в полном одиночестве все дни, во все времена года водить по бумаге карандашом — снова и снова, пока слова и строки не выстроятся в правильном порядке как будто бы по собственному почину.

— Да это всего лишь сарайчик для насоса, — сказала Энн Блейк. — Этим вам заниматься не придется; за насосом следит надежный человек из соседней деревни. Пройдемте в ту сторону, я покажу вам общежитие.

Много лет назад, рассказывала она, с трудом переводя дух, потому что одновременно идти и говорить ей было трудно, — много лет назад они с мужем основали театр в Тонапаке.

— Быть может, вы заметили вывеску перед въездом? На другой стороне дороги?

В свое время этот летний театр гремел на весь штат, но славу в наши дни сохранить не так просто. Последние пять-шесть лет она сдавала театр всяким задрипанным продюсерским группам, состоявшим по большей части из фрилансеров, и теперь ей было такое облегчение, что больше не надо было нести за все это ответственность, но порой она все-таки скучала по тому, как все было заведено раньше.

— Сейчас увидите общежитие, — сказала она, когда из-за деревьев показалось длиннющее, местами отштукатуренное деревянное здание. — Мы его выстроили, чтобы актерам и театральному персоналу было где жить летом, тут же мы их и кормили. Мы нанимали замечательного повара из Нью-Йорка и отличную горничную, или домоправительницу, как она предпочитала себя называть, и у нас — Бен!

Из-за угла медленно выворачивал высокий пожилой мужчина с тачкой кирпичей. Он остановился, опустил тачку на землю и приложил руку ко лбу, прикрывая глаза от солнца. Он был голый до пояса — вся его одежда ограничивалась короткими шортами цвета хаки, прочными рабо-

чими ботинками, которые он носил без носков, и голубой банданой, туго повязанной над самыми бровями. Когда он понял, что его собираются представить каким-то незнакомцам, у него по лицу разлилось выражение довольного предвкушения.

— Это Бен Дуэйн, — объявила Энн Блейк и на миг замялась в тщетной попытке припомнить фамилию Дэвенпортов. — Эти милые люди приехали взглянуть на гостевой дом, Бен, и я показываю им, что у нас тут есть.

— Ах да, гостевой домик, — сказал он. — Что ж, замечательно. Но мне все-таки кажется, что по-настоящему ценным для вас здесь будет само место — простор, трава, деревья, тишина.

— Собственно, об этом я им и рассказываю, — проговорила она и взглянула на Дэвенпортов, чтобы они подтвердили ее слова. — Правда ведь?

— Мы здесь живем вдали от мира, как видите, — продолжал Бен Дуэйн, рассеянно почесывая подмышку. — Пусть мир день ото дня вершит свои жестокие дела — мы от него отгорожены. Мы в безопасности.

— А для чего кирпичи, Бен? — спросила Энн.

— Надо бы укрепить пару террас, — сказал он. — Решил разделаться с этим до морозов. Ну

что ж. Было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, домик вам подойдет.

Энн Блейк повела их дальше и заговорила о нем сразу, как только убедилась, что старик их не слышит:

— Вы ведь знакомы с творчеством Бена, верно?

— Да, конечно, — сказала Люси, предоставив Майклу возможность кивнуть и промолчать. Он слышал это имя впервые.

— Я бы очень удивилась, если бы вы не знали о нем, — заговорила она. — Он же на самом деле… он украшение американской сцены. Чтобы прославиться, довольно было и одного исполнения стихов Уолта Уитмена — с этой постановкой он проехал по всем крупным городам Америки, — но он сыграл еще Авраама Линкольна в «Затруднениях господина Линкольна» на Бродвее. И у него такой разносторонний талант! Он даже пел одну из важнейших партий в первой бродвейской постановке «Застолби участок!». Ах, какая это была постановка! Легкая, веселая! Теперь он попал в черный список — об этом, я полагаю, вам известно — очередная гнусность сенатора Маккарти; и мы сочли за честь, что он решил переждать свое изгнание здесь. Это один из самых тонких… один

из самых тонких людей, каких я только знаю[27].

Теперь они шагали по довольно широкой гравийной дорожке, но Энн Блейк снова запыхалась и, прежде чем продолжить свой монолог, вынуждена была простоять несколько секунд, положив руку под грудь.

— Так, взгляните, там, внизу, за деревьями, вон в том просвете видно нашу площадку для пикников. Заметили эту чудную большую печь? Видите длинные столы? Их мой муж сам сделал. Время от времени мы устраивали там дивные вечеринки, развешивали везде японские фонарики. Мой муж, бывало, говорил, что единственное, чего у нас нет, — это бассейна, но меня это не расстраивало, потому что я лично плавать не люблю. А теперь пойдемте прямо наверх, здесь у нас дополнительное общежитие. Театрального народу иногда бывало так много, что потребовалось еще одно здание. Этот дом давно уже закрыт

---

[27] Примечания: 27

Приведенные здесь названия постановок выдуманы, но судьба прототипа Бена Дуэйна, актера Уилла Гира (1902–1978), изложена точно. Будучи довольно известным актером, Гир в 1950-е гг. попал в черный список деятелей театра и кино, подозревавшихся в коммунистических симпатиях, и был почти полностью отлучен от сцены. В это время Гир действительно работал садовником в имении Бабарил, недалеко от местечка Махопак, в округе Патнем, где летом 1956 г. Ричард Йейтс с женой и дочерью сняли дом. В 1970-е гг. всенародную славу Уиллу Гиру принесла роль дедушки Уолтона в популярном сериале «Уолтоны».

и заколочен, но в той вот части имеется отличная квартирка, и мы ее сдаем приятному молодому семейству Смит. У них четверо маленьких детей, им здесь очень нравится. Достойнейшие люди, соль земли.

У края дороги на траве сидела девочка лет примерно семи и сосредоточенно переодевала куклу. Рядом с ней виднелся детский манеж, в котором мальчик лет четырех-пяти сосал, стоя, большой палец, держась свободной рукой за ограждение.

— Здравствуй, Элейн, — приветливо обратилась к девочке миссис Блейк. — Постой-ка, ты Элейн или Анита?

— Анита.

— Вы так быстро растете, что за вами не уследишь. А ты, — обратилась она к мальчику, — такой большой, а сидишь в этой штуке?

— Ему без нее нельзя, — объяснила Анита. — У него церебральный паралич.

— Вот как!

Они двинулись дальше, но Энн Блейк, по-видимому, почувствовала, что от нее ждут объяснений.

— Видите ли, — начала она, — когда я сказала, что Смиты — соль земли, я, в общем-то, имела в виду, что они совсем простые люди. Гарольд Смит

служит в какой-то конторе в городе — всегда носит дюжину шариковых ручек в нагрудном кармане и прочее в том же духе. Он работает на «Нью-Йорк сентрал»[28], и эти безобразные мастодонты дают своим сотрудникам право бесплатного проезда по своим линиям, иначе им людей не удержать. И Гарольд этим воспользовался — они переехали сюда из Квинса. Жена у него симпатичная, довольно приятная, но я ее почти не знаю, потому что, когда бы я к ним ни зашла, она вечно у гладильной доски: стоит гладит перед телевизором — утром, днем, вечером. Но вот что любопытно: Гарольд мне однажды признался не без смущения, что играл когда-то в школьном театре и хотел бы попробоваться на какую-нибудь роль. Не буду вдаваться в подробности — в итоге он сыграл полицейского в «Призраке Грэмерси»[29], и сыграл отлично. Никогда бы не подумала, но он прирожденный комик. Я его спросила: «Гарольд, а ты не думал заняться

---

[28] Примечания: 28

«Нью-Йорк сентрал» — железнодорожная компания, образованная в 1831 г. и владевшая сетью сообщения на северо-востоке Соединенных Штатов. Просуществовала до 1968 г. Этой компании принадлежала «Береговая магистраль» (Water Level Route), соединявшая Нью-Йорк с северными частями штата, — первая в мире четырехпутная железнодорожная линия.

[29] Примечания: 29

«Призрак Грэмерси» — популярная комедия Джона Холма (1904–1981).

этим профессионально?» — а он говорит: «Ну, я же не сумасшедший — у меня жена и четверо детей». Вот и все. Но я на самом деле не знала, ничего не знала про церебральный паралич. И манеж никогда не видела.

Она наконец замолчала и ушла далеко вперед, чтобы Дэвенпорты могли погулять и обдумать увиденное. Гравийная дорога привела их назад, и вдалеке на поросшем травой пригорке в лучах заходящего солнца снова показался гостевой домик — домик, будто бы сошедший с детского рисунка. Майкл сжал руку жены.

— Ну что, берем? — спросил он. — Или еще подумаем?

— Да нет, давай снимем, — ответила она. — Все равно за эти деньги ничего лучше не найти.

Когда они сообщили о своем решении, Энн Блейк сказала:

— Отлично. Вот это мне нравится: люблю, когда люди понимают, чего хотят, и могут принять решение. Зайдите тогда ко мне на минутку — сразу все и подпишем. — И она повела их в кухню, где царил беспорядок, и, обернувшись на ходу, сказала: — Прошу простить мне этот хлам.

— Я не хлам, — возразил ей молодой человек — он сидел на высоком стуле у кухонной стойки,

склонившись над тарелкой горячих бутербродов с яичницей.

— Ну а кто ты еще?! — спросила она, протискиваясь мимо него боком и задержавшись на минуту, чтобы потрепать его по голове. — Вечно ты мешаешься, когда мне нужно заняться делом. — И она снова обратилась к своим улыбающимся гостям: — Это мой друг, прекрасный молодой танцор Грег Этвуд. Это Дэвенпорты, Грег. Они будут жить у нас в гостевом домике, если я, конечно, найду сейчас документы.

— Что ж, прекрасно, — сказал он, вытирая рот и томно сползая со стула.

Он был босой, в узких светлых джинсах и темно-синей рубашке, расстегнутой по новой моде до пояса, как у Гарри Белафонте[30].

— Так вы профессиональный танцор? — спросила Люси.

— Да, танцевал в небольших постановках, — сказал он. — И преподавал. А сейчас работаю в основном в свое удовольствие, пробую все новое.

— Это как играть на музыкальном инструмен-

---

[30] Примечания: 30

Гарри Белафонте (р. 1927) — американский черный певец и актер, главная звезда американской поп-музыки добитловской эры. В 1956 г. его альбом «Калипсо» на протяжении 31 недели удерживался в первой строчке хит-парада.

те, — пояснила Энн Блейк, открывая и закрывая один ящик за другим в поисках документов. — Многие исполнители тратят годы на подготовку своих выступлений. Но мне лично все равно, чем он занимается: пока он здесь, я за ним присмотрю. Ага, вот они!

И она выложила на стойку договор об аренде в двух экземплярах. Оставалось лишь подписать.

Провожая Дэвенпортов к машине, Грег Этвуд взял Энн под руку, но она свою руку демонстративно выпрямила, и та болталась, едва касаясь его руки, пока он не обнял ее за талию.

— Откуда же у поместья такое название? — спросил ее Майкл.

— «Донарэнн»? Это мой муж придумал. Его звали Дональд, то есть его и сейчас зовут Дональд, а меня — Энн, и он вот так по-дурацки соединил их вместе. Я все время должна следить за собой, чтобы не говорить о нем в прошедшем времени, потому что он жив-здоров и обитает в четырех с половиной милях к северу отсюда, у него там поместье в два раза больше этого. Он купил его, когда сбежал от меня семь лет назад с какой-то вертихвосткой-стюардессой. Ничто не вечно, как оказалось. Ну что же, было очень приятно с вами познакомиться. Увидимся.

— Не думаю, что мы совершили ошибку, — сказал Майкл, как только они отъехали; им предстояла долгая дорога обратно в Ларчмонт.

— Дом, конечно, не идеальный, но разве бывает хоть что-нибудь идеальное? И мне кажется, что Лауре там очень понравится, как ты думаешь?

— Надеюсь, — сказала Люси. — Очень на это надеюсь.

Через некоторое время он добавил:

— Знаешь что? Хорошо, что ты знала, кто такой этот старик с тачкой. Потому что я бы все испортил.

— Ну, на самом деле все, что я о нем слышала, — это что он типа голубок. У нас в колледже была девочка из Уэстпорта — она рассказывала, что Бен Дуэйн купил там дом, еще когда шла эта его пьеса про Линкольна. Только она говорила, что прожил он там недолго, потому что местная полиция поставила его перед выбором: или он оттуда убирается, или будет отвечать перед судом за то, что показывал мальчишкам какую-то похабщину.

— Вот оно что! — сказал Майкл. — Это плохо. Ну и, как я понимаю, молодой танцор Грег тоже слегка голубоватый.

— Я бы сказала, что такое предположение весь-

ма недалеко от истины.

— Но они же вроде сожительствуют с милашкой Энн — как это у них получается?

— Это, насколько я знаю, называется двустволка, — сказала она. — Еще говорят, что им все равно, с какой стороны зайти.

И только миль через пять или шесть Люси, смягчившись, заговорила: она надеялась, что дочери на новом месте понравится.

— На самом деле ничего другое меня сегодня и не заботило, — сказала она. — Я пыталась посмотреть на все глазами Лауры, старалась понять, как бы она на это отреагировала. По поводу дома я почти не сомневалась: он ей должен понравиться, наверное даже покажется ей уютным. Но когда мы пошли наверх, я смотрела по сторонам на эти просторы и думала, что перед этим-то она точно не устоит. Потом, когда мы увидели этого мальчика с ДЦП в манеже, я подумала: стоп, это нам не пойдет, этого всего не надо. Но потом я подумала: а что здесь такого? Такие вещи просто ближе к реальной жизни, чем то, что она может увидеть в Ларчмонте, или то, что я видела, когда росла.

Когда она заговорила о «реальной жизни», он почувствовал себя уязвленным — так выражались только богатые и их дети, и ничего,

кроме всю жизнь не оставляющего их желания поболтаться по трущобам, здесь никогда не подразумевается, — но он не стал придираться: он понял, о чем она говорит, и согласился.

— Мне кажется, когда пытаешься решить, что для ребенка лучше, — сказала она, — приходится взвешивать все чуть ли не на весах.

— Точно, — отозвался он.

Лауре было шесть с половиной, и для своего возраста она была высокой, — застенчивая, нервная девочка, со слегка выступающими верхними зубами и необыкновенно большими голубыми глазами. Отец недавно научил ее щелкать пальцами, и теперь она часто, сама того не замечая, щелкала в унисон пальцами обеих рук, будто аккомпанируя своим мыслям.

В первом классе ей не понравилось, и второго она боялась: страшно было даже думать о едва ли не бесконечной череде других, до боли долгих классов, которые ей предстоит вытерпеть, пока она не станет наконец взрослой, как мама. Зато дом в Ларчмонте ей понравился: ее спальня была единственным в мире секретным местом, принадлежащим только ей, и на заднем дворе можно было каждый день устраивать себе опасные приключения, вернее, приключения не опаснее, чем

ей того захочется.

В последнее время в доме не утихали разговоры об «округе Патнем», и то, чем все это могло обернуться, стало внушать ей ужас, хотя родители уверяли, что ей там понравится. Потом как-то утром к дверям кухни аккуратно подрулил огромный красный грузовик, в дом протопали какие-то мужики и стали выносить все подряд — сначала картонные коробки, которые родители паковали и заклеивали в последние несколько дней под ее встревоженным взглядом, а потом и мебель, лампы, ковры — все.

— Поедем, Майкл, — сказала мама. — Не думаю, что ей хочется на все это смотреть.

И вот вместо того, чтобы остаться и смотреть, она долго ехала в одиночестве на заднем сиденье со старым и довольно чумазым пасхальным зайцем в руках, которого мама разрешила взять с собой, если ей хочется, и пыталась расслышать и понять как можно больше из того, что там впереди говорили друг другу родители.

И что самое забавное, вскоре ей стало совсем не страшно: ее охватило какое-то безудержное веселье. А вдруг эти люди и в самом деле разобрали весь их ларчмонтский дом и он превратился в груду пыли и мусора? А вдруг грузовик с их веща-

ми потеряется где-нибудь по дороге и так никогда и не приедет, куда они в итоге должны приехать? И если уж на то пошло: а вдруг папа и сам не знает, куда им надо ехать? Да какая разница?

Действительно, какая разница? Уж в их-то машине с Лаурой Дэвенпорт, с папой и мамой ничего плохого не случится, и они так будут путешествовать во времени и пространстве; и если надо будет, эта сама машина сможет стать новым домом — маленьким, но вполне подходящим — для всех троих (или даже для четверых, если ее желание про маленькую сестренку когда-нибудь исполнится).

— Как дела, солнышко? — спросил папа, обернувшись назад.

— Отлично, — ответила она.

— Ну вот и хорошо, — сказал он. — Теперь уже недолго осталось, мы почти приехали.

Значит, он все-таки знал, куда они едут. Значит, в целом все в порядке и скоро снова пойдет нормальная жизнь — ну или почти нормальная, как уж там у родителей получится. И Лаура ощутила облегчение, но в то же время и какое-то странное разочарование: она никак не могла избавиться от чувства, что ей было бы лучше, если бы все получилось наоборот.

Через пару дней после переезда, когда вещи, целые и невредимые, были все еще разбросаны по всему дому, Лаура болталась на террасе у входа, где отец орудовал тяжелыми садовыми ножницами. Он пытался срезать толстые лозы у основания винтовой лестницы, и она наблюдала за его работой, пока не наскучило; потом она неожиданно заметила вдалеке девочку — по виду ровесницу, которая уверенно направлялась по траве в ее сторону.

— Привет, — сказала девочка. — Меня зовут Анита, а тебя как?

И Лаура, совсем как ребенок, украдкой спряталась за отца.

— Ну что же ты, солнышко, — заговорил он с нетерпением и даже положил ножницы, чтобы вытащить ее из-за спины и подтолкнуть вперед. — Анита спрашивает, как тебя зовут, — обратился он к ней.

Ничего не поделаешь: пришлось смело шагнуть вперед.

— Меня зовут Лаура, — объявила она и щелкнула пальцами, сразу в две руки.

— Ого, четко! — сказала Анита. — Как это у тебя получается?

— Папа научил.

— У тебя есть братья и сестры?

— Нет.

— А у меня две сестры и брат. Мне семь лет. Фамилия наша Смит. Легко запомнить, потому что она самая частая в мире. А у тебя как фамилия?

— Дэвенпорт.

— Ничего себе какая длинная! Зайдешь к нам домой ненадолго?

— Пошли.

И Майкл позвал жену на террасу — посмотреть, как уходят девочки.

— Похоже, начало положено. Общение у нее будет, — сказал он.

— Вот и хорошо, — сказала Люси. — Правда же?

Они заранее договорились, что еще пару дней — и они тоже озаботятся кругом общения, нужно только привести дом в презентабельный вид.

— …Ого, да это ж замечательно! — сказал по телефону Том Нельсон. — Удалось найти приличное место? Отлично. Заезжайте к нам как-нибудь. Завтра вечером сможете?

Про городок Кингсли, в котором жили Нельсоны, не нужно было ничего объяснять: ни про заброшенный курорт на берегу озера, ни про оставшуюся от курорта обслугу, ни про отжи-

вающий свой век летний театр. Он не требовал объяснений и не предлагал их.

В Кингсли вообще не было ничего городского, если не считать выстроившихся в аккуратную линеечку почты, заправки, бакалейной лавки и винного магазина; остальное являло собой деревню. Люди жили в Кингсли, потому что заработали себе это право, то есть заработали достаточно денег в Нью-Йорке, чтобы позабыть о пошлости и убожестве навсегда, — и свою уединенность они ценили. Те немногие дома, которые можно было заметить с дороги, располагались в глубине участков среди кустов и деревьев, чтобы лучшая их часть так и осталась неведомой для посторонних. Все это слегка напомнило Майклу летний дом родителей Люси на Мартас-Виньярд.

Принадлежавший Нельсонам фермерский дом — большой, белый и со вкусом перестроенный — являл собой исключение: он стоял на вершине крупного, поросшего травой холма и представал взору целиком, как только из-за поворота узенькой деревенской дороги появлялся сам холм. Но даже и так по одному только облику дома было понятно, что он неприступен для вторжений и непроницаем для компромата. На вершине этого холма не будет никаких престарелых гомосексу-

алистов, толкающих перед собой нагруженную кирпичами тачку, а у его подножия — молодых гомосексуалистов, просиживающих до полудня над тарелкой яичницы. Это место целиком принадлежало Томасу Нельсону и его семье. Они им владели.

— О, привет! — Пока Том встречал их на подъезде к дому, в двери у него за спиной показалась с улыбкой его жена.

Потом они приступили к восторженному осмотру дома, и при каждом открытии Люси не забывала сказать «чудесно». Залитую солнцем гостиную одним взглядом было не окинуть, такая она была просторная, и для Майкла самым замечательным в ней оказалась длинная стена, которую от потолка до пола занимали открытые полки с книгами. Здесь было как минимум две тысячи книг, а может даже, и в два раза больше.

— Накопилось за многие годы, — объяснил Том. — Всю жизнь покупаю книги. В Йонкерсе и Ларчмонте места для них не было, приходилось держать их на складе. Приятно было снова расставить их по полкам. Посмотришь студию?

И студия тоже оказалась широкой и длинной и тоже залитой светом. В углу прямо на полу лежала старая пластина оцинкованного железа

— теперь она казалась очень маленькой, — а над ней на доске висели на кнопках без всякого порядка несколько новых работ, из чего Майкл заключил, что во всей студии только этот угол и использовался на самом деле для работы.

— За все время это у меня первая студия, — сказал Том. — Порой чувствую себя потерянным в этих просторах.

Но чтобы скрасить моменты, омраченные ощущением потерянности, в дальнем конце комнаты имелась полная барабанная установка, стереосистема и целая куча аккуратно расставленных по полкам пластинок. Коллекция джаза у Тома Нельсона была почти такая же солидная, как и библиотека.

Возвращаясь на кухню, где устроились поболтать девушки, Майкл заметил, что новое место нашлось и для солдатиков: парадные фигурки стояли порознь, выставив напоказ свои мечи и развевающиеся флаги из тюбиков от зубной пасты, а глубины ящиков под ними было довольно для размещения боевых расчетов.

— Я так за вас обоих рада, — сказала Люси, когда все четверо уселись в гостиной. — Вы нашли идеальное место, чтобы жить и растить детей. Вам больше никогда не придется думать о переезде.

Но тут Нельсонам захотелось узнать, что за место подыскали для себя Дэвенпорты, и Дэвенпорты стали нервно перебивать друг друга, не зная, с чего начать.

— Ну мы, конечно, просто снимаем, — начал Майкл. — Так что это только временно, но…

— Это очень смешной домик в частном имении, — сказала Люси, стряхивая с колен сигаретный пепел. — Поэтому земли там предостаточно, но люди немного…

— В некотором роде голубиное хозяйство, — сказал Майкл.

— Голубиное хозяйство?

И Майкл, то и дело запинаясь, стал объяснять, что он имеет в виду.

— Бен Дуэйн, — сказал Том Нельсон. — Это не тот, который читал Уитмена? Потом, пару лет назад, его еще прижала комиссия Маккарти?

— Тот самый, — сказала Люси. — И я, конечно же, уверена, что он абсолютно… сами понимаете — абсолютно безвреден и все такое, хотя мне, наверное, было бы не по себе, если бы нам пришлось жить там с мальчиком. И понятное дело, от хозяйки и ее молодого человека тоже можно держаться подальше. Но все же у нас нет ощущения, что мы там одни, как у вас тут.

— Вот я только не понимаю, — сказала Пэт Нельсон, чуть скривив рот. — Что такого замечательного в этом самом одиночестве? Мне кажется, мы с Томом взбесились бы тут от этого одиночества, если бы не друзья. Мы теперь каждый месяц устраиваем вечеринки, кое-какие были очень удачные, но, когда мы только переехали — бог мой! — было так мрачно. Полная изоляция. Однажды нас позвали на маленькую вечеринку, здесь недалеко — не помню, как этих людей звали, — и там один из гостей буквально загнал меня в угол и начал допрашивать. «Признавайся, — говорит, — чем твой муж занимается». Я говорю: «Он художник». А он мне: «Ну да, да, а занимается-то он чем?» — «Вот этим и занимается: пишет картины». А он спрашивает: «Что ты имеешь в виду? Рекламу, что ли, рисует?» Я говорю: «Да нет, не рекламу. Он… ну как это сказать… просто художник». — «Художник по искусству, что ли?» Никогда не слышала такого выражения, а вы? Художник по искусству! Так мы и кружили на одном месте, не в силах понять друг друга, пока он наконец не ушел, но перед тем, как уйти, он посмотрел на меня так неприятно, с прищуром, и говорит: «Так все-таки что там у вас, ребята? Трастовый фонд, что ли?»

Дэвенпорты захихикали и стали медленно качать головами в знак того, что оценили историю по достоинству.

— Нет, здесь это все далеко не редкость, — сказала Пэт, будто пытаясь честно их предупредить. — Эти местные типы считают, что все должны заниматься чем-то одним, чтобы жить, и чем-то совсем другим — ну, не знаю — ради интереса, что ли… До них просто не доходит; они не верят — думают, что ты втираешь им очки. В лучшем случае они решат, что у вас какой-нибудь трастовый фонд.

Теперь Майклу ничего не оставалось делать, как сидеть, уставившись с сожалением в пустой стакан и держать язык за зубами. Дать себе волю в этом доме он не мог — это было бы слишком унизительно, но он знал почти наверняка, что разойдется позже, когда они с Люси останутся наедине: в машине или уже дома.

— Господи, — скажет тогда он, — и какой же херней я, по ее мнению, зарабатываю на жизнь? Неужто она думает, что на стишки можно прожить?

Но тут трезвящая, предостерегающая череда мыслей напомнила ему, что и наедине с Люси ему тоже лучше не давать себе волю. Если на-

едине с Люси он разойдется по такому поводу, они всего лишь вернутся к тому долгому, изощренному и мучительному спору, начало которого терялось в воспоминаниях о медовом месяце в Копли-Плаза.

Когда же, спросит она, он наконец образумится? Разве ему не известно, что не было никакой нужды ни в «Мире торговых сетей», ни в Ларчмонте, ни в этом сонном домике в упадочном Тонапаке? Что же он тогда не дает ей снять трубку и позвонить банкирам, брокерам или кому бы то ни было, которые мгновенно их освободят?

Нет-нет. Ему придется в очередной раз сдержать свой гнев. Он промолчит сегодня, завтра и послезавтра. Это придется перетерпеть.

Глава шестая

Заехав как-то в Тонапак, чтобы купить зимние шины, Майкл увидел на тротуаре впереди себя знакомую фигуру — одетого в джинсу высокого молодого человека с походкой киношного ковбоя.

— Пол Мэйтленд! — закричал он, и тот с удивлением обернулся.

— Майк! — сказал он. — Черт возьми! Ты-то что здесь делаешь?

Его рукопожатие обнадеживало своей энергичностью.

— Найдется минутка? Выпьем? — спросил он и потом привел Майкла в темную, несколько грязноватую рабочую пивнушку, куда он, похоже, и так изначально направлялся.

Кое-кто из сидевших у стойки посетителей обернулся в их сторону со словами «Привет, Пол» или «Здорово, Пол», пока Мэйтленд пробирался к столу в глубине зала, и Майкл поразился, что художник так по-свойски общается с этими неотесанными работягами.

Когда принесли виски, Пол Мэйтленд поднес свой стакан к самым губам, как бы смакуя крат-

кую отсрочку удовольствия, и стал с блеском в глазах вспоминать былые вечера в «Лошади».

— Никогда не забуду, как ты поразил тогда этого нахального старикана из Йоркшира, матроса торгового флота, — сказал он. — Ты тогда пропел ему все слова «На Илкли-Мур без шляпы»[31], да еще и с нужным акцентом. Здорово получилось.

— Ну да. Просто во время войны мы размещались в Англии, и у меня была знакомая девушка из Йоркшира — она меня и научила.

Как же это прекрасно! Посреди бела дня пить виски с человеком, которого считают гением, с человеком, который раньше лишь изредка проявлял к нему какую-либо симпатию и который не жалел теперь сил, чтобы напомнить ему, как он когда-то совершил нечто незабвенное в таверне «Белая лошадь».

— …Ты помнишь Пегги? — говорил Пол Мэйтленд. — Мы в итоге поженились, у ее отчима отличный дом в нескольких милях отсюда, в Хармон-Фолз. Мы сняли у него домик и поначалу мотались туда-сюда, а потом нашлась более-менее постоянная плотницкая работа здесь, в Тонапаке, и кое-где еще в округе, так что дела у

---

[31] Примечания: 31

«On Ilkley Moor I'Thout Hat» (англ.) — популярная народная песня на йоркширском диалекте, считается неофициальным гимном графства.

нас пошли на лад.

— А время на живопись остается?

— Ну конечно. Пишу каждый день. Пишу как идиот, как одержимый. Это не остановить. А вы с Люси где живете?

Майкл начал рассказывать и уже собирался было сказать, что «это в некотором роде голубиное хозяйство», но вовремя остановился. С некоторых пор он стал понимать, что пытаться объяснить какие-то вещи — себе дороже. Поэтому он спросил:

— А как… как поживает твоя милая сестра?

— У Дианы все отлично. Мне кажется, она собралась замуж. Жениха зовут Ральф Морин. Вроде вполне симпатичный парень.

— Актер?

— Где-то он играл, но теперь, как я понял, двинулся в сторону режиссуры — или пытается. — И Пол уставился задумчиво в свой стакан. — Я почему-то надеялся, что она выйдет в конце концов за Билла Брока, потому что они неплохо смотрелись вместе. Но в таких делах никто помочь не может.

— Это точно.

И когда принесли по второй, Майкл решил перейти к другой, куда более приятной теме:

— Слушай, Пол. Здесь неподалеку живет еще один художник, который, мне кажется, должен тебе понравиться, а может, ты и так его знаешь. Том Нельсон.

— Ну да, я, естественно, о нем слышал.

— Отлично. В общем, он очень приятный парень, очень скромный. Мне кажется, вы друг другу понравитесь. Можно было бы встретиться как-нибудь всем вместе.

— Спасибо, конечно, Майк, — сказал Пол. — Но я как-нибудь обойдусь без этого знакомства.

— Вот как? Но почему? Тебе не нравятся его работы?

Пол задумчиво подбирал слова, теребя рукой правый ус:

— Думаю, он хороший иллюстратор.

— Да, но он же не только иллюстратор, — подхватил Майкл. — Самое важное у него — картины, и они…

— Да знаю я, знаю. Музейщики от них в восторге, скупают пачками и так далее. Но видишь ли, то, что они покупают под видом картин, на самом деле иллюстрации.

У Майкла перехватило дыхание, как будто ему предстояло вступить в спор о чем-то непостижимом: договариваться о терминах никто не будет,

и он в итоге так ничего и не поймет.

— Потому что они фигуративные — это ты имеешь в виду? — спросил он.

— Нет, — с раздражением ответил Мэйтленд. — Конечно же нет. Когда наконец люди перестанут употреблять это идиотское слово? И об «абстрактном экспрессионизме» пора бы тоже забыть. В конце концов, мы все создаем картины. И если картина хоть чего-то стоит, она самодостаточна, ей не нужен никакой текст. Иначе получается нечто рассудочное, преходящее. Однодневка.

— То есть ты хочешь сказать, что работы Нельсона проверки временем не выдержат?

— Ну, это не мне решать, — сказал Пол Мэйтленд с удовлетворенностью человека, высказавшего свою точку зрения. — Пусть другие решают, когда придет время.

— Ну хорошо, — сказал Майкл, потому что считал, что в заключение этого напряженного разговора нужно сказать нечто примирительное. — Мне кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду.

Но внутри у него что-то оборвалось, как будто его заставили предать друга.

— Ты только не думай, ничего лично против него я не имею, — продолжал Пол. — Уверен, что

он очень приятный человек и все такое. Просто не могу представить, о чем мы будем с ним разговаривать. Понимаешь, мы с ним на противоположных концах спектра.

Довольно долго, как показалось Майклу, они пили молча, и потом Пол спросил:

— А с Биллом вы общаетесь?

— Время от времени. Кстати, он обещал приехать к нам в эти выходные. По-моему, хочет показаться с новой девушкой.

— Это хорошо, — сказал Пол. — Слушай, если он действительно приедет, позвонишь нам? — Но он тут же стукнул себя ладонью по лбу. — Нет, подожди, на этих выходных не получится: Диана с этим своим — как его там? — тоже приедут на эти выходные. Вот незадача! Почему все время приходится выбирать между кем-то?

— Действительно.

Пол стукнул стаканом по столу и знаком попросил еще по одной. Пить три виски подряд на голодный желудок, когда впереди тебя ждет еще полдня тяжелой плотницкой работы, было, наверное, несколько опрометчиво, но, с другой стороны, Мэйтленд вроде бы всегда знал, что делает.

— Билл мне всегда нравился, — сказал он. —

Знаю, что горлопан, наглец и самовлюбленный эгоист, да и вся эта марксистская лажа тоже кого угодно достанет. То немногое, что я у него читал, отлично сошло бы за пародию на линию партии, если бы он не писал все это на полном серьезе. Помню, один из его рассказов начинался примерно так: «Джо Недоеда бросил свой гаечный ключ прямо на конвейер. „Да пошло оно все!“, — сказал он». Но все-таки с ним весело, он забавный и компанейский. В общем, я всегда был ему рад.

У Майкла слегка отлегло от сердца. Если Мэйтленд был способен сначала обругать человека, а потом заявить, что тот ему очень дорог, то, быть может, его собственный прогиб в случае с Томом Нельсоном тоже не был таким уж позорным.

И когда они снова стояли на улице, щурясь на свет и обмениваясь прощальным рукопожатием, Майкл знал, что единственное, на что он сегодня еще способен, — это довезти до дому эту чертову зимнюю резину и завалиться на весь день спать, а Пол Мэйтленд будет тем временем лазить на солнце по лесам, прилаживая друг к другу тяжелые доски, и загонять в них шестипенсовые гвозди — или чем он там занимался, чтобы заработать на жизнь.

— …А это Карен, — сказал Билл Брок, галантно

помогая ей выйти из машины.

Карен была невысокой, смуглой и худощавой и с живущими за городом друзьями Билла Брока вела себя очень застенчиво.

— Знаете, на что похож этот дом? — сказал Билл, остановившись посреди поляны. — Это нечто в духе Скотта Фицджеральда. Слегка обветшалый, конечно, но это только усиливает сходство. Так и вижу, как он подходит в своем халате вон к тому окну с полбутылкой джина — посмотреть, не рассвело ли. Всю ночь работал над очередным рассказом, чтобы дочь смогла еще год проучиться в Вассаре[32]; и теперь — быть может, уже сегодня вечером — сядет писать «Крушение»[33].

— Но в любом случае, — заключил Билл, обводя все поместье широким взмахом, — это куда как круче по сравнению с Ларчмонтом.

Когда они вчетвером разместились в гостиной («Нам отчего-то полюбились все эти закутки и щелочки», — объяснил Майкл), разговором про-

---

[32] Примечания: 32

Вассар — один из старейших в США женских гуманитарных колледжей. Основан в 1861 г., находится в штате Нью-Йорк. Традиционно считался колледжем для девочек из богатых протестантских семейств. Дочь Фицджеральда, Скотти, поступила в Вассар в сентябре 1938 г.

[33] Примечания: 33

«Крушение» — последний роман Ф.Скотта Фицджеральда, изданный посмертно в 1945 г.

должал заправлять Билл.

— Карен все это, наверное, неинтересно, — начал он. — Потому что уже несколько недель она только это и слышит, но я предпринял несколько жизненно важных шагов. Во-первых, я забил на левые идеи. Как писатель, естественно. Взял два своих пролетарских романа и все рассказы, сложил все это в коробку, хорошенько перевязал и задвинул поглубже в кладовку. Не передать, какое я почувствовал облегчение. «Пиши о том, что знаешь» — господи, мне же это всю жизнь говорили, но я всегда считал это какой-то наивностью или думал, что это меня недостойно, — но ведь это же единственно верный совет, да? Может, мне все же удастся спасти кое-какой материал из романа про электриков, но идею придется полностью изменить. Основной проблемой будет, почему прилежный студент и выпускник Амхерста вообще захотел работать профсоюзным администратором, — вот что самое важное. Понимаете, о чем я?

Они все прекрасно понимали, но увлекало это, похоже, только Карен. И вторым жизненно важным шагом, заявление о котором прозвучало с необычной для Билла застенчивостью, стало его обращение к психоанализу.

Он объяснил, что это решение далось ему нелегко: пожалуй, никакой другой поступок в жизни не требовал от него столько мужества, но, что хуже всего, могут пройти годы — годы! — пока терапия, которой он сейчас занимается, начнет оказывать благоприятное воздействие на его жизнь. Но все равно он дошел в своей жизни до точки, когда других возможностей просто не было. Нет, правда: ему кажется, что если бы он не предпринял этого шага, то мог бы сойти с ума.

— Как именно все это происходит, Билл? — спросила Люси. — Ты лежишь на кушетке и пускаешься в свободные ассоциации? Или как?

И Майкл удивился, что ей не скучно было обо всем этом расспрашивать.

— Нет, никакой кушетки — мой врач в кушетки не верит — и никакой техники свободных ассоциаций тоже на самом деле нет, по крайней мере во фрейдистском смысле. Мы сидим на стульях у него в кабинете, друг напротив друга. И разговариваем. По большей части все очень буднично. И вот что еще: думаю, мне страшно повезло, что я нашел именно этого врача. Его ум внушает уважение; думаю, и как человек он бы мне понравился, если бы мы общались вне профессионального контекста, хотя это, конечно, только предполо-

жения. И у нас, судя по всему, много общего: он вроде тоже старый марксист. Но знаешь, такие вещи почти невозможно объяснить тем, кто в это не вовлечен; тут нельзя подвести какой-то итог или что-то — понимаешь?

Потом, как будто осознав, что говорит уже как-то очень долго, он обратился к своему виски и умолк, предоставляя инициативу Майклу. А Майклу было о чем рассказать: он начал с того, что работал все это время как проклятый.

— Так что, думаю, мне удастся закончить новую пьесу к концу года, — сказал он. — И похоже, в ней проступает какой-то коммерческий потенциал…

Прислушиваясь к тону и ритму своей речи — она оживилась, когда речь зашла о пьесе, окрепла, когда вступила тема высоких надежд и скромных ожиданий, и достигла апогея на ноте самоуничижительной насмешливости, — Майкл осознал, что он делает: он пытается произвести впечатление на сидевшую рядом с Броком и внимающую ему застенчивую незнакомку. Он даже не была особенно красивой, но она была тут, совсем новая, а Майкл никогда не мог отказать себе в удовольствии покрасоваться перед новой девушкой.

— Давайте выпьем еще по одной, — сказал

он, — и потом прогуляемся и осмотрим все, что еще не видели, пока солнце не зашло.

И вскоре они уже обходили гигантскую иву — «величественную», по словам Карен; а потом, следуя маршруту, который показала им когда-то Энн Блейк, карабкались вверх по ступеням в окружении поднимающихся уступами цветочных клумб.

— Вон в том дурацком сарайчике наверху я работаю, — говорил Майкл. — Выглядит так себе, но мне нравится уединение… И кстати, о закутках и щелочках, — продолжал он, когда они огибали большое здание общежития. — Есть здесь один закуток, или щелочка, в которой нашел прибежище актер-педик — один из самых знаменитых в Америке. Этот старикан до того не в себе, что полиции однажды пришлось выкинуть его из Уэстпорта, потому что он взял в привычку показывать мальчишкам непристойные фильмы.

— Добрый вечер, — сказал едва видневшийся в тени дверного проема Бен Дуэйн.

На нем были мятый костюм, чистая рубашка и галстук-шнурок, и он как раз поправлял на нем бирюзовую заколку, как будто готовился спуститься вниз к обеду в доме Энн Блейк. Было непонятно, слышал ли он, что говорил Майкл,

но вероятность этого была достаточно велика, чтобы помешать Дэвенпортам остановиться и представить Бену Дуэйну своих друзей.

— Здравствуйте, мистер Дуэйн, — быстро проговорил Майкл, и они удалились еще быстрее, чем пришли. — Бог мой! — воскликнул он, колотя себя рукой по лбу. — Какой же я дурак, какой я круглый дурак! Ничего тупее я не делал с тех пор, как мы сюда переехали.

— Не думаю, что он тебя слышал, — сказала ему жена. — Но твоим звездным моментом это назвать трудно.

И он все еще горел от досады, когда они завершили обход хозяйских владений и вернулись в гостиную, где он упал в кресло, чтобы упокоить свои чувства.

Люси стала энергично накрывать на стол — ужинаем сегодня рано, объяснила она, потому что после этого едем все вместе на вечеринку к Нельсонам.

— К Нельсонам? — переспросил Брок. — Ах да. Тот самый крутой чувак с акварелями. Что ж, замечательно. Должно быть весело. Вечеринка так вечеринка.

Том Нельсон, приветствовавший их у ярко освещенной входной двери своего дома, был облачен

в полевую куртку десантника.

— Где ты взял такую куртку? — спросил Майкл, как только с представлениями было покончено.

— Просто купил у парня. Хорошая, да? Мне она нравится из-за карманов.

И Майкл почувствовал себя уязвленным: куртку танкиста он тоже «купил у одного парня». Какого черта Нельсон все это делает? Пытается в каждом новом городе стать ветераном еще одного рода войск?

Большая гостиная в доме Нельсонов кишела людьми, и расположенная за ней студия тоже. Среди женщин попадались прелестные девушки, как будто некий режиссер решил устроить здесь съемки, а мужчины встречались разные — от юношей до крепких мужичков средних лет, частью бородатых. Было три или четыре негра, по виду джазмены, и потрескивающие на проигрывателе записи Лестера Янга[34] сплетали разрозненные беседы и смех в набегавший волнами приятный разговор. На первый взгляд — как, впрочем, и после более тщательного осмотра — ни одного явно скучающего человека в этой

---

[34] Примечания: 34

Лестер Янг (1909–1959) — тенор-саксофонист и кларнетист, один из самых известных джазовых музыкантов эпохи свинга. Известность получил в оркестре Каунта Бейси; аккомпанировал Билли Холидей.

компании не было.

Знакомьтесь, Арнольд Спенсер, историк искусств, профессор Принстонского университета.

Знакомьтесь, Джоэл Каплан, джазовый критик, пишет для «Ньюсуик» и «Нейшн».

Знакомьтесь, Джек Бернстайн, скульптор, только что открыл выставку в галерее «Даунтаун»[35].

И вот еще познакомьтесь: Марджори Грант, поэтесса, — и она тут же сообщила, что давно «жаждет» познакомиться с Майклом, потому что «без ума» от его книги.

— Что ж, очень приятно, — сказал он ей. — Спасибо.

— У вас поразительное чувство ритма, — сказала Марджори Грант. — Пара стихотворений показались мне в целом не очень удачными, но какие есть строки!

И она продекламировала одну из них, чтобы показать, что помнит ее наизусть. Возраста она

---

[35] Примечания: 35

«Даунтаун» — первая в Гринвич-Виллидж галерея современного искусства, открылась в 1926 г. Галерея принадлежала Эдит Халперт, уроженке Одессы, которая эмигрировала в США и некоторое время была женой художника Сэмюеля Халперта. Считается, что Халперт фактически создала современный рынок искусства, надолго определила стратегию продвижения художников и политику продаж. В ее галерее выставлялись известные художники первой половины XX в. Стюарт Дэвис, Джейкоб Лоуренс, Чарльз Шиллер, Бен Шан. Кроме того, деятельность Халперт породила огромный интерес к народному искусству Америки. Галерея просуществовала до 1969 г.

была примерно одного с Майклом, симпатичная, только несколько старомодная: плотно укутанные в тяжелую шаль плечи и грудь, собранные в тугую и толстую косу светлые волосы, коса короной уложена вокруг головы. Если снять с нее шаль и расплести косу, могла бы получиться красавица. Но рядом, не отступая от нее ни на шаг, вертелся высокий, сильный на вид мужчина по имени Рекс и ждал, снисходительно улыбаясь, когда она закончит разговаривать с Майклом, — было ясно, что Рекс пока что был единственным в мире мужчиной, который знал, как она выглядит без косы и шали.

— Сожалею, — сказал Майкл, — что не знаю ваших стихов, но это только потому, что не слежу как следует…

— Что вы! — перебила его Марджори Грант. — У меня вышла всего одна книга, да и то в крохотном издательстве Веслеанского университета[36].

— Но это же одно из лучших…

— Я знаю, все это говорят, но это совсем не мой случай. Один из рецензентов назвал мою книгу

---

[36] Примечания: 36

Издательство Веслеанского университета в Коннектикуте получило известность благодаря своей поэтической серии. Издательство — рекордсмен по количеству собранных его книгами престижных литературных премий. В 1960-е гг. редактором-консультантом поэтической серии был Т. С. Элиот.

«щенячьей», и, когда я немного успокоилась и перестала рыдать, я даже поняла, что он имел в виду. На самом деле сейчас я пишу гораздо лучше, так что, надеюсь, вы…

— Ну конечно! — сказал Майкл. — И первую вашу книгу я тоже посмотрю — не важно, нравится она вам или нет.

— Марджори! — позвал Рекс. — Не хочешь пойти в студию посмотреть новые работы Тома?

Когда они ушли, Майкла охватила пьянящая радость от ее похвалы — строчка, которую она процитировала, никогда не казалась ему особенно хорошей; жаль только, он не придумал, как спросить, что за стихотворения показались ей не вполне удачными.

Еще пара стаканов, и он решил, наблюдая, как Том Нельсон обхаживает своих гостей, что ничего такого в этой десантной куртке нет. Большинство присутствующих, конечно же, знают, что никаким десантником Нельсон не был; а даже если и не знают, то что с того? С окончания войны прошло уже одиннадцать или двенадцать лет; в общем-то, можно уже не возражать, когда люди носят, что им нравится. Думать по-другому, в сущности, тупо и даже «кондово». А может, все куда проще и Нельсону эта куртка действительно

нравится из-за карманов. И в чем тогда вообще проблема?

— Знаешь что? — спросила Люси примерно через час, когда снова оказалась рядом. Глаза у нее лучились неземным светом. — Я никогда еще в жизни не видела в одном месте столько людей с умными лицами.

— Да уж.

— Впрочем, — уточнила она, — вон те двое у стены — явное исключение. Совершенно дикие люди — даже не представить, где Нельсоны их только откопали и зачем; я, правда, рада, что до них теперь добрался Билл Брок, — они друг друга стоят.

Он был крепкий молодой человек, темноволосый, и, когда он говорил, волосы то и дело падали ему почти на глаза; а она — простая девушка в дешевом платье с мокрыми подмышками, в котором ей было, очевидно, неудобно. Лица у обоих были настолько серьезные, настолько лишенные юмора, они отдавали столько усилий, чтобы любой ценой объяснить в разговоре свою позицию, что этому собранию, казалось, явно не принадлежали.

— Их фамилия Деймон, — сказала Люси. — Он работает на линотипе в Плезантвилле и говорит,

что пишет «работу по социальной истории»; а она пишет, как сама говорит, какую-то халтуру, чтобы прокормить семью. Они, как мне показалось, коммунисты или что-то вроде того, и, может, они даже славные люди, только дикие. — И она отвернулась, чтобы больше их не видеть. — Пойдем в студию?

— Не сейчас, — ответил ей Майкл. — Но скоро подойду.

— …сложил в коробку, — слышался громкий голос Билла. Он вещал перед Деймонами, и стоявшая рядом Карен прильнула к его руке словно бы в поисках защиты. — Сложил в коробку и перевязал веревочкой. Шесть с половиной лет работы. Так что сами видите: готов согласиться со всем, что вы говорите, Эл, и с тем, что вы в принципе можете сказать, но только если это касается политики. Романисту этот материал просто не дается. И раньше не давался, и в будущем вряд ли что изменится.

— Что ж, — сказал Эл Деймон и нервно всей пятерней откинул волосы со лба. — Не буду обвинять вас в продажности, дружище, но, сдается мне, вы служите не тем богам. Сдается мне, вы все еще цепляетесь за «потерянное поколение» тридцатилетней давности, только вот беда: у нас

с ними давно нет ничего общего. Мы — *второе* потерянное поколение.

Майкл Дэвенпорт подумал, что большего идиотизма, чем взрослый мужик, провозглашающий себя вторым потерянным поколением, он еще не видел, поэтому он подошел поближе к Биллу, чтобы лично познакомиться с Деймонами.

— Я так понимаю, вы работаете на линотипе — верно, Эл? — осведомился он. — В Плезантвилле?

— Ну да, этим я зарабатываю себе на жизнь, — сказал Эл Деймон.

— Разумно, — уверил его Майкл. — Осваиваешь профессию, получаешь зарплату по профсоюзным ставкам плюс все дополнительные льготы; наверное, это куда разумнее, чем то, чем мы с Биллом занимаемся.

И Билл Брок согласился, что так оно, наверное, и есть.

— А вы в неплохой форме, Эл, — продолжал Майкл. — Занимаетесь спортом?

— Езжу на работу на велосипеде, — ответил Эл. — Ну и балуюсь иногда с гантелями.

— Дело хорошее.

Миссис Деймон, которую звали Ширли, стала выказывать некоторые признаки беспокойства.

— Слушай, Эл, — сказал Майкл, — давай вот что

попробуем, чисто для смеха. Ударь меня со всей силы. Вот сюда.

И он указал на верхнюю часть живота.

— Шутишь?

— Да ни в чем, я серьезно. Ударь со всей силы.

И Майкл напрягся и зафиксировал мышцы грудного пресса — этому приему в боксе обучали даже новичков.

Глуповатая, непонимающая улыбка исчезла с лица Деймона. Глаза его злобно сузились, он собрался перед ударом и со всей силы двинул правым кулаком в указанное место.

У Майкла даже не перехватило дыхания, и отступил он всего на два шага, однако удар оказался больнее, чем он думал. Он не играл в эту игру с самого колледжа.

— Неплохо, Эл, — сказал Майкл. — Теперь моя очередь. Готов?

И Майкл переступил, чтобы встать поудобнее.

Расстояние его кулак проделал небольшое, но удар был быстрым и попал куда надо: Эл Деймон повалился без сознания на ковер.

Ширли Деймон завопила и упала рядом, а возникшая неизвестно откуда Люси подбежала к Майклу и начала трясти его за руку, как будто поймала его на том, что он застрелил человека.

— Зачем ты это сделал? — теребила она его.

По комнате прошел негромкий, но единодушный женский вскрик и отчетливое мужское бормотание: «Пьяный… пьяный». Сначала Майкл подумал, что они, наверное, считают Деймона пьяным, поскольку он упал, но потом, пока Люси продолжала трясти и отчитывать его, он понял, что обвинение в пьянстве предназначалось ему.

На другом конце комнаты слышался высокий дрожащий голос Марджори Грант, сообщавший: «Боже, не выношу насилия, не выношу насилия ни в какой форме».

— Слушай, это же игра, — объяснял Майкл для Люси и для всех, кто готов был слушать. — Называется «обмен ударами». Все честно; сначала он меня бил. Господи, да я же не думал…

Том Нельсон выглянул с улыбкой из дверей своей студии и спросил, щурясь из-под очков:

— А в чем дело?

Через несколько секунд Эл Деймон пришел в себя; он перекатился на бок и, схватившись за живот, подтянул к себе колени.

— Надо его на воздух, — распорядился кто-то, но Деймону было достаточно воздуху, чтобы подняться кое-как на ноги с помощью жены — где-то на счет семь.

Ширли Деймон чуть задержалась, чтобы наградить Майкла ненавидящим взглядом, а затем бережно направила мужа к выходу, и кто-то уже успел принести им пальто, но едва они подошли к двери, как Эл Деймон остановился и согнулся пополам; его рвало прямо на пол.

— А если бы его вырвало, пока он еще был без сознания, все это могло бы пойти в легкие и он бы захлебнулся, — говорила Люси. — И что тогда? Как бы ты тогда отшутился?

Она села за руль, как поступала всегда, когда хотела доказать, что Майкл слишком пьян, чтобы вести машину, — а он, сидя на пассажирском сиденье, всегда чувствовал себя униженным и даже ущемленным в мужском достоинстве.

— Не делай из мухи слона, — сказал он. — Я обменялся ударами с этим парнем, и все; не было в этом никакой трагедии, не было никакого избиения невинных. И большинство в итоге сообразили, что это шутка. Том Нельсон-то уж точно — он сказал, что хочет, чтобы я его тоже научил. И Пэт тоже сказала, что ничего страшного. Она даже поцеловала меня в дверях и сказала, чтобы я не переживал. Ты же сама слышала.

— Я лично был в восторге, — сказал Билл Брок, сидевший сзади в обнимку с Карен. — Этот па-

рень полный говнюк. И жена у него дура.

— Да, точно, — подтвердила сонным голосом Карен. — Какие-то они оба совсем неприятные.

— Что ж, девица у него никакая, — сказала Люси в воскресенье вечером, когда Билл и Карен уехали. — Впрочем, довольно симпатичная. И Биллу она, конечно, подходит куда больше, чем Диана Мэйтленд.

— Да уж, — сказал Майкл и приободрился, потому что с тех пор, как они вернулись с пятничной вечеринки у Нельсонов, она еще ни разу не разговаривала с ним нормальным тоном. Если повезет, они теперь снова будут в хороших отношениях.

Что стало с Карен, они так и не узнали, потому что уже через несколько недель Билл объявился с новой девушкой. Эту звали Дженнифер; широкоплечая блондинка, она то и дело смущенно улыбалась.

Билл сказал, что они заглянули по дороге. Они едут дальше, в Питсфилд, к родителям Дженнифер, которые выразили желание посмотреть на него.

— Понимаете, мы с Биллом встречаемся всего-то три недели, — сообщила девушка, — но я совершила страшную ошибку, и родители об этом узнали. На самом деле как-то утром зазвонил

телефон, когда я была в душе, я попросила Билла снять трубку, а это была мама. А суть в том, что они с папой страшно обо мне беспокоятся с тех пор, как я переехала в Нью-Йорк, — знаю, все это должно казаться нелепым, мне ведь уже почти двадцать три, но они люди старой закалки. Все еще живут в прошлом веке.

— Да ладно, нечего переживать, — сказал Билл, бряцая ключами от машины. — Я их так очарую — до изнеможения!

Возможно, так он и сделал, но о дальнейшей судьбе Дженнифер они тоже ничего не узнали, как не узнали и о том, что стало с Джоан, Викторией и прочими девушками, которых он еще несколько лет исправно представлял на их суд; оставалось только признать, что у Билла, как он когда-то им объяснил, с кратковременными отношениями все в порядке.

В одну из пятниц, через месяц после инцидента с Элом Деймоном, Дэвенпортам было совершенно нечего делать, и они устроились с журналами в разных концах гостиной. Обоих грызло беспокойство, но заговорить об этом никто не решался: они боялись, что сегодня вечером у Нельсонов будет очередная вечеринка и что их решили не приглашать.

Но тут в тот же самый день позвонил Пол Мэйтленд — сказать, что Диана снова приезжает на выходные со своим молодым человеком и что она будет счастлива видеть их обоих. Так что не пожалуют ли они в Хармон-Фолз часам примерно к пяти?

Пока они ехали — а ехать было совсем недолго, — Майкл пытался собраться с духом перед новой встречей с Дианой. Быть может, она поглупела, прожив столько времени с этим актеришкой, с этим прощелыгой и говнюком, — девушкам ведь свойственно меняться; но с другой стороны — с чего бы ей так измениться? Но стоило ему увидеть, как она стоит перед домом в компании брата, его жены и рослого молодого человека и приветствует с улыбкой подъезжающую машину, он понял, что не изменилось ничего. Белый свет клином сошелся на этой девушке, одновременно изящной и неуклюжей, девушке настолько исключительной и совершенной, что надо было быть полным идиотом, чтобы захотеть после этого какую-то другую.

Последовали поцелуи и рукопожатия — Ральф Морин, судя по всему, решил доказать Майклу, что при желании может переломать ему суставы, — после чего все собрание переместилось в

просторный каменный дом, возведенный для Уолтера Фолсома, инженера на пенсии и отчима Пегги. В центральной комнате этого дома, где мистер Фолсом с женой сидели в ожидании молодых гостей, имелось огромное окно, выходящее на заросший кустами овраг, который сотней ярдов ниже превращался в яркую и быструю речку.

— Всю свою жизнь, — говорил мистер Фолсом своим гостям, — я мечтал, чтобы у меня дома был в стене кран, из которого лился бы виски; и вот наконец мечта осуществилась.

Расположившись на одном из диванов, обрамляющих большое окно, Ральф Морин толковал мистеру Фолсому о «поразительном чувстве умиротворенности», которое всегда охватывает его в этом месте. В подтверждение своих слов он закинул руку на спинку дивана:

— Если бы мне довелось жить в таком доме, я бы все свое время проводил тут, под этим окном. Я бы читал. Прочел бы все книги, которые всю жизнь хотел прочитать, а потом какие-нибудь еще.

— Да, — сказала хозяйка, по выражению лица которой было понятно, что она не прочь бы поговорить с кем-нибудь другим, — это отличное место для чтения.

Майкл решил, что, даже если не знать, что

Ральф Морин получил актерское образование, об этом можно догадаться по его движениям и жестам: по тому, как он держал голову, чтобы он всегда была на свету, по будто бы нечаянно возникшему заднику в виде руки, закинутой на спинку дивана, по хорошо продуманному положению пальцев другой руки, сжимавшей стакан, и даже по тому, как аккуратно стояли на полу его красивые начищенные ботинки. Он вел себя так, как будто его постоянно снимали на пленку.

На пенсии Уолтер Фолсом и его жена возобновили занятия живописью, и оба радовались от чистого сердца тому, какого мужа нашла себе юная Пегги. Весь вечер, стоило им заметить, что Пол их не слышит, они с нескрываемым энтузиазмом принимались рассказывать Дэвенпортам, как высоко ставят его работы, и в какой-то момент мистер Фолсом повторил слова строителя с Деланси-стрит: «Этот парень — настоящий». Похоже, поклонники у Пола Мэйтленда находились везде, где бы он ни оказался.

Майкл бóльшую часть времени думал о том, как остаться с Дианой наедине — где-нибудь в уголке или в другой части комнаты, вдали от общего разговора. Он даже не знал, что собирается ей сказать, — ему просто хотелось, чтобы

она оказалась рядом, совсем одна, а он остроумно отвечал бы на все, что она скажет.

Но улучил он такой момент лишь однажды, когда все уходили от Фолсонов ужинать в дом к Мэйтлендам, — Диана поравнялась с ним и сказала:

— Отличные стихи, Майкл. Замечательная получилась книга.

— Правда? То есть ты ее читала? И она тебе понравилась?

— Ну конечно читала, и конечно понравилась. Зачем бы я иначе тебе это говорила? — И после короткой, опасной паузы добавила: — Особенно мне понравилось последнее стихотворение, длинное, «Если начистоту». Замечательное.

— Что ж, — сказал он, — спасибо тебе. — Но так и не решился назвать ее по имени.

Пол и Пегги занимали небольшой, обшитый грубой доской коттедж, выстроенный задолго до того, как это поместье приобрел Уолтер Фолсом, и гостиная в этом доме обнаруживала все признаки бедной, но честной молодости. У входной двери, около ящика с плотницкими инструментами, стояли измазанные глиной рабочие ботинки Пола; несколько картонных коробок с книгами так и оставались нераспакованными, а неподалеку

от них виднелась гладильная доска, за которой тут же представлялась Пегги, склонившаяся с утюгом над джинсовыми вещами своего мужа. Потом все кое-как расселись, и каждый получил из ее рук миску тушеной говядины — как если бы они сидели внутри брезентового укрытия в их старой квартире на Деланси-стрит.

— Очень вкусно, Пег, — сказала Диана.

В ответ на похвалу кулинарным талантам дочери миссис Фолсом просияла от удовольствия — ее красивое лицо, похоже, не отличалось способностью скрывать чувства. Потом она сказала:

— Пол, может быть, чуть попозже мы посмотрим, чем ты там занимаешься в той комнате?

— Если можно, Хелен, я сейчас не буду ничего показывать, — ответил Пол. — Я только что набросал вчерне несколько работ, но все это еще очень приблизительно. Думаю, смогу показать что-нибудь новое, только когда мы вернемся с Кейпа[37]. Но в любом случае спасибо.

Майкл навсегда запомнил, что рецензент гарвардской газеты «Кримзон» разделался с актерской работой Люси в его первой пьесе именно посредством слова «приблизительная»; теперь

---

[37] Примечания: 37

Пол имеет в виду Кейп-Код, или Тресковый мыс, — полуостров на востоке штата Массачусетс, в летнее время популярное место отдыха.

он спрашивал себя, получилось бы у него отличить «приблизительные» наброски Пола от его завершенных работ, и радовался, что избавлен от необходимости решать эту задачу.

Чуть позже он услышал, как Люси говорила: «Но почему, Пол?» — а потом увидел, как Пол Мэйтленд, не прекращая жевать, покачал головой в знак вежливого, но твердого отказа, всем своим видом показывая, что считает объяснения неуместными. Он сразу же понял, что вряд ли Люси просила его показать картины, — речь шла о чем-то другом.

— Ладно, хотя я все равно не понимаю, — настаивала она. — Нельсоны прекрасные люди, наши хорошие приятели; я уверена, что они тебе понравятся. Допустим, у вас с Томом имеются профессиональные разногласия, но разве это повод, чтобы отказываться от общения?

В этом месте к Люси склонился Ральф Морин и, взяв ее за руку, сказал:

— Дорогуша, я бы не стал так настаивать; есть вещи, о которых может судить только художник.

И Майкл готов был придушить его за то, что тот назвал Люси «дорогушей», как, впрочем, и за всю его бессмысленную реплику.

— ...В мертвый сезон Кейп — удивительное

место, — говорила Пегги Мэйтленд. — Уныло, ветрено — и удивительно тонкие цвета. И еще этот балаганчик — они проводят зимы рядом с тем местом, где мы в прошлом году останавливались. Поразительные люди. Цыгане. Очень дружелюбные, но очень гордые.

Майкл никогда не слышал от нее таких длинных речей: обычно она давала на все вопросы односложные ответы, а все остальное время с обожанием смотрела на мужа. Теперь она подходила к сути своей истории:

— …И вот я спрашиваю одного из этих людей, что у него за номер — что он делает во время представления. И он говорит: «Я шпагоглотатель». Я спрашиваю: «А это не больно?» А он в ответ: «Так я тебе и сказал!»

— Гениально! — воскликнул Ральф Морин, рассмеявшись. — В этом вся суть фокусника.

Вечером, когда они возвращались в Тонапак, Люси спросила:

— Ну и как тебе этот Морин?

— Ничего особенного, — сказал Майкл. — Много из себя строит, какой-то неловкий, скучный — идиот, наверное.

— Ну, ты бы в любом случае так решил.

— Почему?

— А ты как думаешь почему? Потому что ты всегда был безнадежно влюблен в Диану. И сегодня у тебя это на лице было написано. Ничего не изменилось.

И поскольку у него не хватило духу это отрицать — да и не было на то особого желания, — всю оставшуюся дорогу они ехали молча.

Помимо Гарольда Смита и еще нескольких служащих, проезд которым оплачивала железная дорога, мало кто совершат ежедневные путешествия из Тонапака в Нью-Йорк: поездка занимала час пятьдесят минут. Каждые полмесяца, когда Майклу приходилось отправляться в город, он еще на платформе по-соседски здоровался с Гарольдом; в поезде он устраивался с газетой в сторонке, а Гарольд усаживался вместе с другими железнодорожниками на двух обращенных друг к другу скамьях по другую сторону прохода: всю дорогу до города они играли в карты. Но как-то раз Гарольд, забавно стесняясь, сел рядом с Майклом.

— Мы с женой как раз вчера вечером обсуждали, — начал он, — как мы рады, что вы поселились в гостевом домике. Энн Блейк, конечно, милая женщина, но мы опасались, что она сдаст его каким-нибудь голубым. Я имею в виду, что,

когда там живет обычная семья, нам куда как спокойнее. И наша Анита души не чает в вашей девчонке.

Майкл тут же сказал ему, что Лауре Анита тоже очень нравится, и добавил, что, поскольку у Лауры нет ни сестер, ни братьев, это вообще замечательно.

— Что ж, хорошо, — сказал Гарольд Смит. — Значит, ей всегда будет с кем поиграть, верно? Нашим старшим девочкам тоже всего девять и десять — набирается целая компания. Нашему мальчику шесть. Но он… инвалид. — Еще через некоторое время он спросил: — Что же ты делаешь в свободное время, Майк? Может, тебе нравится боулинг? Или играешь в карты?

— В основном, Гарольд, я работаю. Я как раз пытаюсь закончить пьесу — еще есть пара стихов.

— Ну да, я в курсе. Энн нам об этом рассказывала. И ты приспособил для работы старый сарай с насосом, верно? Но я имею в виду, что ты делаешь, когда хочется отдохнуть?

— Мы с женой много читаем, — сказал Майкл. — Или едем к друзьям — в Хармон-Фолз или еще дальше, в Кингсли.

И только когда он услышал, что говорит: «к друзьям», «еще дальше, в Кингсли», он понял, что

совершил бестактность.

Гарольд Смит наклонился, чтобы почесать ногу там, куда его очень короткий носок уже не доходил, и через оттопыривающийся пиджак можно было заметить, что он и вправду носит в кармане рубашки пять или шесть шариковых ручек. Майкл испугался, что, усевшись обратно, Гарольд уткнется в газету и весь остаток пути будет обиженно молчать.

Нужно было что-то сказать. Можно начать так: «Гарольд, боюсь, что боулинг меня не сильно занимает, а в покер я играть так и не научился, но я люблю смотреть бокс — ты как? Дамам это, конечно, вряд ли понравится, но мы с тобой могли бы отправиться в какой-нибудь бар на твой выбор — выберем вечер, когда будет интересный бой, и пойдем».

Нет, не то. Ведь Гарольд Смит может сказать: «Да ну, я за боксом не слежу» или «Да ну, я в бары не хожу», или, хуже того, он может сказать: «Вот это да! Никогда бы не подумал, что ты интересуешься боксом», и закончится все это еще одной коварной вылазкой в пыльные переулки прошлого, экскурсом в Бланчард-Филд, а то и вовсе приведет к запретному для упоминания турниру «Голден главз».

Наконец — и, похоже, как раз вовремя — Майкл открыл рот, сам не зная, что собирается сказать.

— Гарольд, — начал он, — почему бы вам с Нэнси не прийти к нам поужинать? Как-нибудь на днях, вечером? А если к ужину вам не выбраться, приходите чуть попозже — просто выпьем вместе и поближе познакомимся. Я так думаю, что раз уж мы соседи, то почему бы нам не стать и друзьями?

— Было бы здорово, Майк. Спасибо.

И на какую-то секунду простое и довольное лицо Гарольда Смита, едва порозовевшее от смущения, казалось, выдало в нем того прирожденного комика, о котором им когда-то рассказывала Энн Блейк.

Вот и все, проще некуда! Они оба зашуршали газетами и к обоюдному удовольствию отгородились друг от друга на всю оставшуюся дорогу, хотя Майкл никак не мог свыкнуться с тем фактом, что порой — пусть и довольно редко — общение не требует таких уж нечеловеческих усилий.

В назначенный вечер Смиты, вооружившись ярким фонарем, пробрались через поляну к гостевому домику.

Гарольд оделся по-деревенски: плотная охотничья рубаха в черно-красную клетку навыпуск,

с поднятым воротником; Нэнси в голубом свитере и сильно потертых джинсах смотрелась вполне нарядно. Дэвенпорты явно ошиблись, нарядившись для приема таких гостей: Майкл был в костюме и при галстуке, а то, что надела Люси, можно было без особых натяжек назвать коктейльным платьем. Но Майкл был почти уверен, что стоит только разговориться и как следует выпить, и вопрос одежды утратит всякую значимость.

Ну конечно, работать на железной дороге один сплошной геморрой, признался Гарольд Смит, откинувшись на спинку кресла (в руках он держал джин с тоником). Ему с самого начала там не понравилось, еще когда его только взяли курьером, да и сейчас, честно сказать, не лучше.

— Отец мне сказал: «Устроился бы ты на работу, сынок» — я и устроился. Вот и вся моя карьера в двух словах. — И он отхлебнул — пережидая, пока смешки разойдутся по комнате. — И все же, — продолжал он, — с самого начала там был очевидный и, главное, неожиданный плюс. В первое же лето на работе я зачем-то забрел в отдел кадров и углядел там одну телочку. — Он подмигнул жене. — Она, как и все, сидела за пишущей машинкой, но ничего не печатала — она

развалилась, убрав руки за голову, и зевала, всем своим видом показывая, что в гробу она видала всю эту контору. И я тогда подумал: есть девушка, с которой у меня, может, и получится поговорить. Потому что я тогда был очень застенчивый. Хитрый, нахальный, отслужил во флоте и все такое, но девушек все равно стеснялся.

— Значит, у вас был служебный роман, — сказала Люси Дэвенпорт. — Очаровательная история!

И Майкл вдруг испугался, что слово «очаровательная» может показаться излишне покровительственным.

— Ну, ясное дело, не все сразу, — сказал Гарольд. — Я тогда взялся ходить в отдел кадров по три-четыре раза на дню — по делу и без дела: иногда просто приносил им пригоршню скрепок, но заговорить с ней я решился только недели через три.

— Скорее уж через шесть, — сказала Нэнси Смит, и Дэвенпорты снова рассмеялись. — И все это время я недоумевала: чего ради этот милый мальчик сюда ходит и почему он никогда ничего мне не скажет?

— Так, погоди, хитрая морда, — приказал Гарольд, строго пригрозив ей пальцем. — Кто рассказывает эту чудную историю — ты или я? — И,

убедившись, что ему снова предоставили слово, он вернулся к собственной версии событий. — Ну так вот, в те времена на обед отводилось всего полчаса: надо было выбежать на угол в автомат, скормить этому автомату свои медяки, съесть по-быстрому сэндвич и какой-нибудь мерзкий пирожок — и бегом обратно. То есть было сразу понятно, что без толку приглашать ее обедать, — ясно, да? Поэтому я придумал такую вещь. Я сказал: «Смотри, какая погода. Может, пойдем прогуляемся?» И мы прогулялись: прошли не торопясь по Парк-авеню от Сорок шестой до Пятьдесят девятой улицы и все разговаривали. Пару раз она, правда, сказала: «Гарольд, нас же уволят!» — но я ей отвечал: «На что спорим?» — и ей оставалось только смеяться. Ну, потому что при наших тогдашних смехотворных должностях мы оба понимали, что компании будет дороже нас уволить, чем держать дальше, — а кроме того, что мы, собственно, сделали? Всего-то полдня прогуляли, — может, никто даже и не заметил. В общем, в конце концов мы в тот день пообедали, часа в четыре, в столовой в Центральном парке — в той, которая рядом с зоопарком: хотя вряд ли мы тогда много съели — больше держались за руки, лизались и говорили всякие глупости; что

видели в кино, то, наверное, и говорили.

— Мне кажется, это так прекрасно! — сказала Люси.

— Оно, конечно, прекрасно, но потом нам пришлось еще помучиться, — сказал Гарольд. — Потому что у меня семья католическая, а у Люси все лютеране, и это совсем не сочетается. И к тому же ее родители считали, что ей нужен жених посолидней, — это все тоже пришлось разгребать. Больше года ушло на то, чтобы всех уговорить, но в итоге они согласились.

В какой-то момент Майкл испугался, что теперь Смиты захотят услышать историю любви Дэвенпортов и придется неуклюже избегать таких слов, как «колледж» — не говоря уже о «Гарварде» и «Рэдклифе», — но Гарольд, похоже, считал, что такого рода расспросы могут и подождать. Он допивал второй бокал и уже свыкся с тем, что владеет разговором; теперь он вернулся к тому, что, очевидно, и хотел рассказать с самого начала, — к собственным амбициям.

«Нью-Йорк сентрал» — компания, конечно, старая и вообще не бог весть что, говорил он, но и ей нужно отдать должное. Взять хотя бы бесплатный проезд; чем не образец просвещенного

менеджмента[38] в действии? Как иначе они с Нэнси смогли бы растить детей в таком месте, пока они еще маленькие и им все это действительно нужно? Да и вообще, черт возьми, он должен признать, что ему нравятся люди, с которыми он работает в отделе обработки данных. Коллектив давно сложился, все друг друга понимают. И потом, у них есть еще гандбольная команда, играют по вечерам каждую пятницу; он это дело полюбил. К тому же помогает поддерживать форму.

Но что самое главное, говорил он, откинувшись на спинку кресла уже с новым стаканом в руках, самое многообещающее, так это то, что «Нью-Йорк сентрал» теперь предлагает руководству отдела обработки информации бесплатную образовательную программу по менеджменту. Он-то сам еще года два не сможет в ней участвовать, но хоть есть к чему стремиться. Часть обучения проходит «на базе компании», объяснял он, но основной курс ведут профессора менеджмента из ведущих столичных университетов…

Все трое, только что с блеском и живостью в глазах слушавшие, как Гарольд приглашал Нэнси на прогулку, теперь пережидали его речь со

---

[38] Примечания: 38
Термин введен американским психологом Абрахамом Маслоу.

стоическим терпением. Нэнси сделала вид, что не слушает, потому что уже и так не раз все это слышала; Люси при каждой паузе умудрялась награждать оратора беззвучным кивком, чтобы показать, что она следит за ходом его рассказа; Майкл сидел, уставившись в стакан, будто надеясь, что алкоголь в разумных количествах может стать профилактической мерой против смерти от скуки.

Наконец Гарольд сел прямо, из чего можно было заключить, что речь его почти окончена.

— Понимаете, — сказал он, — в будущем для транспортной отрасли не будет иметь значения, на чем человек прибыл — на поезде или на самолете. Пассажир станет частью надежного процесса управления — процесса принятия решений в самой транспортной отрасли.

— Что ж, это, конечно же, очень… интересно, — сказала Люси.

— Совершенно верно, — ответил он. — Это интересно. Но твое дело, Майк, меня тоже очень интересует.

— Мое дело?

— «Мир торговых сетей». Потому что, черт побери, мы все твердим о переменах. Но каких-нибудь пару лет назад каждый ходил в бакалейную ла-

вочку или аптеку по соседству, а рыбу покупал у паренька на углу. А теперь что мы видим? Революционные изменения затронули само понятие розничной торговли, так ведь? Взять хотя бы твой журнал — он в эпицентре этих событий; мне кажется, что каждый раз, когда ты заходишь к себе в офис, ты попадаешь в мир новых возможностей.

— Ну уж нет, Гарольд, — сказал Майкл. — Иначе как на способ заработать я на это не смотрю. Я работаю, чтобы иметь возможность заниматься своим делом.

— Конечно, это мне понятно, но ты же все равно работаешь для этого журнала, верно? Что ты для них пишешь? О чем была твоя последняя статья? Мне действительно очень интересно.

Майкл стиснул зубы до боли. Скоро все это закончится.

— Дай подумать, — сказал он. — Я написал серию статей про какого-то архитектора из Делавэра по фамилии Клапп. Он построил что-то типа супермаркета в каком-то местном городке, здание, по его мнению, дико крутое, и ему хочется строить похожие вещи в других городах, но он говорит, что осуществлению его планов все время мешает политика.

— Ты с ним встречался?

— Говорил пару раз по телефону. Мудак какой-то. Собственно, редактор заказал мне эти статьи только потому, что планируется специальный выпуск по городской модернизации. Или что-то в этом роде. Чушь собачья.

— Ну хорошо, — сказал Гарольд Смит. — Смотри. Допустим, твои статьи реально продвинули этого мужика. А теперь представь, что о нем узнаёт журнал «Лайф» и они решают посвятить ему целый разворот с фотографиями; этот чувак богатеет, потому что будет строить эти свои здания в куче других городов. И допустим, он так тебе благодарен, что говорит: «Майк, хочу взять тебя личным пиарщиком». Понятно, что как он был мудак, так и остался, с этим я не спорю. Но слушай… — тут Гарольд подмигнул, и лицо его перекосилось так же, как когда он в первый раз заговорил с Нэнси в отделе кадров, — ведь писать стихи и пьесы на пятьдесят тысяч в год, наверное, немножко приятнее?

Когда Смиты ушли наконец домой вслед за лучом своего яркого фонаря, Люси сказала:

— Ну вот, теперь все формальности соблюдены. Надеюсь, нам не придется к этому возвращаться хотя бы какое-то время. — Потом она добавила: — Забавно, правда? Было видно, что он действи-

тельно мог бы стать отличным комиком: он умеет смешить. Но бог мой, когда ему не хочется смешить, он кого хочешь усыпит.

— Ну, когда вкалываешь год за годом в офисе, другого ждать не приходится. Пока человек не уверовал в Менеджмент, его еще можно спасти. Потом уже ничего не сделать. В журнале тоже куча таких людей. Иногда даже страшно становится.

Она собрала пустые стаканы и теперь несла их на кухню.

— Почему страшно? — спросила она.

А он, слегка усталый и немного пьяный, был как раз в том состоянии, когда хочется поговорить о своих страхах и даже немного их преувеличить.

— Ну потому что хрен знает, а вдруг эта пьеса никакого такого успеха не принесет? И следующая тоже?

Она стояла у раковины и мыла бокалы и тарелку из-под крекеров с сыром.

— Во-первых, — сказала она, — сам знаешь, что это маловероятно. А во-вторых, у тебя скоро будет два, если не три отличных поэтических сборника, и любой университет примет их автора с распростертыми объятиями.

— Ну да, круто. Только знаешь что? Отделения

английской филологии по всей Америке забиты до отказа точно такими же Гарольдами Смитами. Может, в Менеджмент они и не верят, но от того, во что они верят, у меня глаза превращаются в сухие сморщенные сливы. Могу гарантировать, что, если я когда-нибудь стану университетским преподавателем, двух лет не пройдет, как ты сдохнешь со мной от скуки.

На это она ничего не ответила, и он был близок к тому, чтобы почувствовать стыд за воцарившееся в кухне молчание. Он знал, о чем она промолчала; и потом, ее деньги никуда не делись. И теперь он был в ужасе, что досадные последствия этого безрадостного вечера едва не довели его до того, чтобы вынудить ее снова произнести эти слова.

Он встал рядом с ней и провел рукой по ее ровной и жесткой спине.

— Это ничего, милая, — сказал он. — Пойдем уже наверх.

Пьесу он к концу года так и не закончил. Все последние зимние месяцы он работал день и ночь в сарае с насосом; и его руки, лицо и одежда покрывались тонким слоем сажи от керосиновой печки. В марте или апреле, когда печку уже не топили и можно было открывать окна, он сделал удачные, как ему показалось, правки,

оживившие второй и третий акты, но первый так и лежал на бумаге вяло и неподвижно. Это была какая-то вымученная писанина, отдававшая сочинительством, которую — он готов был поклясться — он давно перерос, и тем не менее она упорно не поддавалась улучшению. Если профессионал отличался тем, что сложные вещи выходили у него простыми, то автор этой пьесы, похоже, изо всех сил тянулся к противоположному: каждый новый прием, который он пытался использовать в этом несчастном первом акте, приводил к тому, что простые вещи начинали казаться сложными.

Наступила уже середина июля, и его утешало только понимание того, что он может сосредоточиться и в буквальном смысле забыть обо всем остальном на многие часы. Он не ощущал жары, его не тяготила строгость заключения; он не чувствовал, что держит в руке карандаш или что в глаза попадает пот, который то и дело приходится вытирать; порой он выбирался из своего сарая в сумерки, думая, что сейчас только полдень.

И вот как-то после обеда, в самую жару, он был настолько погружен в работу, что почти не обратил внимания на тяжелый удар, обрушившийся снаружи на дверь сарая, — там как будто упал

человек. Прошло, должно быть, еще полчаса, и только тогда он заметил, что сарай стал наполняться каким-то невыносимо мерзким запахом. Что за чертовщина? Дверь пришлось долго толкать, потому что, как оказалось, снаружи к ней был привален влажный брезентовый мешок килограммов на пятьдесят, и, когда он свалился набок, оттуда вывалилось множество мягких штуковин, похожих на совки, но понять, что это такое, было поначалу невозможно, потому что на них кишмя кишели синие мясные мухи. Потом он увидел — это были гнилые рыбьи головы.

— Ой! — послышалось откуда-то ярдов за пятьдесят, и к сараю уже спешил в своих убогих шортах цвета хаки Бен Дуэйн. Он двигался как-то враскорячку, но для пожилого человека довольно проворно, и на лице его сияла очаровательная улыбка. — Я не знал, что там кто-то есть, — сказал он. — Я бы оставил этот мешок где-нибудь в другом месте.

— Видите ли, мистер Дуэйн, я здесь работаю, — сказал Майкл. — Вот уже несколько лет. Ежедневно.

— Неужели? Забавно, что я этого не замечал. Давайте я уберу все это, чтобы вам пройти.

Он присел на корточки и стал обеими руками

сгребать рассыпавшиеся рыбьи головы, мух и все остальное обратно в мешок.

— Это головы скумбрии, — объяснил он. — В таком виде пахнут, конечно, не очень, зато удобрение из них получается отличное. — Он выпрямился, все с той же улыбкой взвалил мешок на голое плечо и сказал: — Что ж, прошу прощения за причиненные неудобства, дружище.

И ушел в сторону цветочных клумб.

Можно было и не надеяться на то, что сегодня получится еще что-то сделать. Рыбьих голов больше не было, но запах держался так стойко, как будто он успел пропитать собой сами стены сарая, и, стоило Майклу закрыть глаза, ему тут же мерещились ползучие скопления мясных мух.

— И знаешь что? — заявил он позже Люси. — Руку даю на отсечение, что этот старый сукин сын специально все это устроил.

— Да? — сказала она. — Но зачем бы он стал это делать?

— Не знаю, бля! Я теперь уже вообще ничего не знаю.

Глава седьмая

Родители Майкла приезжали из Морристауна примерно раз в год, и гости они были идеальные: никогда не задерживались надолго и никогда не уезжали слишком быстро, чтобы не расстраивать хозяев; они, похоже, находили Тонапак ничуть не более странным, чем дом в Ларчмонте, и не задавали неудобных вопросов. Всегда было ясно, что приезжают они главным образом ради того, чтобы увидеть внучку, и Лаура, похоже, всем сердцем любила их обоих.

Родители Люси отличались куда меньшей надежностью. То от них по два-три года не было слышно ни слова, за исключением небрежно подписанной рождественской открытки и, быть может, какого-нибудь сувенира ко дню рождения Лауры, а то вдруг они, никогда не предупреждая заранее, являлись во плоти: пара богатых разговорчивых красавцев, каждый взгляд и жест которых, казалось, источали намеренное недружелюбие.

— Так вот где вы скрываетесь, — заявила Шарлотта Блэйн, выходя из длиннющего, сияющего чистотой автомобиля. Потом, задержавшись на

лужайке, она огляделась и сказала: — Что ж, здесь все по-другому, да? — И добавила, уже когда они заходили в дом: — Чудная винтовая лесенка — только я не очень поняла, зачем она там нужна.

— Чтобы было с чего начать разговор, — сказала ей Люси.

Майкл решил, что его тесть сильно постарел с тех пор, как они виделись в последний раз. Стюарт Блэйн (по кличке Пропеллер) мог с прежней легкостью играть в городе в сквош, а в деревне — в теннис, он мог по-прежнему прыгать с вышки и бодро наматывать сколько угодно кругов в бассейне, но лицо его приняло растерянное выражение человека, которому никак не сообразить, куда ушли годы.

По словам Люси, отец как-то сообщил ей, что считает решение Майкла отказаться от ее денег «похвальным»; и вот теперь, когда он сидел, сосредоточив взгляд на кромке бокала с бурбоном, его мнение менялось едва ли не на глазах.

— Ну, Майкл, — сказал он после долгого молчания, — как там дела в этой твоей фирме, то есть журнале?

Ему ответила Люси, и небрежная улыбка, с которой она заговорила о журнале, подействовала на Майкла ободряюще.

— Да мы почти уже и забыли об этом, — сказала она и объяснила, что Майкл договорился с редакцией и работает теперь в свободном режиме.

Все это прозвучало так, как будто в течение месяца ему почти совсем не надо было отвлекаться на «Мир торговых сетей». И после многозначительной паузы она подвела итог. — Кроме того, у него почти готов новый сборник.

— Что ж, замечательно, — сказал мистер Блэйн. — А что с пьесами?

На этот раз Майкл заговорил сам.

— Тут мне пока не слишком везет, — сказал он, хотя, говоря по правде, ему не везло совсем.

Быть может, ранние его пьесы еще валялись где-нибудь у продюсеров небольших театров, однако единственной реакцией на большую трехактную трагедию, стоившую ему такой крови, пока была короткая записка, в которой агент подтверждал ее получение. Теперь она ходила по рукам — путь бесконечный и практически безнадежный. Временами он даже подумывал, не предложить ли ее Тонапакскому летнему театру, но каждый раз удерживался от соблазна. В тот год режиссером летней труппы был нервный, торопливый и нерешительный человек, не внушавший особого доверия; актерами у него

подвизались либо расхлябанная молодежь, жаждущая получить членство в «Эквити»[39], либо ни на что не годные пенсионеры, навеки обреченные быть старше своих ролей. А кроме того, он не вынесет, если пьесу возьмут посмотреть, а потом отвергнут.

— Театр — очень непростое дело, — заключил он.

— Ну да, я знаю, — сказал мистер Блэйн. — Точнее, могу себе представить.

Потом из школы пришла Лаура, и Майкл знал: это значит, что теперь они скоро уедут. Стюарт и Шарлотта Блэйн и как родители никогда не могли пожертвовать ничем, кроме малой толики себя и друг друга, так что было логично не ждать от них особого интереса к следующему поколению. Как только запас деланых восторгов подходил к концу, они, казалось, не обращали внимания на застенчивую большеглазую девочку, которая стояла в своем испачканном травой платье почти вплотную к их коленям, что вынуждало их держать стаканы на весу от греха подальше; так они и пытались поддерживать взрослый разговор,

[39] Примечания: 39

«Эквити» — американский профсоюз театральных актеров и менеджеров (основан в 1913 г. и существует до сих пор), членство в нем является необходимым условием для работы в театре.

по-клоунски высовываясь с разных сторон из-за ее фигуры.

Когда Блэйны уехали, Майкл обнял жену и принялся благодарить ее за то, как она ответила на вопрос отца.

— Ты меня выручила, — сказал он. — Я был счастлив. Я всегда так счастлив, когда ты… вот так меня выручаешь.

— Ну, я ж не столько тебя выручала, — сказала она, — сколько саму себя.

И ему показалось, что она одеревенела в его объятиях, или, может, это у него одеревенели руки; а может, он просто наступил ей на ногу или они слишком быстро отступили друг от друга, — как бы то ни было, возникло ощущение, что это самое неловкое объятие за всю их совместную жизнь.

Однажды осенью в дверь сарая кто-то постучал, и Майкл обнаружил на пороге улыбающегося Тома Нельсона в старой танковой куртке.

— Пойдешь со мной на фазанов? — спросил Нельсон.

— У меня дробовика нет, — сказал Майкл. — И разрешения на охоту тоже.

— Да и черт с ними, их нетрудно достать. Вполне приличное ружье можно купить долларов за

двадцать пять, разрешение тоже не проблема. Я уже пару дней хожу один и вот подумал, что не отказался бы от компании. Решил, что бывший воздушный стрелок по летящей птице не промажет.

Неплохая идея, к тому же было лестно, что Том Нельсон не поленился приехать с таким предложением аж из самого Кингсли; Майкл позвал его в дом, чтобы Люси тоже порадовалась. Они часто бывали на вечеринках у Нельсонов, и Нельсоны много раз приходили к ним поболтать и посмеяться, но даже и при таком раскладе любое подтверждение дружбы со стороны Нельсонов явно приводило ее в восторг.

— Стрелять по птицам? — сказала она. — Что же в этом хорошего?

— Древний дух охотника, мадам, — сказал Том Нельсон. — Кроме того, прогулки на свежем воздухе. Физическая нагрузка.

И вот ранним утром, направляясь через пожелтевшие поля к «нетронутому местечку», как выразился Нельсон, Майкл смущенно нес новый, купленный по дешевке дробовик, чувствуя приятное оживление. Кроме бокса, заняться которым, как он сам прекрасно понимал, его побудили весьма запутанные обстоятельства, он

никогда в жизни не увлекался никаким спортом.

Но когда они уселись на поросший лишайниками камень, стало ясно, что Тома интересует не столько фазан, сколько общение: ему хотелось поговорить о женщинах.

Заметил ли Майкл на прошлой вечеринке эту роскошную девицу — черненькую, невысокую? Милый такой ротик и груди — такие груди, что сдохнуть можно! Она еще была с этим мудозвоном, искусствоведом из Йельского университета, — засада какая-то, да? — но что хуже всего, этот старый клоун ей явно нравится.

Господи, да кругом вообще сплошные засады. Пару недель назад Том околачивался в Музее современного искусства, пытался завести разговор с чудной такой молоденькой штучкой — на вид только что из Сары Лоуренс[40] или типа того, глаза прямо как у лани и ножки, ах ножки! — и вот ему удается сообщить, что он художник.

— Он говорит: «То есть вы и есть Томас Нельсон!» Бля, и в этот самый момент куратор, гнойный пидор, кричит мне с другого конца ком-

---

[40] Примечания: 40

Колледж Сары Лоуренс — частный женский (до 1968 г.) гуманитарный колледж, расположенный в Йонкерсе, ближайшем пригороде Нью-Йорка. Известен своей серьезной академической программой (обучение ведется почти индивидуально, по оксфордской модели) и жесткими требованиями к качеству знаний.

наты нежным таким голоском: «Томас, дорогой, познакомьтесь же с Блейком таким-то там из Национальной галереи!» Бог мой, я не знал, куда деться. Ясен пень, она решила, что я голубой.

— А вернуться к ней потом было нельзя?

— А дальше был обед. Пришлось обедать с этим говнюком из Национальной галереи. Потом полчаса искал ее везде где только можно, но она уже сбежала. Вечно они сбегают. — И он тяжело вздохнул. — Проблема в том, что я слишком рано женился. Нет, я ничего против не имею: дом, семья, стабильность и все такое. — Он затушил окурок о камень между ботинками. — Но иногда увидишь какую-нибудь такую — и хоть вешайся. Ну что, пойдем поднимем пару птичек, что ли?

И они честно принялись их искать, но не нашли ни одной.

А потом наступил сезон охоты на оленей. В округе Патнем закон запрещал ходить на оленя с винтовкой, можно было стрелять только из ружья, и скругленные носы пуль, торчавшие из тугих бумажных патронов, смотрелись так жутко, что большинство охотников, должно быть, не слишком старались преследовать зверя. Майкл с Томом не старались вообще: все утро они болтали, гуляя по лесу, или подолгу отды-

хали, пристроившись где-нибудь с ружьями на коленях.

— Девушки тебе никогда не присылали восхищенные письма по поводу стихов?

— Не-а. Не случалось пока.

— А неплохо бы, правда? Влюбляется в тебя какая-нибудь красотка, пишет волнительное письмецо; ты отвечаешь и назначаешь где-нибудь встречу. Требует серьезной подготовки, но в результате, может, что-нибудь и выйдет.

— Ага.

— У меня один раз почти получилось. Почти. Девица сходила на какую-то мою выставку в галерее и пишет: «Я чувствую, что у вас есть что мне сказать, а быть может, нам обоим есть что сказать друг другу». Типа того. Я не смутился — и хорошо, что не смутился. Написал ей, попросил прислать фотографию — и тут начались проблемы. Она снялась в тени какого-то дерева, так что лица почти не видно, — хотела, наверное, чтобы получилось художественно, но без толку: малюсенькие глазки, губки поджатые, курчавые волосы дыбом — ну, не полная, конечно, уродина, но страшила еще та. Сплошное разочарование. И все бы ничего, если бы я не представил себе уже совсем другую девушку. Господи, что с нами

делает воображение!

В другой раз Нельсон жаловался, что он теперь редко когда вырывается из дому, — разве что журнал «Форчун» закажет иллюстрации.

— Одно удовольствие этим заниматься: работа легкая плюс можно куда-нибудь съездить. В прошлом году они отправили меня на юг Техаса зарисовать нефтяные вышки. И все бы ничего, но местные парни, которые должны были всюду меня возить на джипе, почему-то меня невзлюбили, и я никак не мог понять, что этим двоим не нравится. Все время называли меня «живописцем»: «Чарли, съездишь покажешь живописцу пятую?» или «Думаешь, живописцу на сегодня хватит?» — и так все время. Потом как-то мы сидим обедаем в столовке для дальнобойщиков, они начинают обсуждать свои семьи, и я к слову говорю, что у меня четверо сыновей.

Ты бы видел, что с ними стало! Челюсти отпали. Сразу совсем другое отношение — стоило только сказать «четверо сыновей». Видишь, они в большинстве своем думают, что «художник» автоматически значит «пидор», и винить их в этом, наверное, не стоит. Короче, после этого они не знали, как мне угодить. Все время проставлялись, быстро вспомнили, как меня зовут,

расспрашивали про Нью-Йорк, угорали над моими шутками. Думаю, они готовы были мне уже и девушку найти, но времени не оставалось. Надо было улетать, черт возьми.

В последний день оленьего сезона, когда они, как утомленные боем пехотинцы, тащились домой к завтраку с оружием на плечах, Том Нельсон сказал:

— Не знаю, что со мной такое было в детстве. Замедленное развитие. Чем я только не занимался: читал, играл на барабанах, дурью маялся с этими оловянными солдатиками, а надо-то было трахаться.

Как-то вечером Люси провозилась с посудой дольше обычного, и когда она вышла в гостиную, приглаживая выбившийся из прически локон, было понятно, что сейчас она скажет нечто неприятное.

— Майкл, — начала она, — я решила, что мне нужно обратиться к психологу.

У него как будто сдулись легкие — дышать стало почти невозможно.

— Вот как! — сказал он. — Зачем?

— Да ни за чем таким, что можно было бы объяснить, — сказала она. — Если бы это было что-то конкретное, я объяснила бы.

И он тут же вспомнил, с каким раздражением она заявила ему по поводу абстрактно-экспрессионистской живописи в бостонской галерее, названия которой уже и не припомнить: «Если бы он мог это сказать, ему не нужно было бы писать картину».

— Ну да, но я имею в виду — то, что ты хочешь обсудить с психологом, связано с нашим браком? — спросил он. — Или тут что-то другое?

— Тут… все сразу. Текущие проблемы и то, что идет с самого детства. Я вдруг почувствовала, что мне нужна помощь, вот и все. В Кингсли есть некий Файн — говорят, хороший; я уже записалась к нему на вторник. Думаю, буду ходить два раза в неделю. Мне просто хотелось, чтобы ты знал, потому что было бы странно что-то от тебя скрывать. И разумеется, о деньгах можно не беспокоиться — я буду платить из своих.

Так что во вторник вечером он должен был стоять у окна и смотреть, как она уезжает. Конечно, был шанс, что она быстро вернется назад, взбешенная вопросами психолога или его тоном, однако куда вероятнее было то, что теперь по вторникам и пятницам она будет исчезать в мир секретов, которые не может ему доверить, будет все больше отдаляться, испарится и ускользнет

от него.

— Папа, — обратилась к нему Лаура, когда они остались вдвоем, — а что такое дилемма?

— Ну, это когда ты не можешь решить, как тебе поступить. Например, тебе хочется пойти на улицу поиграть с Анитой Смит, но по телевизору идет интересная программа, и посмотреть ее тебе тоже хочется. Вот перед тобой и возникает дилемма. Понятно?

— А… — сказала она. — Понятно. Хорошее слово, правда?

— Это уж точно. Подходит для самых разных ситуаций.

Когда на округ Патнем обрушивались особенно сильные снегопады, Энн Блейк по четыре-пять дней не могла договориться, чтобы расчистили подъездные дорожки. По утрам Майкл с Лаурой, взявшись за руки и дрожа от холода или смеясь, тащились сквозь заносы к остановке школьного автобуса, и компанию им всегда составлял Гарольд Смит с детьми. Гарольд нес на руках Кита, своего сына-инвалида. «А ты, приятель, с годами легче не становишься», — повторял он; девочки тащились сзади. Как только дети устраивались на остановке — жалкие и потерянные, с покрытыми инеем шарфами, в негнущихся

уже варежках и резиновых галошах, — Гарольд торопливо прощался, потому что до станции нужно было отмахать еще полторы мили, и в редакционные дни Майкл отправлялся вместе с ним. Они быстро шагали, время от времени останавливались и, наклонившись, сморкались на снег; разговаривали сурово, по-товарищески.

— Знаешь, Майк, прикольная вещь семья, — сказал как-то Гарольд.

Дувший ему в лицо ветер подхватил облачко пара и унес его за спину.

— Живешь годами и даже не знаешь, на ком женат. Загадка какая-то.

— Ага, — сказал Майкл. — Точно.

— Чаще всего это вроде и без разницы, как-то выкручиваешься, справляешься; потом появляются дети, дети растут, и довольно быстро только из-за них и держишься, чтобы не заснуть раньше времени.

— Ага.

— А бывает вдруг посмотришь на эту девушку, на эту женщину, и подумаешь: в чем суть? Как так получилось? Почему она? Почему я?

— Да, Гарольд. Я понимаю, о чем ты.

К весне 1959 года Майкл вдруг ощутил, что снова открывает для себя поэзию. Выход второй

книги принес одни разочарования: рецензий было немного, критики в основном высказывались прохладно, но теперь у него вырисовывался новый сборник, и он обещал стать превосходным.

Среди новых стихотворений были и короткие, но слабых и небрежных не было, и, уединившись в сарайчике, он любил читать вслух самые удачные. Иногда он даже плакал над ними и почти не стыдился этого. Предстояло еще немало работы над стихотворением, которому следовало завершить книгу, — длинным, очень смелым, богатым, — стихотворением того же замаха, что и «Если начистоту», которое так понравилось Диане Мэйтленд: первые строки, довольно сильные, были уже готовы, и он хорошо представлял себе, как оно в целом должно разворачиваться. Если летом ничего плохого не случится, к сентябрю он его закончит. Начинаться оно должно было медленно и постепенно набирать темп, усложняясь и обрастая деталями; основными станут образы времени, превращения, упадка, а в конце, благодаря очень тонкому повороту, должно было оказаться, что речь ведется о распаде брака.

Слова и фразы вертелись у него в голове, когда он вечерами возвращался домой из сарая и даже когда сидел в гостиной со стаканом виски в руках,

а Люси суетилась в пару и ароматах кухни.

Очень не скоро, почти случайно, его внимание привлекла яркая пурпурно-белая книга, которая, должно быть, уже давно лежала на кофейном столике. Называлась она «Как любить», автором значился Дерек Фар, и с фотографии на задней обложке пристально смотрел прямо в камеру лысый человек.

— Что это? — спросил Майкл, когда Люси пришла в комнату накрывать на стол. — Учебник секса, что ли?

— Вовсе нет, — ответила она. — Это книга по психологии. Дерек Фар — философ и одновременно практикующий психолог. Мне кажется, тебе эта книга была бы крайне полезной.

— Вот как! А почему мне?

— Ну, я не знаю. А мне почему?

В следующее воскресенье, когда все в комнате стихло и успокоилось под шелест воскресных газет, он оторвался от книжного обозрения «Нью-Йорк таймс» и сказал:

— Люси, а ты знаешь, что этот твой Дерек Фар двадцать три недели подряд держался первым номером в рейтинге бестселлеров?

— Ну конечно знаю, — сказала она с противоположного конца комнаты, не отрываясь от

модного журнала. Потом посмотрела на него. — А ты думаешь, все, что попадает в бестселлеры, откровенная лажа, да? Ты всегда так думал.

— Ну не все, конечно; этого я никогда не говорил. Но в большинстве своем действительно лажа, разве не так?

— Вот именно что не так. Если человек способен написать нечто интересное огромному числу людей, если его идеи и способ их выражения действительно отвечают потребностям многих или их нуждам — разве это не огромное достижение?

— Да перестань, Люси, ты же сама знаешь, это это не так. В этом деле речь никогда не идет о том, чего люди хотят или что им нужно, — здесь весь вопрос в том, что они готовы принять. Все определяет та же коммерческая гнильца, что в кино и на телевидении. Вкусами публики манипулируют, подводя всех под общий минимум. Господи, ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

И он снова зашуршал газетой, давая понять, что тема закрыта.

На десять или пятнадцать секунд в комнате воцарилось молчание, а потом она сказала:

— Я знаю, что ты имеешь в виду, только я с тобой не согласна. Я всегда знала твое мнение по любому поводу — проблема не в этом. Проблема

в том, что я никогда — ни разу в жизни — твоих мнений не разделяла. Поразительно, что я поняла это только в последние несколько месяцев.

Она поднялась. Вид у нее был странным образом одновременно дерзкий и испуганный.

Майкл тоже встал, и литературное приложение соскользнуло на пол.

— Так, подожди-ка минутку, черт побери! Вот, значит, какие разговорчики вы ведете с доктором Файном во время этих ваших уютных сеансиков!

— Можно было не сомневаться, что именно этот пошлый вывод ты и сделаешь, — сказала она. — А между тем все не так — я даже не уверена, буду ли я и дальше ходить к доктору Файну, — но ты, естественно, можешь думать все, что тебе угодно. Только замолчи хотя бы сейчас.

Она быстро прошла на кухню, но он следовал за ней по пятам.

— Я замолчу, бля, но только когда захочу, — сказал он. — Не раньше.

Она обернулась и смерила его взглядом.

— Как, однако, странно, — сказала она. — Как интересно! Я поразилась, когда обнаружила, что всегда ненавидела все эти твои драгоценные

мнения из «Кеньон ревью»[41], эти твои идеи для избранных, — бог мой, сколько бы я отдала, лишь бы никогда больше не слышать, как ты говоришь «стихотворение» или «пьеса»! Но вот теперь я поняла, что мне ненавистен сам твой голос. Ты меня понимаешь? Не могу больше слышать твой голос. И видеть тебя тоже не могу.

И она отвернула до упора оба крана над раковиной, собираясь мыть посуду.

Майкл вернулся в комнату и стал бродить среди разбросанных по полу воскресных газет. Его била дрожь. Это было хуже чем плохо — случилось самое плохое. Раньше, когда они ссорились, он оставлял ее одну и она приходила в себя и раскаивалась, но теперь старые правила не действовали. Кроме того, он и сам еще не все сказал.

Когда он зашел на кухню и встал поодаль у нее за спиной, ее окутывал пар, поднимавшийся от раковины с мыльной водой.

— Почему «драгоценные»? Почему «для избранных»? И откуда взялся «Кеньон ревью»?

---

[41] Примечания: 41

«Кеньон ревью» — американский литературный журнал, основанный в 1939 г. профессором литературы Кенон-колледжа (штат Огайо) Джоном Рэнсомом. В 1940—1950-е гг. считался одним из лучших литературных журналов в США. Публиковал Роберта Пенна Уоррена, Роберта Лоуэлла, Фланнери О'Коннор, Дилана Томаса, Дерека Уолкотта, Вуди Аллена, Б. Пастернака, Б. Брехта.

— Думаю, лучше сразу остановиться, — ответила она. — Лаура услышит. Она уже и так, наверное, плачет там у себя наверху.

Он вышел из дому, хлопнув кухонной дверью, и проследовал вдоль нелепых бен-дуэйновских грядок. Но, оказавшись за столом, не смог взять в руки карандаш — он даже смотреть прямо перед собой не мог. Он мог только сидеть, засунув в рот полкулака, тяжело дышать через нос и пытаться осознать, что все рухнуло. Это конец.

Ему было тридцать пять, и сама мысль о необходимости жить одному страшила его, как ребенка.

Когда посуда была вымыта, Люси тоже дышала не без труда. Она решительно водрузила на вешалку влажное полотенце, и вешалка отпала от стены, оставив в дешевой штукатурке забавного вида ранки. Вечно на этой импровизированной кухне все было не так. Вечно все было не так в этом импровизированном доме и в окружающем его второсортном поместье.

— И вот что я тебе еще скажу, — прошептала она с ожесточением, уставившись в стену. — Поэт — это когда ты как Дилан Томас. А драматург, господи, драматург — это когда ты как Теннесси Уильямс.

Сколько она себе помнила, Лаура Дэвенпорт всегда хотела сестренку. Иногда ей казалось, что на братика она тоже согласна (все лучше, чем ничего), но хотелось ей все же сестренку, только о ней она и мечтала. Она давно уже придумала ей имя — Мелисса — и порой часами шепталась с этой воображаемой девочкой:

— Мелисса, ты готова к завтраку?

— Нет еще. Эта дурацкая расческа все время застревает в волосах.

— Ну-ка, дай я попробую. Я умею распутывать. Это быстро. Ну вот. Так лучше?

— Да, теперь все в порядке. Спасибо, Лаура.

— Не за что. Слушай, Мелисса, пойдем после завтрака к Смитам? Или лучше поиграем тут в куклы или еще во что-нибудь?

— Не знаю. Не могу решить. Я еще подумаю, ладно?

— Ладно. Или если тебе захочется, можем знаешь чем еще заняться?

— Чем?

— Можем пойти на поляну для пикников и попробовать взобраться на то высокое дерево.

— На совсем высокое? Нет. Я боюсь, Лаура.

— Почему? Я же буду с тобой — если ты поскользнешься или еще что-нибудь, я тебя поймаю.

Почему ты вечно всего боишься, Мелисса?

— Потому что я не такая большая, как ты. Вот почему.

— Ты даже детей в школе боишься.

— Нет, не боюсь.

— Боишься-боишься. А ведь второй класс — сплошная легкотня, это всем известно. Если ты во втором классе боишься, мне страшно подумать, что с тобой будет в четвертом;

— Ну и что? Ты-то в четвертом тоже всех боишься.

— Что за ерунду ты говоришь! Я иногда немножко стесняюсь, но я не боюсь. Стесняться — вовсе не то же самое, что бояться. Имей это в виду, Мелисса.

— Лаура!

— Что?

— Давай больше не будем ссориться.

— Давай. Только ты так и не сказала, что мы сегодня будем делать.

— Да не важно. Решай сама, Лаура.

Но бывало и так, что без всяких видимых причин Мелисса исчезала на несколько дней подряд, а иногда не появлялась неделями. Лаура придумывала, что бы такое интересное с ней обсудить, придумывала, чем бы таким заняться, строила

разные планы; она даже задавала шепотом соответствующие вопросы и сама отвечала на них за Мелиссу, но в такие дни ее не покидало ощущение, что она разговаривает сама с собой, — и ей было очень стыдно. Когда Мелисса исчезала, Лаура всегда думала, что она уже не вернется.

Именно так ей и казалось теплым сентябрьским днем, когда она вернулась из школы. Лауре было девять лет. Она сидела одна в своей комнате и тщательно расчесывала у своей темноволосой куколки длинные нейлоновые патлы. Тут она услышала, как внизу мама подошла к лестнице и позвала:

— Лаура! Спустись, пожалуйста, сюда.

С куклой и расческой в руках она вышла на лестницу и спросила:

— Зачем?

Мама ответила ей как-то неловко и странно:

— Потому что нам с папой нужно сказать тебе кое-что важное. Нужно кое-что с тобой обсудить — вот зачем.

— А-а-а.

И Лаура стала неспешно спускаться в гостиную, понимая в душе, что надежды нет и ее ожидает нечто ужасное.

Часть вторая

Глава первая

После того как они с Майклом разъехались, а потом без долгих препирательств развелись, Люси довольно долго не знала, куда ей двигаться и что делать. Часто казалось, что причиной тому был слишком широкий выбор возможностей — она знала, что может уехать куда угодно и делать все, что ей вздумается, — но порой она говорила себе, со страхом в душе, что, быть может, все дело в обыкновенной инертности.

— Хорошо, но зачем же оставаться здесь, дорогая? — спросила ее мать. Она заехала ненадолго и была раздражительна.

— Мне кажется, это самое разумное, по крайней мере сейчас, — объяснила Люси. — Было бы несправедливо по отношению к Лауре делать какие-то резкие движения только ради того, чтобы куда-то сдвинуться. Мне не хочется ее дергать, забирать из школы и так далее, пока я окончательно не разберусь, чего я ищу и где мне хочется жить. А пока я не решила, это место ничем не хуже других — нужно подвести итоги, разобраться в себе, начать строить планы. И потом, у меня здесь друзья.

Правда, потом, когда мать уехала, она вряд ли смогла бы уверенно объяснить, что она имела в виду под словом «друзья».

Везде она встречала радушие и внимание; всем, похоже, хотелось дать ей понять, что теперь они любили и ценили ее ничуть не меньше, чем когда она была женой Майкла, — или даже больше, поскольку теперь они гораздо лучше ее узнали. Это ее трогало и радовало; она была благодарна, — но была одна проблема. Ей не особенно нравилось испытывать благодарность; она не любила ощущения постоянной улыбки благодарности у себя на лице.

— Твоя мать и отчим меня на самом деле восхищают, — сказала она как-то вечером Пегги Мэйтленд, когда они возвращались из большого дома в Хармон-Фолз, и Пегги это замечание, похоже, поставило в тупик.

Они провели легкий и приятный вечер: из знаменитого крана в стене беспрепятственно лился виски, а мистер и миссис Фолсом болтали и смеялись с очаровательной непринужденностью, сидя у громадного, с видом на овраг окна.

— И чем же они тебя восхищают? — спросила Пегги.

— Тем, что они такие… устроенные, — сказала

Люси. — Как будто они все рассчитали, рассмотрели массу вариантов и решили, что будут жить точно так, как живут. Складывается впечатление, что они живут без всякого напряжения.

— Ага, — сказала Пегги. — Так это потому, что они старые. — И ее изящная ладонь скользнула под руку к Полу. — Лично я предпочла бы быть молодой. И ты ведь тоже? Мне кажется, все хотят быть молодыми.

Когда они пришли к Мэйтлендам и Пегги ушла на кухню готовить ужин, Пол уселся в скрипучее кресло и взял на себя приятную роль старого друга.

— Диана все время спрашивает о тебе, — сказал он Люси.

— Правда? Как приятно! — ответила Люси и чуть было не добавила «она очень добра», но вовремя остановилась. — Как она? Нравится ей в Филадельфии?

— Не думаю, что Филадельфия их особенно интересует, — сказал он. — Но работа им вроде нравится.

Ральфа Морина назначили художественным руководителем нового предприятия под названием «Филадельфийская театральная группа»; они с Дианой уже год или больше как поженились.

— Что ж, передавай ей мои наилучшие пожелания, Пол, — сказала Люси. — Им обоим, конечно же.

Потом Пегги принесла из кухни небольшой целлофановый пакет, наполненный на дюйм или два чем-то вроде табака.

— Люси, ты куришь? — спросила она.

Майкл Дэвенпорт всегда говорил, что несколько раз пробовал марихуану и она ему страшно не понравилась, поскольку ему казалось, что он теряет рассудок, и Люси тоже не особенно ее жаловала, но теперь — быть может, под воздействием несколько самодовольных речей Пегги о молодости — Люси согласилась.

— Конечно, с удовольствием, — сказала она.

Они неторопливо скрутили косяки и уселись курить, забыв, что в духовке пересыхает рагу.

— Трава выше среднего, — разоткровенничалась Пегги, устраиваясь на диване и подбирая под себя ноги. — Нам ее продает приятель на Кейпе. Получается чуть дороже, но оно того стоит. Потому что здесь ничего серьезного не найдешь — сплошной детский сад. Школьный городок.

Раньше Люси слегка раздражали все эти понты, которыми изобиловала речь Пегги: все эти «сады» и «городки», сознательно заимствован-

ные у негров, но сегодня они уже не казались ей наигранными. С Пегги все было нормально. В ее свежести и молодости не было ничего, кроме честности и цельности. Она была рождена, чтобы стать женой Пола Мэйтленда, чтобы служить ему и его вдохновлять; этой девчонке можно было только позавидовать.

— Знаешь, что любопытно? — сказал Пол Мэйтленд. — В пьяном виде я работать не могу, в этом я давно убедился. А под травой пишу спокойно.

Поэтому, поужинав, то есть проглотив доставшиеся ему три-четыре ложки из того, что им удалось спасти из духовки, он откланялся и отправился в другую комнату, где включил очень сильный верхний свет и остался наедине со своей работой.

Люси в тот вечер пришлось ехать домой очень медленно. Ей казалось, что утром ей будет о чем поразмыслить: в голове вертелось множество новых догадок, хороших свежих соображений о себе и своем будущем, но, когда она проснулась, думать было совершенно не о чем — разве что о том, чтобы успеть собрать Лауру, пока не подъехал школьный автобус.

Время от времени Люси ходила в кино с Нельсонами — между собой они заранее высмеивали

это глупое предприятие, что, впрочем, не мешало удовольствию: как присмиревшие дети, они сидели втроем в темноте, полностью поглощенные происходящим на экране, и делили попкорн на троих. Но самым приятным в этих развлечениях была сокрушительная критика после просмотра: они сидели допоздна и выпивали дома у Нельсонов или у Люси, обсуждая изъяны картин и особенно задевшие их пошлости, пока не приходило время прощаться.

А кроме того, были еще вечеринки у Нельсонов. Поначалу Люси стеснялась ходить туда одна, но ей почти всегда было весело. За все эти годы она успела познакомиться с большинством гостей — новичков на этих сборищах всегда было немного, — и теперь она могла насчитать как минимум еще трех недавно разведенных женщин в этих изысканных и охваченных счастьем комнатах.

На одной из вечеринок она подняла глаза и обнаружила, что с другого конца студии ей улыбается дородный господин, и по тому, как он смотрел, было понятно, что он наблюдает за ней уже некоторое время. Это был один из завсегдатаев, университетский преподаватель, с которым они время от времени вели милые, ничего не значащие разговоры; раньше никакого особен-

ного интереса он к ней не проявлял. И вдруг он заговорил с ней, скорее даже крикнул, да так бодро и громко, что его реплика заглушила все звучавшие рядом голоса:

— Ну что, Люси Дэвенпорт, уже нашла себе нового мужика?

Она, конечно, могла подойти и отвесить хорошую пощечину этой улыбающейся физиономии. Но она омертвела, чего с ней никогда в жизни не бывало, так что в итоге ей оставалось только найти, куда поставить стакан, взять пальто и уйти.

— Я уверена, он не хотел тебя обидеть, — говорила в дверях Пэт Нельсон, пытаясь убедить ее остаться. — Он милый; он бы сдох на месте, если бы узнал, как он тебя расстроил. Слушай, ну, может, он выпил лишнего… сама понимаешь. Сплошь и рядом такое бывает — на то они и вечеринки, верно?

И Люси согласилась побыть еще немного, но просидела все это время в уголке и почти ни с кем не разговаривала. Она чувствовала себя уязвленной.

В те времена ей крайне важно было навести полный порядок на кухне к тому моменту, когда Лаура возвращалась из школы. На безупречно чистую кухонную стойку выкладывался только

что сделанный бутерброд с арахисовым маслом и джемом, рядом с тарелкой ставился стакан молока, и Люси, красиво одетая и причесанная, стояла в ожидании рядом, как будто вся ее жизнь была в полном распоряжении дочери.

— Круче всего, что они устроили из всего этого соревнование, — сказала Лаура, пережевывая бутерброд.

— Из чего, дорогая?

— Мама, ну я же тебе говорила. Делали из снега статуи Авраама Линкольна. Ну, знаешь, как в Мемориале, где он сидит?[42] И мы тоже такого сделали. Ну и все четвертые классы делали свою статую, получилось три штуки — и устроили соревнование, и наш класс победил, потому что наша статуя получилась лучше всех.

— Вот как! — сказала Люси. — Было, наверное, весело? А ты что именно делала?

— Помогала делать ноги и ступни.

— А лицо кто делал?

— У нас в классе есть двое мальчишек, у которых лица здорово получаются, — вот они и делали. Получилось очень круто.

---

[42] Примечания: 42

В Мемориале Линкольна, расположенном на Эспланаде в центре Вашингтона (сооружен в 1914–1922 гг.), скульптор Дэниел Френч поместил шестиметровую статую сидящего в задумчивости президента.

— И что вам дали за победу? Приз какой-нибудь?

— Не, приза никакого не дали, но потом к нам в класс пришел директор, повесил над доской такой типа вымпел и сказал: «Поздравляю». — Лаура допила молоко и вытерла рот. — Мам, ничего, если я пойду к Аните?

— Иди, конечно. Только снова придется закутываться.

— Да знаю. Только, мам…

— Что?

— Идем со мной, ладно?

— Нет, я не пойду. Зачем?

Лаура явно оробела:

— Затем. Анита сказала, что ее мама говорит, что ты больше не обращаешь на нее внимания.

Они застали Нэнси Смит там, где ее, похоже, можно было застать всегда: она стояла за гладильной доской, а вокруг нее кренились стопки детской одежды и белья.

— Люси! — воскликнула она, оторвавшись от своей ритмичной работы. — Какая приятная неожиданность! Давно не виделись. Проходи и садись, если найдешь куда. Подожди секундочку, я выключу телевизор.

И когда девочки ушли в другую комнату, их ма-

тери уселись по разные стороны широкого стола.

— Мы ведь только раз или два виделись с тех пор, как вы с Майклом расстались, — сказала Нэнси. — Сколько уже прошло — шесть месяцев?

— Вроде пять.

По лицу Нэнси было понятно: она знает, что следующий вопрос может показаться неделикатным, но она его все равно задаст:

— Скучаешь по нему?

— Не больше, чем думала. Судя по всему, мы тогда приняли верное решение, и, знаешь, я с тех пор ни разу не пожалела.

— И он так и живет один в городе?

— Да вряд ли он так уж одинок; наверняка пожил уже с несколькими девушками. Но на выходные к нему ездит Лаура, и у них все замечательно. Он сводил ее в пару театров на Бродвее — особенно ей понравился «Музыкальный человек»[43], и они много еще чем занимаются. Ей с ним очень нравится.

— Что ж, это хорошо.

Они замолчали, и Люси стала думать, что раз-

---

[43] Примечания: 43

В 1957 г. этот мюзикл Мередит Уилсон стал абсолютным хитом на Бродвее и завоевал сразу пять театральных премий «Тони». История строится вокруг молодого жулика, который ездит из города в город, собирает детские оркестры и, распродав родителям все имеющиеся у него музыкальные инструменты, исчезает.

говор теперь может пойти в двух направлениях: либо Нэнси даст понять, что у нее в браке царят покой и счастье, либо отведет глаза в сторону и, то и дело запинаясь, расскажет, что тоже хочет попросить развода, но никак не наберется смелости.

Но Нэнси была далека от подобных мыслей.

— Завтра день рождения моего брата, — сказала она. — Моего брата Юджина. Он всегда страшно радовался, что родился в один день с Авраамом Линкольном[44], почему-то принимал это близко к сердцу. Наверное, лет в одиннадцать или в двенадцать он знал о Линкольне больше, чем любой учитель истории, и мог прочитать на память всю Геттисбергскую речь[45]. Однажды его попросили прочитать ее перед всей школой, на общем собрании, и я страшно боялась, что дети станут над ним смеяться, но боже мой, пока он говорил, в аудитории стояла гробовая тишина.

---

[44] Примечания: 44

12 февраля.

[45] Примечания: 45

Двухминутная речь Линкольна, которую он произнес 19 ноября 1963 г. при открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. За четыре с половиной месяца до этого решающая битва при Геттисберге, закончившаяся победой северян, унесла множество жизней. Эта речь считается вершиной американского ораторского искусства. Ее полный текст высечен на пьедестале памятника Линкольну в вашингтонском Мемориале.

Я им гордилась, что уж тут говорить. Понимаешь, я была на год его старше, и я всю жизнь боялась, как бы к нему кто-нибудь не прицепился, как бы его не начали шпынять, хотя каждый раз оказывалось, что бояться было нечего. У Юджина никогда ни с кем не было проблем; люди почему-то сразу понимали, что он особенный. Знаешь, бывают такие дети. Такие яркие, такие необычные, что любой понимает, что их надо оставить в покое.

Ну и сразу после школы, в сорок четвертом, его забрали в армию, он проходил базовую подготовку и как-то мне сказал, что к стрельбе из винтовки он не годен. Так они это называли — «не годен». Нужно было пройти зачет, чтобы считаться обученным стрелком, понимаешь, и Юджин никак не мог набрать нужное количество очков на стрельбах. Он говорил, что все время щурится и моргает, когда нужно жать на курок, и в этом вся проблема. Перед самой отправкой в Европу он на три дня приезжал домой в увольнительную — помню, он так смешно выглядел в военной форме: рукава совсем короткие, ворот сзади топорщится, как будто форма не его, а чужая. Я спросила: «Ну так что, ты в итоге годен?» — а он отвечает: «Нет, но это ничего не меняет;

в конце концов они нарисовали всем сколько нужно очков и признали всех годными».

Когда пополнение, в котором был Юджин, прибыло в Бельгию, Арденнская битва уже почти закончилась, так что их продержали в резерве несколько дней, а потом с передовой вернулись стрелковые роты и забрали их с собой; им всем нужно было отправляться на восток Франции, потому что там был какой-то Кольмарский мешок[46]. Никто из моих знакомых никогда и не слышал про этот Кольмарский мешок, а была и такая операция. Видишь, этот Кольмар защищала целая туча немцев, и кому-то нужно было их оттуда выбить.

И вот стрелковая рота, в которой был Юджин, двинулась через огромное перепаханное поле — у меня прямо картина перед глазами, как эти мальчишки тащатся с винтовками в руках, стараясь не выдать своего страха и держаться на десять ярдов друг от друга, потому что было такое правило, что нужно держаться на десять ярдов, — и Юджин наступил на фугас, и от него почти ничего

[46] Примечания: 46

Кольмарский мешок — 19-я немецкая армия, попавшая в окружение в ходе Эльзасско-Лотарингской операции. Эта группировка была успешно ликвидирована силами войск США и Франции в ходе Кольмарской операции (20 января — 9 февраля 1945 г.).

не осталось. Через неделю ему исполнилось бы девятнадцать. Парень, который написал об этом моим родителям, сказал, что можно только благодарить Бога, что он не страдал, но я прочитала это письмо, наверное, раз двадцать, и я до сих пор этого не понимаю. За что благодарить-то?

Только, пожалуйста, Люси, не пойми меня неправильно: я об этом уже не так часто думаю, гоню от себя плохие мысли; просто когда день рождения Линкольна… в день рождения Линкольна я места себе не нахожу. Каждый год.

Нэнси сидела, едва не уронив голову на стол; казалось, она плакала, но, когда она снова подняла голову, в ее сузившихся глазах не было ни слезинки.

— И я еще вот что скажу, Люси, — продолжала она. — Видишь ли, многие жалеют нас с Гарольдом, потому что мальчик у нас инвалид. А знаешь, что я подумала, когда обнаружилась его инвалидность? Я подумала: ну слава богу. Слава богу. Теперь его никогда не возьмут в армию.

Энн Блейк сидела в кухне на одном из своих барных стульев, сгорбившись и обхватив себя руками; взгляд ее сосредоточился на чашке с кофе, и Энн, похоже, дрожала. Услышав звонок, она быстро подошла к двери, однако на улыбку ее

уже не хватило: Люси принесла чек за очередной месяц.

— Ну как оно, Люси? — спросила она.

— Что — оно?

— Как держитесь? Как выживаете?

— Спасибо, у нас все хорошо, — сказала Люси.

— Ну да, «у вас». Вы всегда можете сказать «у нас», потому что у вас есть дочь. Другим не так сильно повезло. Впрочем, не хочу показаться… Заходите, присядьте, если найдется минутка.

И Энн без лишних предисловий призналась, что от нее ушел Грег Этвуд. Он уехал в шестинедельное турне с танцевальной труппой, а когда оно закончилось, позвонил ей сказать, что домой не вернется. Решил поработать в новой труппе, которая как раз формируется на основе старой, и там есть планы на более продолжительное турне, которое, как он сказал, может задержать его на неопределенный период времени.

— Упорхнул, понимаешь, — объяснила Энн.

— Упорхнул?

— Ну да, конечно. Улетел с голубыми феями. Послушайте, Люси, обещайте мне, что никогда не заведете роман с мужчиной, который по сути своей… по сути своей гомосексуалист.

— Ну, это вряд ли, — сказала Люси.

Энн окинула ее долгим взглядом. Она смотрела оценивающе, с неодобрением.

— Да уж, думаю, что вряд ли. Вы еще молоды, вы красивы — мне нравится ваша новая прическа, — в вашей жизни мужчин еще будет сколько угодно. Фортуна еще долго будет к вам благосклонна; может быть, всегда. — Тут она слезла со стула и отступила на два-три шага, поправляя одежду. — Как вы думаете, сколько мне лет? — спросила она.

Люси растерялась. Сорок пять? Сорок восемь? Но Энн Блейк не стала дожидаться ответа.

— Мне пятьдесят шесть, — сказала она и вернулась к своему месту у кухонной стойки. — Мы с мужем соорудили все это больше тридцати лет назад. Вы и представить себе не можете, какие у нас были надежды! Если бы вы только знали моего мужа, Люси! Он был сумасбродом во всем — он и сейчас сумасброд, — но вот театр он любил по-настоящему. Нам хотелось создать летний театр на зависть всему северо-востоку, и у нас почти получилось. Кое-кто из наших и вправду попал отсюда прямо на Бродвей, но что толку сыпать именами — все равно вы скажете, что никогда о них не слышали. Но уверяю вас, в те годы жизнь у нас здесь кипела: молодежь

к нам съезжалась замечательная — мальчики и девочки, созданные для успеха, которого они, однако, так и не добились. Ладно. Не стану вас задерживать. Извините, Люси, что вывалила на вас все свои проблемы. Просто вы были первой, кого я увидела после того, как Грег… после этого его мерзкого звонка, и я…

Она не смогла сдержаться, губы у нее задрожали.

— Что вы, Энн, не стоит извиняться, — быстро проговорила Люси. — Вы меня совсем не задерживаете. Хотите, я посижу с вами, — быть может, вам станет легче.

Раньше в этом доме Люси никогда дальше кухни не приглашали, и она ощутила странную гордость, когда Энн Блейк провела ее в гостиную. Комната оказалась на удивление маленькой — вообще весь дом был меньше, чем казался снаружи, и наверху, куда вела лестница, вероятно, не было ничего, кроме роскошной спальни на двоих. Наверное, когда в двадцатые годы в популярных песнях пели про «любовное гнездышко», имелось в виду что-то в этом роде.

— Вы, наверное, заметили, что камин здесь слишком большой, — говорила Энн. — Это мой муж так захотел. Думаю, ему нравилось вообра-

жать, как мы с ним будем сидеть здесь на диване перед сном, в тепле и уюте, прижиматься друг к другу и глядеть на огонь. Он был жутко сентиментальный. Я, конечно, не знаю, что за дом он построил для своей стюардессочки, но готова поспорить, что камин там не меньше. — Она помолчала и потом добавила: — Грегу он тоже всегда нравился. Он мог часами глядеть на огонь, он его завораживал, и я, бывало, шла наверх одна, лежала там и думала: «А как же я? Как же я?» — На ее лице снова проступило отчаяние. — Ну и черт с ним. Теперь мне, наверное, никогда не придется разводить здесь огонь.

— Может, сейчас развести?

— Ну что вы! Мне, конечно, очень приятно, но у вас наверняка есть чем заняться и помимо…

Как всегда в конце февраля, на улице было ветрено. Люси взяла три или четыре полена, сваленные в кучу у кухонных дверей, стряхнула с них снег и набрала растопки; войдя со своей ношей в гостиную, она обнаружила, что Энн открыла бутылку скотча.

— Пить еще рановато, — сказала та, — но кому какая разница? Вы ведь не возражаете?

Вскоре первые уверенные языки пламени поползли вдоль шипящих поленьев, и по комнате

распространилось ощущение заслуженного покоя: Энн Блейк по-детски свернулась на диване, а ее гостья устроилась в мягком кресле. Люси никогда не любила скотч, но теперь выяснялось, что стоит только отвлечься от вкуса, и он окажется не сильно хуже бурбона. Свое дело он делал. Мир уже не казался таким жестоким.

— Люси, вы ведь богаты, да?

— В общем, да, но откуда вы знаете?

— А у меня нюх на деньги. Майкл никогда этого запаха не источал, а от вас всегда ими пахло. Наверное, не стоит называть это «запахом», — надеюсь, я вас не обидела.

— Нет.

— А кроме того, я пару раз видела ваших родителей. Богатство у них на лбу написано. Старое богатство.

— Наверное, так и есть. У нас в семье всегда было довольно много… довольно много денег.

— Тогда я не понимаю, почему вы продолжаете жить здесь. Почему вы не увезете дочь куда-нибудь, где вы могли бы жить с людьми вашего круга?

— Наверное, потому, что я не знаю, какой круг мой, — сказала Люси.

Сначала казалось, что это на самом деле не

ответ, но чем больше она над ним думала, тем лучше он выглядел. Это было ближе к истине, чем говорить: «У меня здесь друзья», тем более ссылаться на то, что «было бы несправедливо по отношению к Лауре предпринимать какие-то резкие шаги». На самом деле она все время приближалась к истине — и, возможно, ей уже не хотелось подходить еще ближе; теперь, наверное, нужно было отдаться тому, что она и так в глубине души знала все это время. Истина — ну и что с того, что для ее прояснения нужно было дождаться, когда в крови заиграет виски, которым ее угостила Энн Блейк? — истина состояла в том, что ей не хотелось расставаться с доктором Файном.

Она уже дважды разрывала с ним отношения, и оба раза, гордо выйдя из его приемной, с вызовом садилась в машину и ехала домой с высоко поднятой головой, но уже через несколько недель смиренно возвращалась назад. Неужели остальные тоже испытывают такую привязанность к собственному психоаналитику? Неужели все остальные тоже перебирают события прошедшего дня, чтобы было о чем рассказать этому уроду, когда придешь к нему в следующий раз?

«Ну вот, в среду я напилась со своей квартир-

ной хозяйкой, — начала она проговаривать про себя свой следующий монолог, почти наверняка зная, что именно так он и прозвучит в кабинете доктора Файна. — Ей пятьдесят шесть лет, и ее только что бросил мужчина гораздо моложе ее — никогда не видела человека в более жалком положении. Видите ли, я, вероятно, надеялась, что, если я останусь и выпью с ней, это хоть немного отвлечет меня от себя самой. Как в прошлый раз, помните, когда Нэнси Смит рассказала мне про своего брата и я перестала думать только о себе? Потому что, доктор, невозможно же жить только для себя, дышать только для себя, думать только о себе, себе, себе…»

— А я не представляю, как жить с большим состоянием, — продолжала Энн Блейк под треск поленьев. — Впрочем, я никогда об этом не думала, потому что мне-то всегда хотелось не больших денег, а большого таланта, хотя и на средний я тоже с радостью согласилась бы. Но мне почему-то кажется, что эти две вещи во многом схожи. Что талант, что деньги сразу же тебя выделяют. Они могут дать то, о чем другие даже и не мечтают, но в то же время они требуют постоянной ответственности. Ими нельзя пренебрегать, нельзя не обращать на них внимания, иначе никакого

толку от них не будет, они обернутся пустотой и бесплодностью. И самое ужасное, Люси, что пустота и бесплодность легко превращаются в образ жизни.

«…И в какой-то момент она меня поразила, доктор. Она сказала: „И самое ужасное, Люси, что пустота и бесплодность легко превращаются в образ жизни“ — и это прозвучало как пророчество. Потому что к этому постепенно и сводится вся моя жизнь, вы же видите. Эта невротическая поглощенность собой, которую вы постоянно поощряете, — поощряете-поощряете, доктор, даже не пытайтесь это отрицать, — эта беспомощность, это ощущение инертности. Это все бесплодность. Это все пустота…»

— Люси, — обратилась к ней Энн, — будь так добра, дорогая, задерни шторы, чтобы я не знала, сколько сейчас времени. Вот так, спасибо тебе. — И когда комната погрузилась в полумрак, она добавила: — Так лучше. Мне хочется, чтобы здесь всегда была ночь. Чтобы всегда была ночь и чтобы утро никогда не наступало.

Виски оставалось еще четверть бутылки — Люси это выяснила, поднеся ее к огню, — и она уверенно налила себе еще одну солидную порцию, чтобы, не дай бог, не позабыть все то, о чем

она собиралась рассказать доктору Файну.

— Я, наверное, прилягу прямо здесь, Люси, если вы не возражаете, — сказала Энн. — Я в последнее время почти совсем не сплю.

— Конечно, — сказала ей Люси. — Конечно, Энн.

Тишина, воцарившаяся в комнате, как нельзя лучше отвечала ее собственной потребности в уединенном размышлении.

По дороге к дверям она слегка задела стену, и ей пришлось немного постоять, прислонившись к ней, чтобы снова обрести равновесие; зато пальто ее обнаружилось, к счастью, ровно там, где она его оставила.

Обледенелый и заснеженный простор, отделявший кухонную дверь Энн Блейк от дома Люси, простирался не больше чем на пятьдесят ярдов, но этот путь показался ей бесконечным; и, все же преодолев его, она еще долго стояла на обжигавшем лицо ветру и с отвращением разглядывала обледенелую винтовую лестницу. Никакого разговора с этой дурацкой лестницы в принципе начать нельзя, разве что самый бессмысленный и тупой из всех возможных.

Бросив пальто на стоявший в гостиной стул, она тут же отправилась на кухню, потому что

пора было делать бутерброд и наливать молоко. Она достала банку с арахисовым маслом и стала искать джем, однако ни на что больше ее уже не хватило — она стояла повесив голову и тяжело опершись обеими руками на кухонную стойку.

Ничего страшного; Лаура уже большая, бутерброд она сама себе сделает. Все будет прекрасно, если она сможет сейчас подняться к себе в спальню. И она медленно двинулась, держась рукой за стену; в спальне она откинула одеяла и легла, не раздеваясь, в постель. На какую-то секунду ей захотелось, чтобы там был Майкл: он обнял бы ее и сказал: «Боже мой, какая же ты замечательная!» — но это желание быстро прошло: она знала, что она одна, и от этого ей было спокойно.

Еще вдох-другой, и она заснет так крепко, что не услышит, как Лаура придет из школы и станет звать: «Мам? Мама?» — и, быть может, в очередном ее безответном возгласе даже зазвучит страх, но это ничего. Если Лауре надо будет узнать, где мама, она поднимется наверх и увидит.

— В этом страхе привязанности, — говорил доктор Файн, — нет ничего необычного. Пациенты часто чувствуют зависимость от своего психотерапевта, им кажется, что эта зависимость им мешает. Но это иллюзия, миссис Дэвенпорт. Вы

никоим образом не привязаны ни ко мне, ни к работе, которую мы здесь с вами осуществляем.

— У вас ведь на все найдется ответ, да? — сказала Люси. — Ловкий вы, ребята, устроили себе заработок.

И он посмотрел на нее так, как будто решил, что она шутит.

— Да? — спросил он.

— Ну конечно. Вы все занимаетесь делом скользким и крайне безответственным Втягиваете людей, когда они не знают, куда еще обратиться; потом подталкиваете их к тому, чтобы они раскрыли вам все свои секреты, и в итоге они чувствуют себя абсолютно голыми и беззащитными — и настолько поглощены этой своей беззащитностью, что весь остальной мир больше не кажется им реальным. И если кто-нибудь осмелится сказать: «Подождите, остановитесь, отпустите меня», вы не обращаете на это никакого внимания и говорите, что это иллюзия.

И опять она была уже почти готова встать и уйти. Однако сейчас в этом жесте не было бы того вызова и той гордости, которые она ощущала раньше, — быть может, она даже решила бы, что поступать так в третий раз глупо, — но по дороге домой определенно ощутила бы, как к ней мед-

ленно возвращаются силы, хотя бы потому, что знала бы: эта встреча с доктором Файном была последней.

В кресле ее удержало не что-нибудь, а смущение. Ей не понравилось, что ее голос только что перешел в пронзительный крик; резкие нотки этого почти что плача повисли в тишине кабинета. Если не получилось уйти хоть сколько-нибудь достойно, то лучше, наверное, остаться.

— Попробуем вернуться чуть назад, миссис Дэвенпорт. — Доктор Файн пристально смотрел на нее, мягко сложив руки.

Она часто поражалась, как сильно походил на червяка этот тихий, невзрачный, лысеющий человечек, и теперь от этого сходства ее выходка казалась еще более недостойной. Можно ли чувствовать себя привязанной к червяку?

— Иногда полезно просто подвести итоги и попытаться в них разобраться, — продолжал он. — С тех пор как вы развелись, мы обсуждаем в основном, как вам лучше воспользоваться своим богатством и свободой, которую оно предоставляет.

— Да.

— Мы никак не могли определиться с двумя вещами: куда ехать и что делать, и, подробно об-

судив оба вопроса, мы сразу же признали, что они взаимосвязаны; если найти удовлетворительный ответ на один из них, второй вопрос разрешится сам собой.

— Верно.

Вот и все итоги, вот и весь разбор. Теперь доктору Файну нужно было переходить к делу. Похоже, что в последнее время, сказал он, Люси перестала заниматься основной проблемой. Видно, что она стала позволять себе отвлечься, ее стали сбивать с толку всевозможные недостатки и неприятности ее теперешнего положения. Эти обстоятельства могут и в самом деле быть крайне неприятными, но все это преходяще, все это временно. Не полезнее ли смотреть в будущее?

— Ну конечно, — сказала она. — Я и смотрю — или хотя бы пытаюсь. Я знаю, что это всего лишь переходный период; знаю, что нужно подвести итоги, разобраться в себе, начать строить планы…

И она вспомнила, что эти же самые слова она говорила своей матери прошлой осенью.

— Вот и хорошо, — сказал доктор Файн. — Быть может, теперь мы снова двинемся в верном направлении.

Но теперь на его лице проглядывала усталость

и даже скука, как будто он сам временами стал позволять себе отвлекаться, и Люси не могла его за это винить. Даже провинциальный психоаналитик наверняка думает о чем-нибудь более интересном, чем эмоциональное равновесие молодой мультимиллионерши, которая не знает, куда ей идти и что делать.

Остаток зимы не принес ничего примечательного, как, впрочем, и март, и апрель, и начало мая. А потом, в один прекрасный, наполненный благоуханием день, в дверь ее кухни постучали, и она обнаружила поразительно красивого молодого человека — он стоял у нее на пороге, засунув большие пальцы в карманы джинсов.

— Миссис Дэвенпорт? — уточнил он. — Ничего, если я сделаю от вас один короткий звонок?

Он сказал, что его зовут Джек Хэллоран и что он режиссер новой театральной труппы, которая скоро начнет репетировать в местном театре. Потом он позвонил в телефонную компанию и потребовал, тоном решительным и деловым, чтобы в театре, общежитии и пристройке немедленно установили телефоны.

— Я могу предложить вам кофе? — спросила она, когда разговор был закончен. — Или пиво? Или что-нибудь еще?

— Ну, если у вас есть пиво, — сказал он, — то я с радостью. Спасибо.

И, уже сидя напротив нее в гостиной, он сказал:

— Трудно поверить, но начальство пытается обойтись без телефонов в театре. Вы можете себе это представить? Это же какой-то капустник в Дикси![47]

Она никогда не слышала этого выражения и решила, что, может, он сам его и придумал.

— Ну да, — сказала она, — в последние годы дела тут действительно идут неблестяще, хотя когда-то давно у этого места была отличная репутация.

— Наверное, было бы здорово снова ее завоевать, да?

Тут он основательно приложился к пиву — вид-

---

[47] Примечания: 47

Выражение «amateur night in Dixie», имевшее хождение в США в военные и послевоенные годы, означает безоговорочный, и притом стыдный, провал. Его происхождение связывают с распространенными в годы Великой депрессии «любительскими вечерами», проводившимися еженедельно в местных кинотеатрах. Местные радиостанции, как правило, вели трансляции с этих вечеров, а наиболее успешные артисты могли претендовать на какие-то призы. Спорным остается указание на место: словом «Дикси» в США называют 11 южных штатов, в годы Гражданской войны участвовавших в Конфедерации. В данном случае отсылка к Дикси, скорее всего, имеет в виду экономические реалии времен Депрессии, когда юг был беднейшим и наиболее отсталым регионом.

но было, как стремительно ходит вверх-вниз его острый кадык.

— Может, уже этим летом все и получится, — сказал он, утерев рот. — Не могу ничего обещать, но я больше года собирал эту труппу, и намерения у нас вполне серьезные. Есть настоящие таланты, и кое-какие спектакли получаются неплохо.

— Отлично, — сказала Люси. — Просто отлично.

Глаза у Джека Хэллорана были бледно-голубые, волосы — темные; Люси с детства восхищали киноактеры с такими же, как у него, грубовато-чувственными лицами. Она уже знала, что хочет его; нужно было только организовать это как-нибудь поизящнее. Главное, нужно было дать ему разговориться.

Он сказал, что вырос в Чикаго у «добрых людей» — сначала в католическом приюте, а потом в приемных семьях; оттуда его и забрали в морскую пехоту. И вот незадолго до демобилизации он оказался в трехдневном отпуске в Сан-Франциско — там он впервые в жизни пришел в театр и увидел «Гамлета» в постановке какой-то гастролирующей группы.

— Наверное, я больше половины тогда не понял, — говорил он, — но я знал, что все в моей

жизни переменилось. Я стал читать всех драматургов подряд — Шекспира и всех остальных, стал смотреть спектакли — все, что только попадалось, и с тех пор так или иначе все у меня крутится вокруг театра. Фиг знает, может, у меня ничего и не получится — ни с актерской карьерой, ни с режиссерской, но это не значит, что я когда-нибудь откажусь от театра. Это единственный мир, который я понимаю.

На второй или третьей бутылке он проговорился о том, чем наверняка не привык делиться при столь кратком знакомстве: он сообщил Люси, что сам выдумал себе имя.

— Настоящая моя фамилия литовская, и в ней столько слогов, что у большинства язык не поворачивается их произнести. И в шестнадцать лет я выбрал себе имя Джек Хэллоран, потому что мне тогда казалось, что ирландским мальчишкам везде везет; так я и записался в армию. А потом мне это стало даже казаться естественным, потому что я начал работать в шоу-бизнесе, а там у многих псевдонимы.

— Ну да, — сказала Люси, хотя эти сведения ее несколько разочаровали.

Она никогда не встречала человека, живущего под чужим именем; она даже думала, что чужие

имена берут себе только преступники — ну и актеры. Наверное, и актеры тоже.

— Что ж, думаю, нас ждет неплохое лето, — сказал он, поднявшись. — Мне здесь нравится. И вот что забавно: никогда бы не поверил, что в таком месте можно обнаружить актера такого уровня, как Бен Дуэйн! Я спросил, как он смотрит на то, чтобы поработать с нами, но он, гад, упрямый: если на Бродвее работать не дают, то будет до конца дней выращивать цветы.

— Да. Он еще тот персонаж.

— Собственно, мистер Дуэйн и подсказал мне к вам обратиться, — сказал Джек Хэллоран. — Он еще сообщил, что вы в разводе, — ничего, что я об этом говорю?

— Конечно ничего.

— Ну и отлично, Люси. Тогда, раз уж мы все равно будем соседями, может, я зайду как-нибудь в гости?

— Конечно, — сказала она. — Мне будет очень приятно, Джек.

Закрыв за ним кухонную дверь, она закружилась по дому на цыпочках. Шесть или восемь изящных па привели ее обратно в гостиную, где она присела в неглубоком поклоне.

«…И стоило мне увидеть его, доктор, как меня

охватила эта странная, чудесная теплота...»

Но она даже не дала себе труда додумать это предложение, потому что оно относилось к тому, о чем доктору Файну, вероятно, никогда не придется услышать. Ей оставалось лишь стоять у открытого окна, всматриваясь в благоухание весны, и ждать, когда успокоится разгоряченное прыжками сердце.

Глава вторая

Следующие пару дней, пока она ждала, когда он придет снова, Люси то и дело возвращалась к мысли, которая должна была отрезвить и предостеречь ее: разве можно заниматься любовью с человеком, если ты даже не знаешь, как его на самом деле зовут? Но когда он все же пришел, ей потребовалось совсем немного времени, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Да. Еще как можно! Можно весь день с восторгом целовать и сжимать его в объятиях, можно сплетаться и кататься с ним в кровати, которая еще недавно принадлежала твоему мужу; можно жаждать его почти смертельно; можно распахнуть для него ноги, если ему этого хочется, или обвить их вокруг него, если ему так больше нравится; можно даже закричать: «Джек! Ах, Джек!» — прекрасно зная, что «Джек» — это всего лишь часть вымышленного имени, обязанного своим рождением тому, что ирландским мальчишкам везде везет.

Она сразу же хотела спросить его про имя — она знала, что со временем вопрос будет казаться все более неловким, — но ей все никак не удавалось

подобрать нужные слова, потому что теперь в ее жизни было слишком много Джека Хэллорана: он заполнял все ее чувства, им была полна ее кровь, ее сны.

К тому же складывалось ощущение, что им всегда не хватает времени. Сначала им каждый вечер приходилось вставать, одеваться и спускаться в гостиную, где, сидя на приличном расстоянии друг от друга, они должны были дожидаться, когда Лаура вернется из школы. Окончание учебного года принесло с собой секретность еще более тонкую, причем сопряженную с большими рисками: Лаура могла часами пропадать с Анитой и ее сестрами в лесу или играть в траве где-нибудь в поместье, но не было никакой возможности предсказать, когда она вернется домой, хлопнув, по обыкновению, дверью. А потом стали съезжаться актеры и рабочие сцены — каждый день прибывало человек по шесть или даже больше, и Джеку приходилось надолго отлучаться по делам.

За день до начала репетиций он исчез почти на весь вечер, чтобы побыть с ней наедине, и сознание незаконности придало этому вечеру еще большую прелесть. Оторвавшись наконец друг от друга, они лежали и смеялись до изнеможения над какой-то его шуткой; непроизвольные и

постепенно слабеющие приступы хохота все еще охватывали их, когда они лениво одевались и шли вниз. Стоя в кухне и уже полностью избавившись от смеха, он романтически долго держал ее в объятиях.

Тогда, спрятав лицо в его рубашке, она робко спросила:

— Джек, может, теперь ты скажешь мне, как тебя на самом деле зовут?

Он отстранился и бросил на нее короткий задумчивый взгляд:

— Не, давай отложим все это на потом, сладкая. Мне жаль, что я рассказал тебе об этом.

— Ну почему же? Это было мило, — сказала она и сразу же испугалась, что он увидит, что она лжет. — Это было едва ли не первое, что мне в тебе понравилось.

— Ну да, хорошо, но это было еще до того, как мы с тобой узнали друг друга.

— Именно. Поэтому я и не могу еще неизвестно сколько звать тебя Джеком Хэллораном — разве ты не понимаешь? Все равно что брать фальшивку и делать вид, что тебе нет до этого дела. Слушай, я могу выговорить сколько угодно слогов, и я с радостью это сделаю. Ты же не думаешь, что я сноб?

Он, казалось, раздумывал над этим вопросом, а потом сказал:

— Нет, скорее уж я сам сноб. Как видишь, в общении с девочками из высших кругов Новой Англии обыкновенный литовский мальчишка из трущоб может оказаться жуть каким снобом — тебя никогда об этом не предупреждали? Видишь ли, мы всегда ощущаем превосходство над вами, потому что у нас есть мозги и воля, а у вас — только деньги. Ну, может, время от времени по одной мы вас еще как-то терпим, но даже и в этом случае всегда будет какая-то снисходительность. Поэтому я действительно думаю, что так лучше для нас обоих. Договорились, Люси? Пока я остаюсь Джеком Хэллораном, у нас будет куда больше поводов для смеха, я обещаю.

Мгновение спустя он был уже на улице, на залитом солнцем просторе, откуда он когда-то пришел. Он направлялся на холм, к общежитию, как минимум половину которого к тому моменту заселяли разные девушки.

Но он вернулся в тот же вечер, как только стемнело, и сквозь дверь с проволочной сеткой можно было различить лишь огонек его сигареты. Когда она впустила его на кухню, он, казалось, не чувствовал никакой необходимости в извинениях

— разве что извинение скрывалось в том, как он моргнул и пробормотал: «Люси», перед тем как ее поцеловать. Потом он сказал:

— Послушай, детка. Я теперь буду работать каждый день, а ночью мне, конечно же, появляться не следует, потому что это расстроит Лауру, так что я вот что подумал: у меня отличная комнатка на втором этаже в общежитии — я там один, и на двоих места хватит. Сможешь ты время от времени туда приходить?

— А там есть отдельный вход?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, ведь мне каждый раз придется проходить через все общежитие, а там люди…

— Да это не имеет значения; они ничего не заметят, а даже если заметят, какое им дело? Они все очень милые.

В общежитии Люси никогда раньше не бывала. Здесь пахло пылью и старым деревом, а в полутемном зале на первом этаже, где обедала труппа, все еще стояло тепло и запахи кухни: на ужин сегодня явно была печень с беконом.

Наверху она обнаружила, что люди здесь живут совсем без перегородок: кровати помещались у стен через определенный интервал, как в казармах. Кое-где особо стеснительные пытались

создать себе укромный уголок, занавесив кровать простынями и одеялами, но эти жалкие укрытия только привлекали к себе внимание: большинство членов труппы явно не видели в открытой жизни особых неудобств. И теперь многие из них подтягивались из разных углов этой большой светлой комнаты к своим компаниям, откуда доносились разговоры и то и дело раздавался смех. Кое-где можно было заметить человека среднего возраста, но в основном лица были очень молодые, и Люси, с присущей ей осторожностью, решила обратиться со своим вопросом к юноше, а не к девушке:

— Простите, не подскажете, где я могу найти мистера Хэллорана?

— Кого?

— Джека Хэллорана.

— А, Джека! Вот там.

Посмотрев, куда указывал юноша, она поняла, что могла бы с легкостью справиться с этой задачей самостоятельно: никаких других дверей здесь просто не было.

— Привет, девочка, — сказал Джек. — Садись пока. Еще минута, и я буду в полном твоем распоряжении.

Он стоял в одних брюках перед зеркалом, ви-

севшим над крохотной раковиной, и брился электробритвой. Сесть можно было только к нему на кровать — точно такую же узкую, как и у всех в общежитии, но Люси все равно не хотелось садиться. Она ходила туда-сюда, как жилищный инспектор, подробно изучая все, что попадалось ей на глаза. В комнатке была уборная, вернее, каморка с унитазом; было окно, из которого днем, вероятно, открывался вид на бен-дуэйновские цветники, а у стены стояли два покосившихся чемодана — большие и дешевые; старые, изрядно испачканные и потрепанные, они смотрелись весьма неприглядно. Разве можно было подумать, увидев эти удручающего вида сумки на автобусной остановке, что они принадлежат молодому, талантливому и целеустремленному актеру и режиссеру, едущему куда-то по делам? Это вряд ли; в их печальном виде с первого же взгляда читались признаки нужды и несостоятельности — с таким, наверное, багажом кочуют из штата в штат истрепанные жизнью негры, перебивающиеся с одной социальной программы на другую.

Когда она села все-таки на кровать, ее внимание привлекла входная дверь: в ней имелась большая замочная скважина — из тех, в которые

в старину любили подглядывать, но большого старомодного ключа в этой скважине не было; и примерно в тот же момент она почувствовала, что от тихого монотонного звука электробритвы у нее сводит челюсти.

— А ключ есть? — обратилась она к нему.

— А?..

— Я спрашиваю, есть ли у тебя ключ от двери?

— А, конечно, — откликнулся он. — Где-то в кармане.

Бритва наконец замолчала, и он убрал ее. Он запер дверь, причем не без некоторого труда — ему пришлось несколько раз дернуть за ручку, чтобы убедиться, что дело сделано, — а потом сел на кровать и обвил ее одной рукой.

— Я успел забрать себе эту комнату, когда еще ребята не приехали, потому что знал, что мне понадобится свой уголок, но я не знал, что сюда придет такая красавица. И я, кстати, купил нам пива. — Он запустил руку под кровать и вытащил оттуда упаковку «Рейнголд экстра драй». — Наверное, оно уже согрелось, но это ладно. Пиво, оно и есть пиво, верно?

Верно. Пиво было как пиво, кровать как кровать, секс как секс; а кроме того, всем известно, что в Америке бесклассовое общество.

Уже раздевшись, она спросила:

— Джек, а как я отсюда выйду?

— Наверное, тем же путем, что пришла. А в чем проблема?

— Видишь ли, очень долго я у тебя не пробуду, потому что Лауру нельзя оставлять одну, и я на самом деле не уверена, что смогу…

— Разве ты не дала ей здешний телефон, если ты ей зачем-то понадобишься?

— Нет. Не дала. И я на самом деле не уверена, что, выйдя отсюда, смогу смотреть в глаза всем этим людям.

— Ай, Люси, тебе не кажется, что ты слишком уж на этом зацикливаешься? — спросил он. — Расслабься. Если у нас и так мало времени, может, нам лучше прямо сейчас им воспользоваться?

Что они и сделали. В каком-то смысле трахаться на узкой кровати было даже лучше, чем на двуспальной: здесь нельзя было оторваться друг от друга — создавалось впечатление, что двое являются лишь половинками единого изнывающего зверя, охваченного безотлагательной потребностью.

И с последними судорогами этого зверя, когда Люси боялась, что ее беспомощные вскрики слышно на все общежитие, ей на ум впервые за

долгие годы пришло шекспировское выражение: «двуспинное чудовище».

— О боже, — сказала она, переведя дыхание. — О боже, Джек, это было… это было абсолютно…

— Я знаю, девочка, — сказал он. — Я знаю. Так оно и было.

Новый театр в Тонапаке начинал свой сезон с легкой комедии («Нечто вроде разминки», как объяснил Джек Хэллоран), и Люси присутствовала на нескольких последних репетициях, сидя в одиночестве в большом, похожем на сарай театре, стоявшем по другую сторону дорога.

Спектакль был уже почти готов, сцены следовали одна за другой без особого вмешательства Джека, но ей доставляло удовольствие просто наблюдать за тем, как он стоит, напряженный и сосредоточенный, в затемненной части сцены, и знать, что он один отвечает за все, что там происходит. В одной руке он держал раскрытый сценарий, а полусогнутый указательный палец другой медленно постукивал по джинсам у него на бедре — как метроном, подстроенный точно под ритм пьесы. Время от времени он кричал кому-нибудь из актеров: «Нет, налево, Фил, налево!» или «Джейн, в этой реплике у тебя опять неверная интонация, попробуем еще раз!».

Однажды, когда беспрерывная череда скомканных реплик грозила сорвать всю сцену, он остановил действие и вышел на свет.

— Слушайте, — сказал он, — в эту постановку уже вбухано куча времени и сил, так что до ума мы ее все равно доведем. Все равно доведем, даже если нам придется удвоить репетиции или заниматься круглосуточно, — всем понятно?

Он помолчал, как будто в ожидании вопросов и жалоб, но никто ничего не сказал. Актеры, как пристыженные дети, стояли, уставившись в пол. Он продолжил:

— Я просто не понимаю, как можно до сих пор делать такие ошибки. Может, кто-то думает, что у нас тут какой-то капустник в Дикси или что?

Все молчали. После этой второй паузы он заговорил спокойнее, без прежнего раздражения:

— Ладно. Вернемся назад. Начнем с того места, где Марта говорит о счастье. Только на этот раз давайте внимательнее.

В день премьеры зал наполнился лишь на две трети — обнадеживало, правда, что далеко не все зрители были на вид местными. Похоже, этим летом действительно следовало ожидать наплыва нью-йоркской публики — даже на этот первый и относительно скромный спектакль.

Представление прошло гладко. Заметных ошибок не было, зрители от души смеялись везде, где им следовало смеяться, а громких и продолжительных аплодисментов в финале с лихвой хватило на три вызова. Перед тем как занавес опустился в последний раз, один из актеров вывел из-за кулис Джека Хэллорана, и тот склонился на сцене в робком, учтивом поклоне; Люси была так горда за него, что едва не расплакалась.

У Джека был шумный, вонючий одиннадцатилетний «форд», который он редко ремонтировал и никогда не мыл; он всегда извинялся за свою машину, но в то лето она ему очень пригодилась: вечерами они с Люси часто отправлялись на ней куда-нибудь «подальше от этой чертовой дыры».

На дороге машина вела себя не хуже, чем любая другая, они катались по всему округу, и он рассказывал, что было днем на репетициях и вечером на спектакле, о людях, которые так и не приспособились к работе, и о людях, с которыми работать было одно удовольствие.

По дороге они выпивали в барах, где стояли автоматы для игры в пинбол и огромные банки с маринованными свиными ножками, — ей со студенческих лет не приходилось бывать в таких нелепых провинциальных заведениях, — но

подолгу они там не засиживались, потому что Джек начинал тревожиться, вспоминая, сколько всего ему нужно будет сделать завтра. А Люси это вполне устраивало: после пары часов, проведенных в дороге, ей неизменно хотелось поскорее вернуться к нему в комнатку.

Труппа давала по одной премьере в неделю, и к концу лета театр показал спектакли по Чехову, Ибсену, Шоу и Юджину О'Нилу и даже несколько вычурную постановку «Короля Лира» — Джек пришел к выводу, что на тот момент это был их единственный провал: «Ну, здесь мы все перестарались, и это тут же вылезло наружу».

Актеры не высыпались и не успевали толком отдохнуть, и репетиции не раз заканчивались слезами. Плакали, конечно, девушки, но однажды не выдержал и один из юношей: явно подавляя в себе стыд, он набросился на Джека и обозвал его самодовольным рабовладельцем и мудаком.

Тем не менее нью-йоркская публика все прибывала и прибывала, и едва ли не каждый спектакль оборачивался настоящим триумфом. За кулисами Джека посетил представитель агентства

Уильяма Морриса[48] и сообщил, что готов им заняться, — правда, когда Люси, узнав об этом, воскликнула: «Замечательно!» — Джек сообщил, что радоваться особо нечему.

— В «Моррисе» этих агентов как грязи, — объяснил он. — К тому же агент у меня уже есть. Нет, уж если у кого из нас и будет реальный прорыв после сегодняшнего представления, так это у Джули. Черт, это же так классно! Я очень ею горжусь, правда.

— Я тоже, — сказала Люси. — Тем более что она этого явно заслуживает.

Джулии Пирс было двадцать четыре года. Эта худая девушка, с прямыми темными волосами и огромными лучистыми глазами, сыграла главные роли в «Чайке», «Кукольном доме», а потом еще и в «Майоре Барбаре», и ее «реальный прорыв» состоял в том, что ее пригласили попробоваться на роль в новой комедии очень известного на Бродвее драматурга.

Вне сцены она была очень тихой и стеснительной; было заметно, что она страшно нервничает (Люси видела, что ногти на руках у нее обгры-

[48] Примечания: 48

Агентство Уильяма Морриса — крупнейшее агентство в развлекательной индустрии США, основанное в 1898 г. и к концу 1940-х гг. занявшее доминирующее положение на рынке.

зены до мяса), но, как только дело доходило до работы, нервозность исчезала. В труппе было три или четыре актрисы посимпатичнее Джулии, и они это знали, но и они могли только завидовать и восхищаться ее «потрясающей силой», как они сами выражались. Ее чистый звонкий голос, наполнявший весь театр, даже когда она бормотала, оказывался поразительно тонким инструментом, способным наполнить жизнью и самые надуманные ситуации.

Именно этот тихий и неподражаемый голос Джулии Пирс раздался как-то в духоте ночи после короткого стука в дверь Джека Хэллорана: «Миссис Дэвенпорт? Вам звонит дочь».

Люси уже засыпала — одной рукой Джек крепко прижимал ее к себе, вторая его рука прикрывала ей грудь, — но она высвободилась и оделась с такой поспешностью, что забыла на полу чулки и нижнее белье.

Она вышла из комнаты и пробралась к телефону, висевшему на стене у самой лестницы:

— Лаура?

— Мам, ты не можешь сейчас прийти? Только что звонил папа, и он был какой-то совсем странный.

— Ну, солнышко, твой папа иногда слишком уж

много пьет, и тогда с ним…

— Нет, он был не пьяный. Это что-то другое. То есть я вообще его не поняла.

Спешить вниз по ступенькам вдоль благоухающих цветочных террас было нельзя — в темноте она боялась оступиться, — но, оказавшись на ровной земле, бегом бросилась к освещенному дому. В гостиной она ненадолго обняла Лауру, чтобы ее успокоить, и потом сказала:

— Вот что мы сделаем. Я сейчас позвоню папе и выясню, что с ним случилось. Может, он заболел. А если он действительно заболел, мы сделаем все, что можем, чтобы помочь ему, пока он не поправится.

Она устроилась у телефона и стала набирать номер нью-йоркской квартиры Майкла, но, еще не набрав всех цифр, она уже боялась, что там его нет: он мог звонить Лауре откуда угодно — из любой телефонной будки, а их там миллион.

Но он сразу же снял трубку.

— А, Люси, — сказал он. — Я ведь знал, что ты перезвонишь. Я знал, что ты меня не бросишь. Слушай, ты можешь хотя бы минуту не бросать трубку? То есть ты можешь просто не бросать трубку хотя бы минуту?

— Майкл, — сказала она, — ты можешь мне

объяснить, что произошло?

— Что произошло, — повторил он, как будто от этого вопроса у него в голове что-то прояснялось. — Ну, я совсем не сплю уже, наверное, дней пять — нет, наверное, семь — хрен с ним, я не знаю, сколько дней. Я только все время вижу, как солнце поднимается над Седьмой авеню, а потом поворачиваюсь через полчаса, а там уже снова темная ночь. И я не знаю, когда я в последний раз отсюда выходил — может, неделю назад, а может, уже две или три недели прошло. Тут вся комната заставлена пакетами с мусором, пара штук уже перевернулась, и все высыпалось. Люси, теперь ты начинаешь понимать? Мне страшно. Мне страшно до жути, понимаешь? Мне страшно выйти за порог, пройти по улице, потому что стоит мне выйти, и я начинаю видеть всяких людей и разные вещи, которых там, бля, нет.

— Подожди, Майкл, послушай. У тебя есть друг, которому я могу позвонить? Кто-нибудь, кто смог бы прийти и как-то за тобой присмотреть?

— Ха, «друг», — сказал он. — Ты имеешь в виду подружку. Нет, нет никого. Только не пойми меня неправильно, лапочка: с тех пор как ты выкинула меня из дому, у меня этих подружек перебывало больше, чем я мог съесть. Господи боже, у меня

была пизда на завтрак, пизда на обед, пизда…

— Майкл, прекрати, — сказала она с нетерпением. — Слушай, давай я позвоню Биллу, ладно?

— …и пизда на ужин, — продолжал он. — И потом у меня еще оставалось сколько хочешь пёзд, чтобы ночью подкрепиться. Какому еще Биллу?

— Биллу Броку. Может, он сможет зайти к тебе и…

— Нет. Это исключено. Билла я сюда не впущу. За столько лет он уже совсем погряз в своем психоанализе, начнет тут еще меня анализировать. А проблема в том, что я, может, и сумасшедший, но не настолько сумасшедший. О господи, Люси, ну попытайся меня понять. Мне просто нужно поспать.

— Тогда, вероятно, Билл принесет тебе снотворного.

— Ах да, «вероятно». А вот скажи мне такую вещь, Люси: почему ты все время говоришь «вероятно» вместо «наверное», когда начинаешь изображать из себя нянюшку-денежку? У тебя всегда было примерно шесть разных способов говорить делано и притворно. Ты целиком готова поменяться, лишь бы соответствовать случаю. Я это сто лет назад заметил, еще в Кембридже, но думал, что уж из этого-то ты вырастешь. Но

ты так и не выросла, а теперь уж, наверное, и никогда не вырастешь. Это, наверное, оттого, что тебе, миллионерше, приходится жить среди обычных людей, потому что, я полагаю, ты думаешь, что тебе надо быть все время на сцене, да? Играть одну роль за другой, бля? Милостивая мать-заступница, сеющая благодать от щедрот своих? Вот именно эта херня, Люси, все эти годы дико меня утомляла. И знаешь, что еще? Почти все время, что мы были женаты, я был влюблен в Диану Мэйтленд. Ни разу я с ней не спал, ни разу даже близко к ней не подошел, но, боже ты мой, я бы за нее умер. Я, помню, все спрашивал себя, догадываешься ли ты, что со мной творится, но потом понял, что разницы нет, потому что ты, наверное, была влюблена в Пола, а если не в Пола — так в Тома Нельсона или в какую-нибудь романтическую абстракцию, которая окажется раз в двадцать девять сильнее и лучше меня. Знаешь, чем мы занимались, Люси? Ты и я? Мы всю жизнь томились и жаждали. Это же хуй знает что, а не жизнь — правда?

Она сказала, что лучше им сейчас прерваться, чтобы она могла позвонить Броку; потом, повесив трубке, она попыталась успокоить Лауру, которая все еще стояла рядом с круглыми от

страха глазами.

— Послушай меня, детка, все будет хорошо, — сказала она. — Вот увидишь. Обещай, что не будешь больше тревожиться, ладно?

— Теперь-то он хоть понятно говорил?

— Ну, поначалу было немножко путано, но, когда мы начали разговаривать, все стало понятно. Очень понятно.

Судя по голосу, ее звонок разбудил Билла Брока, и воображение сразу же нарисовало прикрытую простыней сонную девушку, лежащую рядом с ним, — Люси никогда не удавалось представить Билла без девушки.

— Ну конечно, Люси, — сказал он, когда она объяснила, в чем проблема. — Я сейчас к нему схожу, отнесу ему свои снотворные — они очень мягкие, но, может, помогут, — и я там с ним побуду, а потом с утра позвоню своему психоаналитику. Ну, я имею в виду, что этот мой психоаналитик — хороший и грамотный человек, он бы тебе понравился, ты бы ему доверилась, и я почти уверен, что он нам что-нибудь посоветует. А потом я тебе позвоню, когда будет возможность. Слушай, главное — не волнуйся. Ничего страшного не произошло. Такое бывает практически с каждым.

— Билл, не знаю, как тебя благодарить, — сказа-

ла она и прикусила губу, потому что многие годы недолюбливала этого человека.

— Ну что ты, дорогая, что ты, — сказал он. — Для этого друзья и существуют.

Не успела она положить трубку, как телефон зазвонил. Это был Майкл, и она решила, что его трясет от смеха, пока не поняла, что он плачет.

— …Люси, послушай, Люси, это все неправда, — говорил он, пытаясь овладеть своим голосом. — Про Диану Мэйтленд все неправда, и все остальное тоже неправда, понимаешь?

— Все в порядке, Майкл, — сказала она. — Билл уже идет к тебе. Он принесет какие-то таблетки и посидит там с тобой.

— Ладно, ты только послушай. Может, у меня уже не будет другого случая тебе об этом сказать, поэтому, ради бога, пожалуйста, не вешай трубку.

— Я не вешаю.

— Хорошо. Я хочу, чтобы ты это запомнила, Люси, и я думаю, это, наверное, мой последний шанс тебе это сказать. В моей жизни была только одна женщина. Только одна ослепительная, сказочная женщина…

— Ну да, это мило, — сказала она сухо, — только думаю, что первая версия мне нравится больше.

Он, казалось, ее не слышал.

— ...Помнишь, детка, Уэйр-стрит? Помнишь, какие мы оба были молодые и думали, что все на свете возможно, — как мы думали, что весь мир кругом останавливается, когда мы с тобой трахаемся?

— Майкл, мне кажется, что уже хватит, нет? — сказала она. — Сиди тихо, никуда не уходи, жди Билла.

Он ответил далеко не сразу, а когда ответил, было трудно поверить, что он только что плакал: голос его звучал жестко и безжизненно, как у солдата, когда он принимает приказ.

— Отлично. Вас понял. Намек ясен. — И он положил трубку.

Она отвела Лауру наверх и стала укладывать ее в постель с такой заботливостью, как будто ей было не десять с половиной лет, а четыре или пять.

И только когда она осталась одна и стала раздеваться у себя в комнате, Люси вспомнила, что чулки и нижнее белье так и остались валяться на полу в комнате у Джека Хэллорана.

После того как она ушла, Джек вполне мог встать, натянуть брюки и выглянуть наружу со словами:

— Джули, выпьешь со мной пива?

И эта стеснительная талантливая девушка вполне могла зайти и присесть рядом с ним на кровати, слушая, как он рассуждает о ее блестящем будущем. Она сказала бы, затаив дыхание, что прекрасно знает, что без его помощи она бы не «нашла» себя этим летом, а он бы настаивал, что это ее, и только ее достижение.

Конечно, он наверняка не стал бы набрасываться на нее прямо с порога — у Джека было непогрешимое чувство момента, — но, слушая ее, он почти наверняка достал бы из кармана ключ, подошел бы к двери еще раз и запер бы ее на ночь.

Билл Брок перезвонил утром, когда Лаура давно была в школе, и в его голосе слышались командирские интонации.

— Слушай, Люси, все будет хорошо, — сказал он. — С Майклом все в порядке, он в хороших руках, его лечат.

— Вот как? — сказала она. — Значит, твой доктор все-таки помог?

— Нет, это как раз не сработало. Давай я расскажу тебе, как все было, по порядку?

— Давай.

— Когда я зашел к нему вчера ночью, он ходил туда-сюда по квартире и беспрерывно что-то

говорил — какие-то навязчивые идеи. Время от времени ему удавалось минут пять выдавать нечто связное, а потом все снова разваливалось. Бред какой-то. Он то и дело вспоминал Диану Мэйтленд: говорил какие-то бессвязные обрывки про Диану Мэйтленд, и до меня дошло, что в его сознании я до сих пор с ней как-то связан. Понятно, да?

— Конечно.

— В квартире был страшный бардак. Люси, он, наверное, месяц мусор не выносил — я в жизни не видел столько окурков. Я постелил ему постель и заставил выпить таблетки, которые я принес, но они не помогли — я тебе говорил, что это очень мягкий препарат, — а через некоторое время он заладил, что хочет прогуляться. Я сначала пытался его отговорить, а потом подумал, что, может, это и неплохая идея: подумал, что, может, физическая нагрузка поможет ему заснуть. В итоге мы вышли и пошли по Седьмой авеню. Где-то до Четырнадцатой улицы все было в порядке: он был тихий, послушный, даже почти не разговаривал. А потом он вдруг впал в маниакальное состояние.

— В маниакальное состояние?

— Ну, у него был фантастический прилив энер-

гии, он то и дело от меня убегал, я не мог его контролировать. Он начал кидаться на проезжую часть, прямо под машины, как будто пытался покончить с собой, и я понял, что одному мне с этой ситуацией не справиться. Я подозвал полицейского и попросил его помочь — я знаю, Люси, что тебе это может не понравиться, но бывают ситуации, когда без полицейского не обойтись, — он вызвал наряд, и мы доставили его в Бельвю[49].

— Вот как!

— Слушай, Люси: мы все наслышаны по поводу Бельвю, и в первые дни, я думаю, ему там действительно придется несладко, но нужно помнить, что это вполне современная больница. Там консультируют лучшие психиатры Нью-Йорка, они свое дело знают. Я долго беседовал с врачом в приемном покое — он очень симпатичный, умный парень, только что окончил Йель, — жаль, что ты его не видела, потому что он меня по-настоящему обнадежил. Он сказал, что Майка там больше недели не продержат, ну максимум две, сказал, что он будет получать все самые лучшие

[49] Примечания: 49

Бельвю — старейшая государственная лечебница в США, основана в 1736 г. В середине XX в. особенно дурной славой пользовалось психиатрическое отделение этой больницы. Ричард Йейтс попал в Бельвю с первым маниакальным эпизодом в сентябре 1960 г.

лекарства, которые в частной клинике обошлись бы черт знает во сколько. И потом с утра я первым делом позвонил своему психоаналику, чтобы узнать его мнение, и он сказал, что, с его точки зрения, я все сделал правильно.

— Конечно, — сказала Люси. — То есть я уверена, что он и сам бы… Я уверена, что так оно, наверное, и есть.

— Так что буду держать тебя в курсе, ладно? Пойду туда, когда в отделении будут приемные часы, — узнаю, как он там, и все тебе расскажу.

Люси сказала, что это замечательно, и снова его поблагодарила. Она даже сказала: «Огромное тебе спасибо за помощь, Билл» и «Спасибо за все».

Но больше всего ей хотелось, чтобы он наконец замолчал.

Действительно, о Бельвю она была наслышана. Больных облачали в убогие пижамы и держали под замком в душных отделениях, где они весь день должны были толпой ходить босиком по грязному полу — доходить до стены, разворачиваться, идти к противоположной стене и потом обратно, — чтобы неповоротливым неграм, работавшим там санитарами, было удобнее за ними следить. Некоторые начинали кричать и ругаться, некоторые дрались, но наказание за все

нарушения было одинаковое: пациенту насильно кололи мощное успокоительное и запирали одного в обитой войлоком комнате.

Ей не составило труда представить, как Майкл, опустив голову, плетется вместе с другими в этом жутком параде или валяется, униженный, в палате на грязной подстилке, но она знала, что сам он никогда бы в это не поверил. Ничего подобного с ним произойти не могло, потому что он… ну просто потому, что он Майкл Дэвенпорт и ему нужно было всего лишь чуточку поспать.

Джек Хэллоран зашел за ней по дороге на репетицию и сразу же спросил:

— Так и в чем было дело вчера вечером? Зачем Лаура звонила?

— Ничего особенного. Она из-за чего-то расстроилась — наверное, просто устала сидеть одна, — и я решила с ней посидеть. Утром все было уже нормально.

Люси почти никогда не врала: ей казалось, что, солгав, человек перестает быть самим собой и превращается в кого-то другого. Но на этот раз говорить правду не имело смысла.

День обещал быть таким же жарким и безветренным, как и два предыдущих. Они спускались по подъездной дорожке Энн Блейк; Люси дожда-

лась, когда они дойдут до конца, и, убедившись, что вокруг никого нет, обратилась к Джеку с напускной улыбкой:

— Ну так что, как вы с Джули вчера посидели?

На лице у него отобразилось сначала настолько полное непонимание, а потом такое честное недоумение, что ей стало чуточку легче.

— Люси, ты, по-моему, с ума сошла, — сказал он.

— Может быть. Может, одной мысли о том, что вы лежите там с ней в этой чертовой кровати, довольно, чтобы свести меня с ума?

Они встали, повернувшись друг к другу, и он взял ее за плечи.

— Люси, давай без этого, — сказал он. — Господи, за какого же жлоба ты меня принимаешь! Неужели ты действительно думаешь, что стоит тебе выйти из комнаты, как я тут же приведу туда другую? Бог мой, это же какой-то французский фарс, какой-то пошлый анекдот!

Он перевел ее через пышущую жаром асфальтовую дорогу, и они пошли по другой стороне к театру.

— И, кроме того… — сказал он, обняв ее прямо на ходу. Волосы у него слегка растрепались, и упавший на лоб черный локон красиво покачи-

вался при каждом шаге. — Кроме того, я вовсе не хочу Джули Пирс. Какого черта я должен ее хотеть? Она какая-то слишком тощая, и груди вообще нет. Может, она и талантливая до жути, но мне кажется, крыша у нее слегка не на месте. Так что давай, дорогая, ты больше не будешь грузить меня всей этой безумной херней, и я спокойно начну работать…

— Прости меня, — сказала она. — Прости меня, Джек.

— Слушай, девочка, — нежно спросил он как-то ночью, несколько дней спустя, — ты не спишь?

— Нет.

— Ничего, если мы поднимемся на минуту и поговорим?

— Конечно.

Она знала, что он уже который час — а может, и который день — о чем-то думает, и радовалась, что теперь можно выяснить о чем.

— Хочешь пива?

— Не знаю. Пожалуй, выпью.

И он перешел к делу:

— Ты ведь играла когда-то на сцене, да? Еще в Гарварде? В пьесах своего мужа или в чем-то таком?

— Ну да, играла, — ответила она. — Только это

было чистое баловство. Я ничему особенному не училась.

— Ладно. Суть в том, что мне страшно хочется с тобой поработать, — сказал он. — Хотелось бы посмотреть, что у тебя выйдет, а то у меня сложилось ощущение, что может получиться очень даже неплохо.

И она собралась уже было отнекиваться и отшучиваться, но так и осталась сидеть не шелохнувшись, потому что в груди у нее медленно поднималось предвкушение счастья.

На закрытие сезона Джеку, как он объяснил, хотелось дать что-нибудь весомое. Он рассчитывал на спектакль такой силы, чтобы каждый, сидевший в последний вечер в Новом Тонапакском, запомнил его на всю оставшуюся жизнь. Он думал об этом все лето, но, когда понял, какую пьесу хочет ставить, засомневался, хватит ли у него актеров. Отсюда вопрос: видела ли она когда-нибудь «Трамвай „Желание“»?

— О боже! — сказала Люси.

Майкл Дэвенпорт, когда они только познакомились, пригласил ее на первую же бродвейскую

постановку[50]. Они поехали в Нью-Йорк в выходные, и она никогда не забудет, в каком восторженном ошеломлении он вышел из театра.

— Знаешь что, лапа? — сказал он тогда. — Это, бля, величайшая американская пьеса. О'Нил по сравнению с этим Уильямсом — пустое место.

Она прижалась к его руке и сказала, что пьеса гениальная, гениальная, абсолютно гениальная, — и месяц спустя они специально приехали из Бостона, чтобы еще раз ее посмотреть.

— …И проблема в том, что из Джули я этим летом выжал все, что можно, — продолжал Джек Холлоран. — Ее нервы меня слегка беспокоят. К тому же для Бланш она слишком молодая. Стеллу она, наверное, сыграла бы, но это тоже очень серьезная роль, так что, может, лучше отдать ее кому-нибудь еще. Но проблема-то все равно остается: кому играть Бланш? Вот я и подумал о тебе. Теперь подожди, послушай, — и он поднял руку, словно предупреждая ее возражения, — прежде чем ты откажешься, дорогая, дай мне объяснить, как обстоит дело. У нас куча времени; об этом можешь не волноваться. У нас целых две недели.

---

[50] Примечания: 50

Премьера «Трамвая „Желание“» состоялась в театре «Этель Барримор» на Бродвее 3 декабря 1947 г. Стэнли Ковальского играл Марлон Брандо, Бланш — Джессика Тэнди.

И он объяснил, что общие репетиции начнутся только через неделю, поэтому у них есть еще семь дней, чтобы, как он выразился, предварительно потренироваться. После рабочего дня, когда все разойдутся, они вдвоем будут приходить в театр, и он подробно разберет с ней всю ее роль, чтобы она в ней освоилась, и, когда начнутся общие репетиции, она будет чувствовать себя достаточно уверенно. Идет?

— Джек, безусловно, это для меня большая честь, — здесь ей пришлось украдкой взглянуть на него, чтобы убедиться, что слово «честь» не показалось ему идиотским, — и я с удовольствием попробую. Только обещай мне одну вещь. Если тебе покажется, что я не справляюсь, обещай мне сразу же об этом сказать, хорошо? Обещай, что скажешь, когда еще не поздно?

— Ну конечно; это я тебе обещаю. Слушай, Люси, как замечательно, что ты согласилась. У меня камень с души свалился.

Из-под кровати, где обычно хранилось пиво, он вытащил коробку с копиями текста. Ей надо было взять себе один экземпляр, прочитать его и разметить текст; для первой репетиции такой подготовки достаточно.

— А кто будет играть мужа? — спросила она. —

Как его там? Стэнли Ковальского?

— Это еще одна проблема, — сказал он. — У меня есть два-три актера, которые с этой ролью, наверное, справились бы, но я сам так давно не играл, скучаю по сцене — и я подумал: черт с ним, это же последняя постановка! Так что Ковальского буду играть я.

Глава третья

— «А, Стэнли! — читала Люси. — Вот и я, прямо из ванны, надушилась, словно заново на свет родилась»[51].

Но вместо того чтобы произнести следующую реплику голосом Стэнли Ковальского в присущей ему зловещей манере, Джек Хэллоран вышел из роли и опять превратился в ментора.

— Подожди, дорогая, — сказал он. — Дай я тебе объясню. Мы знаем, что публика должна с самого начала подозревать, что Бланш может оказаться сумасшедшей, — иначе никто не поверил бы финальной сцене. Но я боюсь, ты слишком быстро сводишь ее с ума. Если ты уже здесь будешь выходить с таким истеричным лицом и с этой истеричной интонацией, пьеса лишится всей своей напряженности. Ты как бы сдаешь всю постановку, понимаешь?

— Джек, конечно, я все понимаю, — сказала она. — Я просто никакой истерики не заметила, вот и все.

---

[51] Примечания: 51

Здесь и далее цитаты из «Трамвая „Желание“» даются в переводе В. Неделина.

— Ну, может, я не очень понятно выразился, но идея такая. И вот что еще. Мы знаем, что Бланш ненавидит Стэнли; он ей отвратителен во всех своих проявлениях — с этим у тебя проблем нет. Но в глубине души — невольно, бессознательно — он ее привлекает. Явно это не выражается, но это должно там присутствовать, если мы хотим раскрутить это позже. Понимаю, что ты все это знаешь, детка, — просто у тебя пока не получается это показать. Смотри, следующие несколько реплик в этом отношении очень важные — когда она просит его застегнуть пуговицы на спине. Здесь нужен не просто издевательский флирт, как ты только что прочитала, — здесь должен присутствовать как минимум оттенок, пусть едва уловимый, реального флирта, реального заигрывания.

И Люси оставалось только сказать ему, что она сейчас расплачется. Они тренировались уже в третий или четвертый раз, и ей казалось, что уверенность у нее не только не прибавляется, а становится с каждым днем все меньше и меньше. Один запах сцены уже внушал ей ужас.

— Как по-вашему, — спрашивала она несколькими строчками ниже, в той же сцене, — могла я слыть… неотразимой?

— Выглядите-то вы — блеск.

— Именно на комплимент я и напрашивалась, Стэнли.

— Ерунда!

— Что — ерунда?

— Комплименты женщинам насчет их внешности. — (Джек чувствовал все нюансы этой роли; он уже играл когда-то Стэнли Ковальского в летнем театре.) — Не встречал еще такой, что сама бы не знала, красива или нет, и нуждалась бы в подсказке; а есть и такие, что вообще полагаются только на собственное мнение, что ты им ни говори. Было время, гулял я с одной такой красоткой. И вот она мне все: «Ах, я так романтична, ах, во мне столько обаяния». А я ей: «Ну а дальше?»

— А она что?

— Ничего. Заткнулась как миленькая.

— На том и конец роману?

— Разговору конец, только и всего.

— Джек, мне кажется, у меня ничего не выйдет, — сказала она, когда они в последний вечер поднимались по подъездной дороге в ярких оранжевых лучах заката. — Я наверняка не смогу…

— Слушай, я же тебе обещал, так ведь? — И он обнял ее за талию, что неизменно доставляло ей чувство уверенности и собственной важно-

сти. — Я же обещал, что, если роль у тебя не будет получаться, я тебе об этом скажу. Не волнуйся, все будет нормально. Сейчас, пожалуй, кое-какие шероховатости остаются, но ты потерпи. Завтра на сцене будет Джули и все остальные, и ты увидишь, что по-настоящему репетировать — совсем другое дело. Пьеса сама тебя несет, каждый играет лучше, чем мог себе представить, а к премьере мы вообще все вылижем.

— Значит, Стеллу будет играть Джули?

— Ну, я попытался сначала ее отговорить — ты же знаешь, как она устала, — но она настояла, сказала, что работать ей лучше, чем отдыхать. Я сделал вид, что мне все это не слишком нравится, потому что я действительно обеспокоен ее состоянием, но в конце концов пришлось согласиться. Разумеется, я рад, что она будет участвовать. Такая актриса, как Джули, вытянет весь спектакль голыми руками.

В тот же вечер снова проявился Майкл — он позвонил как раз перед обедом. Трубку взяла Лаура: «Привет, папа!» — но после нескольких минут беззаботной болтовни протянула трубку Люси, прикрыв рукой микрофон:

— Мам, он хочет с тобой поговорить. Вроде ему гораздо лучше.

— Что ж, отлично, — сказала Люси. — А теперь лучше тебе пойти наверх, дорогая, — вдруг нам с папой потребуется обсудить что-нибудь наедине.

— Что?

— Ну, не знаю. Как тебе сказать? Разные взрослые вещи. Беги наверх, хорошо? — И только после этого она взяла трубку и сказала: — Привет, Майкл. Очень рада, что тебя выпустили из этого жуткого места.

— Хорошо, — сказал он. — Спасибо. Только я не уверен, что ты представляешь себе, на что похоже это место.

— Мне кажется, представляю. Думаю, в Нью-Йорке нет человека, который не слышал бы, что такое Бельвю.

— Может, конечно, и нет, только Бельвю раз в двадцать девять хуже того, что можно представить по слухам. Впрочем, это уже не важно; меня выпустили. Весь истерт мылом для борьбы со вшами, весь дезинсектирован, и теперь я, как они выражаются, амбулаторный больной — это нечто вроде условно-досрочного освобождения. Должен теперь ходить туда раз в неделю, чтобы «лечиться» у какого-то надутого засранца-гватемальца в фиолетовом костюме. И еще они мне дали таблетки. Ты в жизни столько таблеток не

видела, сколько они мне дали. Чудесные таблетки, с ними голова работает, даже если мозг уже умер.

Она знала, что нельзя давать ему продолжать в том же тоне, — он разговаривал так, как будто она до сих пор была его женой, — но не знала, как его остановить.

— Но хуже всего, — сказал он, — что теперь это все будет у меня в личном деле.

— В «личном деле»? В каком еще личном деле? — И она тут же пожалела, что спросила.

— О боже, Люси, не тупи. В Америке на всех заводится личное дело: ЦРУ — это только верхушка айсберга, — и от них не скрыться. И не убежать. Легко представить: начинаться мое личное дело будет вполне достойно — Морристаун, летные войска, Гарвард: потом будет сказано про тебя, про Лауру, про «Мир торговых сетей», про все мои книжки и публикации — и даже развод, наверное, будет смотреться там вполне нормально, потому что такие вещи никого больше не смущают. А потом вдруг — бах! «Психотический эпизод, август шестидесятого». Там еще будет стоять подпись и личный номер полицейского, потому что привезли меня туда копы, и подпись какого-нибудь привратника из Бельвю; а потом

— бог мой! — будет идти подпись Уильяма, бля, Брока, обеспокоенного гражданина, стража общественного здоровья и морали, потому что именно этот сукин сын меня туда и упек. Люси, разве ты не понимаешь, о чем я? Я же теперь официально псих. И останусь этим психом на всю оставшуюся жизнь.

— Мне кажется, ты так и не отдохнул, — сказала она. — Не думаю, что ты сам веришь в то, что несешь.

— Поспорим? — спросил он. — Хочешь, поспорим?

— Я сейчас положу трубку, — сказала она, — пока Лаура снова не начала нервничать. Ей все это нелегко далось. Но сначала я вот что тебе скажу. Больше повторять не буду, так что слушай внимательно. С сегодняшнего дня, когда будешь звонить Лауре, не проси ее передать мне трубку. Потому что я трубку не возьму, и Лаура только лишний раз разнервничается. Ты меня понял?

— Но есть у мужчины с женщиной свои тайны — тайны двоих в темноте, — говорила Джули Пирс в роли Стеллы, — и после все остальное не столь уж важно.

— Это называется грубой похотью, — отвечала Люси Дэвенпорт в роли Бланш. — Да, да, именно:

«Желание»! — название того самого дребезжащего трамвая, громыхающего в вашем квартале с одной тесной улочки на другую…

— Будто бы тебе самой так ни разу и не случалось прокатиться в этом трамвае!

— Он-то и завез меня сюда, — сказала Люси. — Где я незваная гостья, где оставаться — позор.

— Но тогда ведь этот твой тон превосходства, пожалуй, не совсем уместен, ты не находишь?

— Нет, Стелла, я не заношусь и не считаю себя лучше других. Можешь мне верить. Но вот как я представляю себе: да, с такими сходятся — на день, на два, на три… пока дьявол сидит в тебе. Но жить с таким! Иметь от него ребенка!..

— Я тебе уже говорила, что люблю его.

— Тогда я просто трепещу. Мне страшно за тебя… Ведет себя как скотина, а повадки — зверя! Ест как животное, ходит как животное, изъясняется как животное! Есть в нем даже что-то еще недочеловеческое… Да, человек-обезьяна. Тысячи и тысячи лет прошли мимо него, и вот он, Стэнли Ковальский, — живая реликвия каменного века! Приносящий домой сырое мясо, после того как убивал в джунглях. А ты — здесь, поджидаешь…

— Отлично! — крикнул Джек Холлоран. — Тут и остановимся. Завтра начнем с пятой картины.

Эй, Джули!

— Да, Джек?

— У тебя отлично получается.

А Люси он не сказал ничего, даже когда они остались вдвоем и устало побрели вверх по разбитой подъездной дороге. И за талию он ее тоже не обнял.

«Ну так что, ты в итоге прошел?» — спрашивала Нэнси Смит своего брата. А он ей ответил: «Нет, но это ничего не меняет; в конце концов они нарисовали всем сколько нужно очков, так что прошли все».

В тот вечер они довольно долго сидели, не раздеваясь, у Джека на кровати: оба, казалось, ждали, что другой начнет раздеваться первым.

— Знаешь что? — сказал Джек. — Ты бы многому могла научиться, если бы просто последила за тем, как работает Джули.

— Да? А что ты имеешь в виду?

— Да все на свете. Посмотри, как она играет. Посмотри, как она чувствует момент. Она и на полтакта никогда не собьется. Обрати внимание, как она понимает сцену. Она никогда не теряется на сцене, кроме тех, конечно, моментов, когда ей требуется быть потерянной по тексту; тогда уж она так потеряется, что дальше некуда.

Понимаешь, такие актрисы встречаются раз в… ну, я не знаю — очень редко встречаются. Она настоящая.

«А я нет, — хотела сказать Люси. — И никогда не буду, и ты это прекрасно знаешь — тебе просто надо было использовать меня в этой пьесе. Ты мной просто пользуешься, и я тебя ненавижу. Ненавижу». Но вместо этого она сказала:

— Хорошо, я тогда постараюсь обращать на нее больше внимания, хотя времени осталось мало.

Но времени, похоже, не осталось совсем — дни таяли один за другим, и каждый раз, вплоть до генеральной репетиции, Джек продолжал ловить ее на истеричных интонациях и выражениях лица.

— Нет, дорогая, — говорил он, быстро выходя из образа Стэнли Ковальского. — Все равно здесь у тебя резкость, равновесия все равно нет. Постарайся дать чуть больше самообладания в этой реплике. Придется постараться, Люси. Надо это делать с тем же упорством, с каким борется за самообладание Бланш Дюбуа. Согласна? Ну хорошо, давай еще раз попробуем.

Но в день премьеры, за пару часов до начала, он пришел к ней домой и поцеловал ее с таким видом, как будто предстоящий успех спектакля

был делом давно решенным.

— Знаешь, что мы сделаем? — сказал он. — Мы с тобой? — И он церемонно вытащил из бумажного пакета бутылку бурбона. — Мы выпьем. Думаю, мы оба это заслужили, как ты считаешь?

Может, подействовал виски, а может, исполнилось наконец обещание Джека, и пьеса сама ее понесла, но, так или иначе, Люси отыграла премьерный спектакль с неожиданной для себя уверенностью. Она почти не сомневалась, что истерические интонации появились у нее не раньше, чем следует, знала, что ей удалось дать нужный оттенок реального флирта в коварной сцене со Стэнли в начале пьесы, и она не могла не заметить — пусть даже и краем глаза, — насколько тихо и скромно играла на ее фоне Джули Пирс. В конце концов, у Джули второстепенная роль: если кому-то и предстояло вытянуть весь этот спектакль голыми руками, то это могла быть только сама Люси Дэвенпорт.

Когда напряжение спадало, например когда по тексту ей нужно было казаться потерянной, Люси ловила себя на том, что пытается высмотреть, не сидят ли в зале Нельсоны или Мэйтленды, а быть может, и те и другие сразу. Каждый раз она старалась как можно скорее избавиться от этих мыслей

— настоящая актриса никогда не позволит себе отвлекаться на такие вещи, — но желание разглядеть их среди публики от этого не проходило. Она едва ли не физически ощущала их присутствие: две пары, сидящие в разных концах зала, потому что между собой они не знакомы, — ее «друзья», люди, чья жизнь изменила ее собственную. Пусть все эти годы они испытывали по отношению к ней только жалость: несчастная жена, богатая дурочка, — зато теперь она им покажет.

Ей было абсолютно ясно, что она все делает правильно, и никто не мог отрицать, что она делает все это сама. Именно Люси Дэвенпорт, и никто другой, довела Бланш Дюбуа от неврастении и самообмана до ощущения настоящего ужаса, и в финале именно Люси Дэвенпорт свела ее наконец с ума, да еще так, что в это нельзя было не поверить, к этому невозможно было остаться равнодушным, этого нельзя было забыть.

Гром аплодисментов перешел в продолжительную овацию, которая не стихала ни на минуту, пока актеры второго плана собирались у рампы и шли по очереди кланяться. Люси расплакалась, но, когда подошла их с Джеком очередь выйти вдвоем под занавес, ей удалось собраться — удалось изобразить на лице приличествующую

случаю улыбку, учтивую и скромную. Он твердо взял ее за руку, будто хотел показать всей этой публике, что они и в самом деле влюблены друг в друга, и зал взорвался новыми аплодисментами, которые не утихали и после того, как занавес опустился в последний раз, — казалось, людям хотелось еще раз увидеть, как эти двое стоят на сцене, взявшись за руки.

Но Джек уже торопливо вел ее сквозь суету и путаницу закулисья.

— Все было хорошо, Люси, — сказал он, предусмотрительно направив ее в обход высокой стремянки, преграждавшей им выход. — Ты хорошо сыграла.

И больше он ничего не сказал, пока они не перешли через дорогу и не зашагали вверх, едва разбирая дорогу в мерцании его фонарика.

— Были кое-какие проблемы, — начал он. — Точнее, только одна.

— Джек, если ты опять начнешь про «истерику», я не смогу…

— Нет, тут все в порядке. Сегодня ты с этим прекрасно справилась. Речь не об отдельных недочетах — речь о более общих вещах. И более важных.

Он обнимал ее за талию, но это не успокаи-

вало.

— Я вот к чему клоню, — продолжал он. — Весь спектакль сегодня ты играла слишком… театрально. Ты играла, как будто никого из нас на сцене вообще не было. Ты как будто всю дорогу старалась переиграть всех остальных, и ничего хорошего в этом нет, потому что это видно. Публика такие вещи замечает.

— Вот как!

Наверное, не первый раз в жизни она чувствовала, как стыд пробирает ее насквозь, от кожи до кишок, — такое наверняка случалось в школе или в колледже или даже годы спустя, — но теперь ей казалось, что раньше она вообще не понимала, что это такое. Теперь ей было по-настоящему стыдно.

— Вот как! — снова сказала она и потом добавила тихо: — Значит, я выставила себя на посмешище?

— Да нет же, Люси, перестань! Ничего такого я в виду не имел, — сказал он. — С начинающими актерами это сплошь и рядом бывает. Присутствие зрителей опьяняет, человек хочет быть звездой, понимаешь, а работать с другими актерами он еще как следует не научился. Просто не нужно забывать, милая, что театр — коллективное ис-

кусство. Слушай, давай зайдем к тебе и выпьем еще этого отличного виски. Это тебя подбодрит.

Они устроились в гостиной и провели за бутылкой полчаса, но стыд так никуда и не делся.

Люси не знала, справится ли она со своим голосом, но тем не менее заговорила.

— И я так понимаю, больше всех по поводу того, что я переигрываю, возражала Джули Пирс? — спросила она.

— Не, Джули — профессионал, — сказал он. — Профессионалы такие вещи понимают. И вообще, дорогая, никто ни по какому поводу не «возражал». Ты нам всем нравишься, мы все тобой гордимся. Ты появилась ниоткуда, выучила крайне трудную роль и сыграла ее. Люси, тебе никогда не приходило в голову, что люди, самые обычные люди лучше, чем ты о них думаешь? Ты, наверное, даже представить не можешь, насколько они хорошие.

Но Люси не слушала — она думала о людях не самых обычных: «Ну конечно она переигрывала, — должно быть, говорил сейчас Том Нельсон своей жене, пока они укладывались спать. — Както неловко все это выглядело. Хотя, наверное, хорошо, что она нашла наконец чем заняться. Хорошо, что она нашла себе этого… как его зовут?

Парня, который все это организовал?»

А тем временем в другом доме, в совсем другой обстановке Пол Мэйтленд наверняка приглаживал усы и спрашивал со своей дьявольской улыбочкой: «Ну и как тебе Люси?»

И Пегги наверняка отвечала: «Фу!», «Деревня!», «Институт благородных девиц!» — или как там еще принято выражать крайнее презрение в богемных кругах, где ее научили носить широкие юбки и дружить с цыганами.

— Давай я тебя немного сориентирую по поводу завтрашнего спектакля, — предложил Джек.

— Пожалуйста, не надо. На сегодня с меня хватит.

— Да ладно, Люси! Я, возможно, преувеличил масштабы трагедии. Если бы я знал, что это на тебя так подействует, я вообще ничего не стал бы говорить. Хотя послушай. Можно, я скажу тебе еще одну вещь? — Он подошел к ней, взял ее за подбородок и немного приподнял его, заставив ее смотреть прямо себе в лицо — удивительно красивое лицо. — Это все ничего не значит, — сказал он и подмигнул. — Ты поняла? Вообще ничего не значит. Это всего лишь дурацкий летний театрик, о котором в целом свете никто не слышал. Ясно? — Он отпустил ее и сказал: — Ну что, есть

желание… идти со мной в общежитие?

И по мелькнувшей в его голосе нерешительности она сразу же догадалась, что он не расстроится, если она откажется.

— Нет, Джек. Не сегодня.

— Ну тогда пока, — сказал он. — Спокойной ночи.

Когда она вышла на сцену на следующий день, все ее тщание было направлено на то, чтобы избежать даже намека на желание казаться звездой. Все усилия она приложила к тому, чтобы не обделить вниманием исполнителей даже самых мелких ролей, и, когда она оставалась на сцене вдвоем с Джули Пирс, она едва справлялась с желанием испариться, чтобы предоставить Джули свободу выжать из этой сцены все, что той хотелось бы выжать. «Все это, — твердила она себе, — скоро кончится».

Но когда она вышла за кулисы в конце третьей картины, ее остановил Джек Хэллоран, и его умоляющий взгляд никак не вязался с рубашкой для боулинга, в которую только что облачился Стэнли Ковальский.

— Послушай, дорогая, — сказал он. — Только не злись на меня. Просто послушай. Теперь ты делаешь все наоборот. Тебя там вообще не заметно,

ты все время где-то вдалеке. В первых картинах это пока что сходит нам с рук, но тебе пора с этим завязывать, Люси, если ты не хочешь провалить весь спектакль. Ты меня поняла?

И она прекрасно его поняла. Он режиссер: до этого он ни разу не ошибался, и сегодня она целый день жалела, что не пошла прошлой ночью к нему в общежитие.

Нужно было просто соблюдать равновесие — играть, но не переигрывать, — и Люси была почти уверена, что в оставшейся части второго представления она этого равновесия достигла.

Но потом ей пришлось думать, как играть третье, четвертое и пятое представления, и порой занавес в последнем акте опускался раньше, чем она успевала решить, удалось ли ей и в этот раз добиться нужного равновесия. Какие-то представления были лучше, какие-то — хуже, это она знала, но к концу недели она уже не могла в них разобраться; она забыла, какие были какими.

Когда все закончилось, отчетливее всего она помнила, как они с Джеком выходили на поклон в финале последнего представления и как они в последний раз держались за руки на глазах у всего зала. Она никогда не забудет, как она говорила себе, что надо радоваться этим аплодисментам

— стоять там и радоваться, сколько бы они ни продолжались, — потому что это никогда больше не повторится.

В тот вечер Джек сказал ей за кулисами, что она замечательно сыграла, — больше сказать ему было нечего. Потом он добавил:

— Да, слушай, сегодня вечером ребята устраивают небольшую вечеринку в общежитии. Ты сможешь прийти? Скажем, примерно через час?

— Конечно.

— Ну и отлично… Смотри, я должен сейчас задержаться, потому что мне надо помочь им все это демонтировать. Возьмешь мой фонарик?

— Нет, я так.

И она заверила его, не без иронии, что возвращаться одной в темноте — привычное для нее дело.

Вечеринка, как она и предполагала, ничего особенного не представляла. Ей показалось, что Джек был рад ее видеть, Джули Пирс — тоже; впрочем, в этой разношерстной компании, которую она уже привыкла называть про себя «ребятами», ее приходу обрадовались почти все — некоторые даже подходили и, осторожно перекладывая банку пива или бумажный стаканчик с вином из одной руки в другую, говорили, как приятно

им было с ней познакомиться. Люси отвечала на комплименты, и, судя по тому, как звучал ее голос, отвечала неплохо; она держалась.

Только она едва не умирала от усталости. Ей хотелось уйти домой и лечь спать — в это проклятое лето ей так не хватало тишины и одиночества, — но она знала, что люди могут обидеться, если она уйдет слишком рано.

Примерно с полчаса она простояла в полутемной части комнаты, наблюдая за тихим разговором, который вели между собой Джек и Джули. Понятно, им было что обсудить: у Джули не за горами было прослушивание в Нью-Йорке, Джек тоже туда собирался — сначала искать квартиру, а потом и работу. («Я стараюсь проводить в Нью-Йорке как можно больше времени, — объяснил он однажды, — по тому что театр, сама понимаешь, делается только там».)

Но, поняв, что она старается не смотреть, как они разговаривают, — что она обводит глазами всю комнату и только потом позволяет себе быстро и едва ли не украдкой взглянуть на Джули и Джека, — Люси решила, что ей пора уходить.

Она обошла всех, кто проявил к ней симпатию, попрощалась и пожелала удачи; трое или четверо из них даже поцеловали ее в щеку. Потом она

подошла к Джеку, который сказал: «Завтра позвоню, ладно?» — и к Джули Пирс — та сообщила, что Люси сыграла «просто замечательно».

На следующее утро она поехала на машине в Уайт-Плейнс — во всей округе только там имелись приличные универмаги — и купила два одинаковых, очень красивых чемодана из темной кожи по сто пятьдесят долларов за штуку.

Дома она спрятала их в шкафу у себя в спальне — подальше от Лауры, которая наверняка стала бы задавать лишние вопросы, — и села в гостиной ждать, когда позвонит Джек.

Услышав звонок, она вскочила, чтобы поднять трубку, но это была Пэт Нельсон:

— Люси? Всю неделю пытаюсь до тебя дозвониться, но тебя все время нет дома. Слушай, нам очень понравился спектакль. Ты отлично сыграла.

— Что ж, спасибо, Пэт, ты… очень добра.

— И слушай, Люси… — Пэт понизила голос до хриплого шепота, каким сообщают обычно девичьи секреты. — Этот твой Джек Хэллоран очень даже ничего. Совершенно замечательный. Приводи его как-нибудь в гости.

Мэйтленды так и не позвонили; было глупо предполагать, решила Люси, что они станут рас-

трачивать свой жалкий плотницкий заработок, не гарантированный даже профсоюзными соглашениями, на билеты в театр — и уж тем более в дурацкий летний театрик, о котором в целом свете никто не слышал.

Вечером она, стоя у окна, наблюдала беспорядочную процессию участников Нового театра, отправлявшихся в долгий пеший поход к железнодорожной станции. Издалека они и вправду казались ребятами — мальчики и девочки со всех концов страны с дешевыми сумками в руках и армейскими мешками за спиной, храбрые служители искусства, которые еще долго будут разъезжать по свету, пока не обнаружится, как минимум для большинства из них, что эти путешествия никуда не ведут.

Джули Пирс среди них не было, впрочем, этого никто и не ждал. Наверняка она решила остаться еще на пару дней, чтобы дать отдых своим знаменитым нервам и собраться с силами, которые ей еще понадобятся для настоящей театральной карьеры.

Уже темнело, когда телефон зазвонил снова.

— Люси? Это Гарольд Смит? — (Есть люди, которые всегда представляются с вопросительной интонацией, как будто боятся, что люди не счита-

ют их заслуживающими утвердительной.) — Не знаю, как тебе передать, — начал он, — потому что я еще не оправился от впечатления, но мы с Нэнси были потрясены. Ты сыграла изумительно, непостижимо.

— Очень мило с твоей стороны, Гарольд.

— Что за проклятье, — продолжал он, — годами жить по соседству с человеком, дружить и все такое, но так и не знать, что это за человек! Нет, слушай, я так и знал, что буду говорить какую-то ерунду; на самом деле мне просто хочется, чтобы ты почувствовала, как мы восхищены, Люси. И как мы тебе благодарны. За те прекрасные впечатления, что ты нам доставила.

Она сказала, что уже давно не слышала ни от кого таких приятных слов, а потом робко спросила, на каком представлении они были.

— Мы ходили два раза — на первое, а потом на предпоследнее. Не буду даже их сравнивать, потому что оба были потрясающие, оба гениальные.

— Ну, на самом деле, — сказала она, — мне сказали, что на первом спектакле я слегка переигрывала. Сказали, что я будто бы поставила всех в неудобное положение, потому что пыталась казаться звездой… что-то в этом роде.

— Ерунда какая, — сказал он с нетерпением. —

Полная ерунда. Тот, кто тебе это сказал, вообще ничего не понимает. Потому что слушай. Потому что ты царила на этой сцене. Схватила всех за горло и держала весь спектакль. Ты и была звездой. И вот что я еще хотел сказать: я по части всхлипов не силен, но под занавес даже я рыдал, как маленький засранец. И Нэнси тоже. Да и вообще, Люси, для того весь этот театр и существует, разве нет?

Ее хватило на то, чтобы приготовить нормальный ужин, но, когда они сели за стол, ей оставалось только надеяться, что Лаура не заметит, что Люси почти ничего не ест.

Был уже девятый час, когда Джек наконец позвонил.

— Дорогая, сегодня не могу позвать тебя в общежитие, потому что должен разгрести все счета, — сказал он. — Хорошо, если до утра справлюсь. Видишь, мне надо закрыть все финансовые вопросы, а я все лето этим не занимался. С этой стороной шоу-бизнеса я всегда был не в ладах.

Может, он был хороший актер, может быть даже, актер Божьей милостью, но сейчас и ребенок догадался бы по его голосу, что он врет.

Почти весь следующий день она ходила по дому, нервно прижав к губам костяшки паль-

цев, — повторяя единственный жест Бланш Дюбуа, ясно прописанный в авторских ремарках пьесы, которую она знала наизусть.

— Все еще по уши в бумагах, — сообщил Джек по телефону ближе к вечеру, и она хотела сказать: «Слушай, давай уже оставим друг друга в покое. Забудь все это, возвращайся туда, откуда пришел, и оставь меня в покое». Но он добавил: — Ничего, если я зайду к тебе выпить завтра вечером? Скажем, часа в четыре?

— Заходи, конечно, — сказала она. — Мне будет приятно. У меня кое-что для тебя есть.

— У тебя что-то есть для меня? Что?

— Не стану говорить. Пусть это будет сюрприз.

После обеда Лаура, хихикая и перешептываясь, ушла куда-то на весь вечер с сестрами Смит, и Люси была ей за это благодарна; и все же, когда она робко вошла в гостиную с чемоданами и поднесла их к креслу, в котором сидел Джек, Люси пожалела, что Лаура не видит его изумления: он сидел с круглыми от восторга глазами, как маленький ребенок в рождественское утро.

— Ни хрена себе! — прошептал он. — Ни хрена себе, Люси! Ничего прекраснее я в жизни не видел.

Она знала, что Лауре это понравилось бы.

— Я просто подумала, что они тебе пригодятся, — сказала она. — Ты же много ездишь.

— «Пригодятся», — повторил он. — Знаешь что? Всю жизнь, сколько себя помню, я хотел такие чемоданы.

Он поставил стакан на стол, нагнулся и расстегнул застежки на одном из чемоданов, чтобы открыть его и тщательно осмотреть внутренности.

— Встроенные вешалки для пиджаков, все на месте, — объявил он. — Бог мой, ты только посмотри на все эти отделения! Люси, я даже не знаю… даже не знаю, как тебя благодарить.

Одно из неудобств, связанных с тем, что ты богат, — и Люси всю жизнь это знала — состоит в том, что, когда ты даришь дорогие подарки, люди нередко демонстрируют преувеличенную радость. Виной тому смущение, потому что взамен они не могут предложить ничего подобного; в таких ситуациях она всегда чувствовала себя неловко, что, впрочем, не мешало ей вновь и вновь совершать ту же самую ошибку.

Когда она принесла новую порцию виски и снова села в стоявшее напротив него кресло, выяснилось, что говорить им друг с другом особенно не о чем. Похоже, их не хватало даже на то,

чтобы смотреть друг другу в глаза, — во всяком случае, отваживались они на это нечасто, как будто боялись обнаружить на лице собеседника соответствующую обстоятельствам приятную улыбку.

— Так когда ты уезжаешь? — спросила она через некоторое время.

— Завтра днем, наверное.

— Думаешь, доедет твоя машина до города?

— Ну разумеется. Раз сюда доехала, то и обратно доедет. Нет, теперь самое страшное — поиски квартиры. Это ежегодное развлечение, если хочешь жить в Нью-Йорке. Впрочем, каждый раз что-то находится, и к зиме у меня всегда есть какая-нибудь норка.

— А в этом году она будет особенно прекрасной, — сказала она, — потому что с тобой в этой норке будет жить Джули Пирс.

Выражение лица выдало его с головой. И он, очевидно, сразу же понял, что скрываться дальше смысла уже не имеет.

— Ну и что в этом такого? — спросил он. — Почему я не должен этого делать?

— Если мне не изменяет память, — начала Люси, — она какая-то слишком тощая и груди у нее вообще нет. Может, она и талантливая до жути,

но крыша у нее слегка не на месте.

— Люси, это безвкусно, — сказал он, когда она договорила. — Я ожидал, что у женщин из твоего класса больше вкуса. Я думал, у вас это от рождения.

— Ага, а вам что дается от рождения? Безграничная тяга к похоти и предательству, наверное, а также изощренное умение причинять другим бессмысленную боль. Так ведь?

— Нет. Нам дается инстинкт выживания, и большинство из нас очень быстро понимают, что все остальное в этом мире значения не имеет. — Потом он добавил: — О господи, Люси, это маразм. Что мы как актеры какие-то! Слушай, разве есть какая-то особая причина, по которой мы с тобой не можем расстаться друзьями?

— Мне часто приходило в голову, — сказала она, — что «друзья» — это, вероятно, самое предательское слово в языке. Думаю, Джек, лучше тебе убраться отсюда прямо сейчас, хорошо?

Но самым неприятным, причем, похоже, для обоих, было то, что уходить ему пришлось с новыми чемоданами — по одному в каждой руке.

На следующее утро, когда она наводила порядок на кухне, безуспешно пытаясь забыть о нем, он появился у нее на пороге точно так же,

как в первый раз: поразительно красивый молодой человек с большими пальцами в карманах джинсов.

Когда она впустила его в кухню, он сказал:

— Казимир Миклашевич.

— Что?

— Казимир Миклашевич. Это мое настоящее имя. Написать тебе?

— Нет, — сказала она. — В этом нет необходимости. Для меня ты навсегда останешься Стэнли Ковальским.

Он посмотрел на нее с изумлением.

— Неплохо, Люси, — сказал он. — Прекрасная реплика под занавес. Мне и крыть то нечем. Ладно, все равно: всего тебе доброго! — И он исчез так же внезапно, как возник.

Чуть позже, из окна в гостиной, она увидела, как нос его машины появился из-за деревьев у дальнего конца общежития. Ветровое стекло было залито солнцем, и она быстро отвернулась, присела на корточки и обеими руками закрыла глаза: ей не хотелось видеть сидящую рядом с ним Джули Пирс.

Еще позже, когда она упала на кровать, отдавшись наконец рыданиям, которые Теннесси Уильямс называл «сладкими», она пожалела, что

не дала ему записать его настоящее имя. Казимир — как? Казимир — кто? Теперь-то она знала, что ее тонкая финальная реплика про Стэнли Ковальского была не просто дешевой и злобной — хуже, гораздо хуже. Это была ложь, потому что навсегда, навсегда он останется для нее Джеком Хэллораном.

Глава четвертая

Когда Люси решила наконец, куда ей ехать, ехать оказалось совсем недалеко. Она нашла удобный добротный дом в северной части Тонапака, почти на границе с Кингсли, и сразу же договорилась о покупке. Столько лет подряд, вслух и про себя, она говорила только об аренде, что уже сам поход в банк, где она оформляла покупку, казался отважным начинанием.

В новом доме ее устраивало абсолютно все. Он был высокий, он был широкий, но при этом не слишком большой; он был обустроенный. Высокие кусты и деревья закрывали его со всех сторон от соседей, и это ей тоже нравилось. Но больше всего ей нравилось, что от Нельсонов ее теперь отделял лишь короткий отрезок плавно изгибающейся асфальтированной дороги. Теперь она могла зайти к ним, когда ей захочется, — или Нельсоны могли зайти к ней. Летними вечерами по этой пятнистой от теней дороги могли прогуливаться целые толпы нельсоновских друзей — со смехом, с выпивкой в руках, с криками: «А где же Люси? Давайте позовем Люси!» — а следовательно, возможности для новых романов были

почти неисчерпаемы.

Мэйтленды с переездом несколько отдалялись, но к тому времени она перестала считать их близкими и в переносном смысле. Если им так нравилось упорствовать в своей бедности — если Пол был и впредь намерен решительно избегать Нельсонов и все блестящие возможности, которые могли открыться посредством нельсоновских вечеринок, — то, быть может, разумнее было просто позабыть о них.

Она знала, что Лаура будет скучать по сестрам Смит, а может, и по диким просторам старого поместья, но она пообещала привозить ее туда, когда ей того захочется. С практической же стороны, как объясняла Люси по телефону своей матери и прочим недоумевавшим, огромный плюс покупки дома в пределах Тонапака состоял в том, что Лауре не придется переходить в другую школу.

Всего за несколько дней она обставила дом отличной новой мебелью, приобрела несколько старинных вещей — из тех, что обычно называют «бесценными», — и купила новую машину. В конце концов, ничто не мешало ей окружать себя исключительно вещами высшего качества.

О Новой школе социальных исследований в

Нью-Йорке она знала только то, что там обучают взрослых. Некоторое время назад ходили слухи, что школа стала прибежищем для закоренелых коммунистов[52], но это ее не смущало: она нередко думала, что и сама стала бы закоренелой коммунисткой, родись она лет на десять раньше. Кое-кто из товарищей мог бы, пожалуй, презирать ее за богатство, но скромный образ жизни избавил бы ее от лишних упреков, а другие товарищи еще больше ценили бы ее за это. Даже и сейчас ее ничуть не раздражали коммунистические речи, если, конечно, они не исходили от людей типа Билла Брока, да и Билла она презирала только потому, что всегда подозревала: первым, кто сломается под любого рода политическим давлением, будет именно он.

Но теперь на новом кофейном столике в новой гостиной ее нового дома лежал неожиданно толстый каталог курсов Новой школы на весенний

---

[52] Примечания: 52

Новая школа социальных исследований была основана в Нью-Йорке в 1919 г. группой профессоров Колумбийского университета в знак протеста против ограничения академических свобод в связи с участием США в Первой мировой войне. В 1933 г. Новая школа приняла к себе неомарксистов Франкфуртской школы, вынужденных бежать из нацистской Германии; чуть позже число профессоров в изгнании пополнилось за счет эмигрантов из Франции (в их числе были философ Жак Маритен и антрополог Клод Леви-Строс). Известные левые интеллектуалы преподавали в школе и в послевоенные годы. В 1959–1961 гг. один из курсов писательского мастерства в школе вел Ричард Йейтс.

семестр, и, планируя свою новую жизнь, она занялась подробным его изучением.

Кафедра, носившая название «Писательское мастерство», предлагала пять или шесть курсов, к каждому было составлено описание на один или два абзаца, и она быстро поняла, что каждый преподаватель сочинял свой текст, отчаянно пытаясь превзойти коллег.

Среди преподавателей ей попался один или два писателя, о которых она что-то слышала, но никогда не читала; остальных она просто не знала. В конце концов она остановила свой выбор на одном из незнакомых имен — Карл Трейнор, — взяла карандаш и отметила его курс жирной чертой на полях. Никаких особенных достижений в его биографии не значилось (рассказы в ряде журналов и в нескольких антологиях), но она обнаружила, что то и дело возвращается к описанию его курса, и в итоге должна была признать, что оно нравится ей больше других:

> Курс посвящен написанию рассказов. Задания будут включать в себя чтение рассказов известных авторов, однако основная часть еженедельных занятий будет посвящена разбору собственных

сочинений слушателей. По окончании курса слушатели овладеют навыками написания короткой прозы, но основная его цель — помочь каждому начинающему автору найти собственный литературный голос.

В ожидании начала весеннего семестра Люси почти что свыклась с представлением о себе как о писательнице. Она сосредоточенно изучала два рассказа, которые ей удалось написать за последний год, и вносила мелкие правки, пока ей не стало казаться, что дальнейшая редактура все только испортит. Рассказы были написаны, причем вполне нормальные, и они были ее собственные.

Когда пишешь, совершенно безразлично, насколько истеричное у тебя лицо или интонации (если, конечно, дело не идет об истеричности твоего «литературного голоса»), потому что прозу пишут в укромной тиши и в одиночестве. С рук может сойти даже частичное сумасшествие, ведь бороться за самообладание здесь можно еще упорнее, чем боролась Бланш Дюбуа, и если повезет, то на читателя с твоих страниц повеет ощущением порядка и здравомыслия. Читают

ведь, в конце концов, тоже в тишине и одиночестве.

Для февраля утро выдалось неожиданно ясное и теплое — идти по Пятой авеню в самом ее начале было удивительно приятно. Майкл Дэвенпорт всегда говорил, что хотел бы когда-нибудь жить именно в этом спокойном, парадном районе — «как только пьесы начнут наконец окупаться»; как-то, много лет назад, она опрометчиво напомнила ему, что они могут переехать сюда когда захотят — хоть сейчас, если есть такое желание, и в ответ он, как и следовало ожидать, свирепо нахмурился и промолчал всю дорогу до самой Перри-стрит, давая понять, что она опять нарушила их старый уговор.

По ее воспоминаниям, Новая школа располагалась в каком-то темном, советского вида здании, и, хотя здание это никуда не делось, теперь тон задавала прилегающая к нему новая постройка; она была больше, выше, вся из стекла и стали — яркая и алчная, как Соединенные Штаты Америки.

Бесшумный лифт привез ее на указанный этаж, и она робко прошла в свою аудиторию: длинный узкий стол, вокруг которого были расставлены стулья. Некоторые уже расселись, не зная, следует ли друг другу улыбаться, другие только

подходили. Преобладали женщины — и это было досадно, потому что Люси смутно надеялась на обилие привлекательных мужчин, — и, за исключением парочки молоденьких девушек, все они были среднего возраста. Люси сразу же подумала (возможно, без всяких на то оснований), что все они были домохозяйками, дети у которых выросли и разъехались, предоставив им наконец свободу для реализации собственных амбиций. Из немногих присутствовавших в классе мужчин самым заметным был парень с грубоватым лицом, похожий на водителя грузовика; на нем была зеленая рабочая рубашка с логотипом какой-то компании на левом нагрудном кармане — такой писатель наверняка будет стараться как можно больше материться в своих топорных рассказах, — и он уже завязал какой-то необязательный разговор с сидевшим рядом мужчиной пониже; тот казался таким бледным и кротким в своем деловом костюме и в розовых очках без ободка, что Люси решила, что он, должно быть, бухгалтер или зубной врач. Еще дальше сидел совсем пожилой мужчина — седые волосы клоками свисали с его лысой головы и торчали пучками из ноздрей; он, вероятно, был пенсионером, который решил попробовать себя и в этом деле, и его

насмешливый рот уже пришел в едва заметное движение, как будто он примеривал на себя роль классного шута.

Последним, кто вошел в класс и с некоторой неловкостью занял свое место во главе стола, был преподаватель. С первого взгляда этого высокого стройного человека можно было принять за мальчика, но Люси решила, что сутулость, легкая дрожь в руках и темные круги под глазами выдавали в нем человека глубоко за тридцать. Первым словом, которое пришло ей в голову при виде учителя, было слово «меланхолия», и она решила, что для человека, который учит других писать, это качество совсем не бесполезное — в сочетании, конечно, с качествами более живыми.

— Доброе утро, — сказал он. — Меня зовут Карл Трейнор, и некоторое время мне хотелось бы потратить на то, чтобы познакомиться с вами. Наверное, лучше всего, если я буду называть вас по списку, который мне дали, а потом, если есть такая возможность, — не хочу никого принуждать, так что если у вас нет желания что-либо говорить, то и не нужно, — но если есть такая возможность, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас коротко рассказал о себе и о том, чем вы занимаетесь.

У него был приятный глубокий и ровный голос, и Люси почувствовала, что начинает ему доверять.

Услышав свое имя, она сказала:

— Я, здесь. Мне тридцать четыре года, я разведена. — И она сразу удивилась, зачем решила это сказать. — Я живу с дочерью в округе Патнем. Литературного опыта у меня почти нет — я писала только в колледже, много лет назад.

Как минимум половина студентов не стали рассказывать о себе, и Люси знала, что, если бы ее имя шло дальше по алфавиту, она бы тоже так поступила, и теперь она была собой недовольна. В пространстве, где на глазах у всех будут обнажаться самые тайные эмоции, сдержанность имела особенную важность. Теперь можно было только гадать, не обернется ли это странное и опрометчивое сообщение о разводе ощущением неловкости на всех оставшихся занятиях.

Закончив перекличку, Карл Трейнор перешел к предварительным замечаниям.

— Что ж, — начал он, — пожалуй, я смог бы за полчаса рассказать все, что знаю о том, как писать художественную прозу, и я бы даже с радостью попытался это сделать, потому что больше всего в жизни люблю выпендриваться.

Он ждал, что слушатели в этом месте засмеются, но смеха так и не последовало, и было видно, что руки у него задрожали еще сильнее.

— Но курс у нас не лекционный. Научиться этому ремеслу можно, только впитав в себя его образцы, старые и новые, и вложив лучшее из того, что мы в них обнаружим, в нашу собственную работу.

Потом он довольно долго объяснял, в чем, по его мнению, ценность «творческой мастерской»: каждая рукопись получает здесь своего рода публикацию, потому что оценить ее смогут как минимум пятнадцать человек. Дальше он перешел к тому, какую критику ожидает от участников мастерской. Желательно выступать с конструктивной критикой, сказал он, однако перестраховываться и миндальничать тоже ни к чему; при этом слову «честность» он доверять перестал, потому что слишком уж часто используют его для оправдания излишней жестокости. Он надеялся, что они смогут быть беспристрастными, но не беспардонными.

— Сейчас мы не знакомы, — сказал он, — но за предстоящие шестнадцать недель узнаем друг друга довольно близко. Взрывоопасность заключена в самой природе писательской мастерской;

разговоров на повышенных тонах здесь не избежать, кто-то наверняка будет обижен. Поэтому давайте возьмем себе за правило: работа важнее человека. Постараемся быть друзьями, но в воркующих голубков превращаться не стоит.

Но и в этом месте никто не засмеялся. Рук его давно уже не было видно, потому что одна лежала под столом у него на коленке, а другую он спрятал в кармане пиджака. Люси решила, что никогда еще не видела такого нервного преподавателя. Зачем он так долго говорит, если ему от этого так плохо?

А он все говорил и говорил, и она перестала бы уже слушать, если бы речь не зашла о «процедурных вопросах», как он выразился.

— И вот еще что, — сказал он. — К сожалению, школа не дает возможности писательским мастерским пользоваться своей множительной техникой, поэтому я не смогу раздавать вам рассказы. Так, конечно, было бы лучше, но придется считаться с условиями, в которые мы поставлены. Единственное, что нам остается, — читать рассказы вслух прямо в классе. Делать это будет либо автор, либо я сам, а затем мы будем обсуждать услышанное.

Вот это было неприятно. Люси думала, что ее

рукописи будут читать как настоящие рассказы и что каждый представит ей письменный комментарий. Не достаточно просто их прослушать — к началу следующего предложения человек может забыть половину предыдущего, что само по себе плохо, — но, кроме того, это будет практически то же самое, что выступать на сцене.

— Кое-кто из вас прислал свои рассказы заранее, — продолжал Карл Трейнор. — И я выбрал один для сегодняшнего занятия. Миссис Гарфилд, — и он неуверенно посмотрел куда-то вдаль, — вы сами прочитаете свой рассказ или?..

— Нет, прочитайте лучше вы, — отозвалась одна из дам. — Мне нравится ваш голос.

И Карл Трейнор не смог скрыть своего удовольствия; вероятно, ему уже очень давно не говорили комплиментов.

— Ну хорошо, — сказал он. — Рассказ на пятнадцать страниц, и называется он «Возрождение».

И он начал читать голосом звучным и подчеркнуто размеренным, как будто старался показать, что миссис Гарфилд не зря его похвалила.

Весна в тот год наступила поздно. На проталинах, окруженных длинными грядами медленно тающего снега, едва

начали пробиваться крокусы; все деревья стояли голыми.

На рассвете пробежала по главной улице городка бездомная собака, вынюхивая за скромными фасадами признаки жизни, да взвыл где-то далеко за полями, одиноко и жалобно, свисток паровоза.

Страницы через две автор перешла к расположенному в бедном квартале пансиону, описала во всех подробностях дом и квартал, в котором он находился, а затем провела читателей внутрь, чтобы познакомить их с молодым человеком по имени Арнольд: было ему двадцать три года и он медленно, с огромным трудом просыпался. Про Арнольда говорилось, что прошлой ночью он сильно напился и что это была ночь «утрат». Но читателю или слушателю предстояло пройти вместе с ним через все этапы его утренней деятельности — сначала он неумело варил кофе на старой плитке, потом пил его маленькими глотками, принимал душ в рыжей от ржавчины ванне и надевал на себя вещи, свидетельствующие о его принадлежности к самым низам среднего класса, — чтобы в конце концов узнать, что же он потерял. Месяц назад от него ушла

молодая жена — не выдержав его «разгула», она уехала к родителям в другой город. Тут Арнольд садился в свой «разбитый» пикап и ехал прямиком в этот город, где обнаруживал, что родители очень удачно уехали куда-то на весь день.

«Может, поговорим, Синди?» — спрашивал он жену, после чего следовал разговор — разговор недолгий, но «удачный», потому что каждый сказал то, что другой хотел услышать; на этом и заканчивался, к искренней радости слушателей, рассказ миссис Гарфилд.

— Итак, — устало сказал Карл Трейнор, — какие будут комментарии?

— Замечательный рассказ, мне кажется, — отозвалась одна из женщин. — Тема возрождения заявлена в названии, далее она развивается через описания природы — земля возрождается с приходом весны — и затем находит разрешение в возрождении брака этих молодых людей. Я была глубоко тронута.

— Да, я согласна, — сказала другая женщина. — Хочется поздравить автора. У меня только один вопрос: если миссис Гарфилд умеет так писать, зачем ей еще чему-то учиться?

Потом настала очередь человека, похожего на водителя грузовика, — его звали мистер Келли.

— Меня сильно смущает вступление, — сказал он. — Слишком уж оно затянутое, мне кажется. Тут тебе и погода, и городок, и бездомная собака, и свисток паровоза, и еще черт знает что — а мы даже еще и до пансиона не добрались. Да и от пансиона до этого парня сколько приходится ждать. Не понимаю, почему сразу не дать парня и уже потом все остальное… И все-таки больше всего, — продолжал он, — меня смущает разговор в конце. Не думаю, что хоть кому-то в этой жизни удавалось так ясно выразить, что он думает, а эти ребята прямо снимают реплики друг у друга с языка. В кино такой разговор еще прошел бы, потому что там подпустили бы фоном какую-нибудь слащавую музыку, чтобы было понятно, что это уже конец. Ну тут-то у нас не кино. У нас, кроме пера и бумаги, ничего нет, так что писателю надо еще побиться, чтобы разговор вышел убедительно. Но даже и тогда — даже и тогда я не уверен, что одного разговора будет тут достаточно. Не уверен, что жизнь может развернуться вот так, на сто восемьдесят градусов, от одного разговора. Наверное, тут нужна еще какая-то вещь. Крокус вряд ли сгодится — будет слишком уж символично, и вряд ли нам понравится, если девушка скажет ему, что беременна, потому что тогда это

будет совсем уже другая история, — но что-то тут должно быть. Случайность какая-нибудь, событие; что-то неожиданное, но правдоподобное. Ладно, я, похоже, заговорился.

— Вовсе нет, — сказал седовласый господин. — Вы верно говорите. — И он обернулся к преподавателю. — По этому рассказу я полностью согласен с мистером Келли. Он сказал ровно то, что я сам хотел сказать.

Когда были высказаны все мнения — несколько человек от комментариев отказались, — настало время подводить итог. Карл Трейнор рассуждал минут двадцать, то и дело поглядывая на часы, и в его голосе слышались попеременно вкрадчивость и сомнение. Сначала казалось, что он разделяет точку зрения мистера Келли, — он еще раз прошелся по всем отмеченным им недостаткам и порекомендовал миссис Гарфилд обратить на них внимание, однако потом стал делать уступки глубоко тронутым женщинам. Он сказал, что тоже не вполне понимает, зачем миссис Гарфилд решила еще чему-то учиться, однако он был этому рад, потому что иначе вся группа лишилась бы удовольствия и пользы от ее присутствия.

— Что ж, — сказал он, закончив, вернее обнару-

жив на часах, что на сегодня он выполнил свои обязательства перед школой, — на этом мы и закончим.

Негусто. Ради этого вряд ли стоило ехать из Тонапака. Но Люси хотелось верить, что дальше будет интереснее; да и, кроме того, заняться ей больше было нечем.

На втором или третьем занятии очередь дошла до молодежи — пока мистер Трейнор читал рассказ тоненькой симпатичной девушки, она хмурилась и краснела, стиснув руки и не отрывая от них взгляда.

> День стоял имбирно-лимонадный. Гуляя между старыми университетскими корпусами, которые она за три года успела уже полюбить, — скоро будет четыре, напомнила она себе, — Дженнифер не могла избавиться от ощущения, что именно в такие дни случаются чудеса.

И чудо не заставило себя ждать. В университетской столовой она познакомилась с отличным парнем, которого раньше никогда не видела: он только что перевелся на четвертый курс из другого колледжа. Они «взяли кофе», а потом весь день

гуляли и разговаривали, причем ладили друг с другом отлично. У парня была синяя «МГ»[53], которой он «восхитительно» управлял, и он повез ее в отличный ресторан в соседнем городе. Там при свечах они выбрали блюда, названия которых давались в правильной французской орфографии (хотя мистер Трейнор все равно не знал, как их читать), и Дженнифер неожиданно подумала, что «так и начинаются настоящие отношения». Вернувшись к университету, они ушли далеко в лес, начинавшийся сразу за жилыми корпусами, и долго расслаблялись там на траве.

Люси помнила, что в войну «расслабляться» означало трахаться; пока она не услышала этого рассказа, ей и в голову не приходило, что следующее поколение девочек ничего такого в виду не имеет: они просто обнимались и целовались, — быть может, она расстегнула для него лифчик, может, даже разрешила ему забраться рукой в трусики, но не больше.

Дженнифер пригласила парня к себе в комнату «на чай», и там-то и начался весь ужас. Он был

---

[53] Примечания: 53

«MG» — британская спортивная машина, производившаяся с 1924 по 1980 г. Название расшифровывается как «Morris Garages»: первые индивидуальные образцы этих машин делались в мастерской Дилера «Morris Motor Company» в Оксфорде.

груб. Ему надо было сразу же с ней переспать, без предварительных нежностей, а когда она отказалась, он «стал сам на себя не похож — это был маньяк, а не человек». Он орал на нее. Обзывал ее так, что ей страшно даже вспомнить, и, когда он совсем разошелся, она съежилась от страха, но, к счастью, заметила у себя перед зеркалом тяжелые ножницы; она схватила их обеими руками и направила острыми концами ему в лицо. Когда он наконец ушел, хлопнув дверью, она забилась под одеяло и заплакала. Теперь она понимала, что этот парень ненормальный, психически неуравновешенный, ему нужно лечиться, — может, поэтому ему и пришлось переводиться на последнем курсе в другой колледж. Уже под утро она вспомнила отца, который часто повторял с мудростью и смирением в голосе: «Никогда нельзя забывать о тех, кому повезло меньше, чем нам». И уже в полусне она подумала, что настоящие отношения у нее еще когда-нибудь будут.

Одна из женщин осторожно похвалила сжатость и лаконизм прозы, и другая сказала, что ей понравилась сцена в ресторане, но тут же добавила, что не может объяснить почему.

Затем спросили мнения мистера Келли, но он только сложил руки на груди, прикрыв логотип

на рубашке, и сказал, что на этот раз предпочел бы не высказываться.

Вся работа досталась в итоге мистеру Каплану — человеку, похожему на зубного врача или бухгалтера.

— Этот рассказ мне показался крайне незрелым, — сказал он. — Я бы никогда не подумал, что в тексте, написанном взрослым человеком, может вылезти столько глупости — у автора, я имею в виду, а не у героини. А при таком раскладе никакие технические ухищрения уже не помогут.

— Я с этим соглашусь, — сказал старик. — И вот что еще скажу: неплохо было бы услышать, как парень воспринял всю эту историю. Интересно было бы узнать, что он чувствовал, когда она полезла с ножницами к нему в лицо.

— Но она же была в ужасе, — сказала одна из женщин. — Он себя не контролировал. Она думала, что он хочет ее изнасиловать.

— Да какое, в жопу, изнасиловать! — сказал старик. — Прошу прощения, дамы, но в этом рассказе она его продинамила, вот и все. Да, и еще: понятия не имею, что такое имбирно-лимонадный день. И боюсь, никто этого не знает.

Люси боялась взглянуть на девушку, написавшую этот рассказ, но все же рискнула. Девушка

больше не краснела — теперь ее лицо выражало спокойное презрение; ее хватило даже на то, чтобы изобразить улыбку сочувствия и понимания, адресованную собравшимся в этой комнате идиотам — если не всем идиотам вообще.

С девушкой было все в порядке, она переживет — и мистер Трейнор, похоже, прекрасно это понимал. Он даже не стал упрекать старика в излишней грубости, как будто начисто позабыв, как осуждал на первом занятии «беспардонную» критику; он просто ухмыльнулся и сказал, что одни тексты всегда вызывают больше полемических выпадов, чем другие. Потом он сообщил девушке, что ее рассказ действительно нуждается в переработке:

— Если бы вы придумали, как смягчить пафос собственной правоты или сделать его не столь явным, у вас получилось бы куда более убедительное… куда более убедительное изложение.

На следующей неделе слушали первый, более легковесный рассказ Люси «Мисс Годдард и мир искусства». Пока Трейнор читал его вслух, она сидела, сжавшись от страха, хотя должна была признать, что читал он довольно хорошо; проблема была в том, что множество мелких ошибок, которых она не замечала раньше, в его речи за-

звучали теперь со всей ясностью. Когда чтение закончилось, она ощутила слабость; ей хотелось спрятаться; оставалось только надеяться, что сегодня мистер Келли молчать не станет.

И он не стал, он заговорил первым.

— Что ж, на этот раз мы наконец услышали нечто достойное, — сказал он, и ей вдруг пришло в голову, что «достойный» — на редкость приятное слово. — Эта дама понимает предложения — что само по себе бывает не часто, — и она знает, как их между собой связывать, а это встречается еще реже. Это сильная проза, проза изящная и, как я уже сказал, весьма достойная. Но если говорить о существе рассказа, то здесь я не уверен. Смотрите, что у нас есть? У нас есть эта богатая девочка, которая не любит свой пансион, потому что другие девочки над ней все время смеются, домой на каникулы ей ездить тоже не нравится, потому что сестер и братьев у нее нет, а родители заняты исключительно друг другом. Дальше мы видим, как она подружилась с этой необычно молодой для пансионов учительницей рисования, которая говорит ей, что у нее большие способности, и в какой-то момент мне даже показалось, что начинается лесбийская история, но я ошибся. Учительница помогает девочке

утвердиться через искусство, и в конечном итоге та осознает, что все-таки может смотреть жизни в лицо. Наверное, проблема отчасти вот в чем: на самом деле это рассказ из серии «и тут он понял», как их раньше называли, и эта некогда успешная формула вышла из употребления, когда вся журнальная беллетристика загнулась с приходом телевидения. Хотя нет, — быстро поправился он. — Это все вторично, да и критика получилась очень поверхностной. Наверное, я вот что пытаюсь сказать… — и он сильно нахмурился, подбирая слова, — я пытаюсь сказать, что, боюсь, вынес из этого рассказа какое-то недоумение. Очень сильно написано, отлично написано, но в итоге я себе говорю: ну да, понял, только кому это интересно?

И все сидящие за столом были вроде бы согласны с мистером Келли по обоим пунктам. На этот раз Карл Трейнор легко отделался: в такой ситуации итоги без труда подвел бы даже самый неуверенный в себе преподаватель. Не нужно было смягчать конфликты или обходить спорные вопросы и, чтобы вынести финальный вердикт, не пришлось смело высказывать собственные идеи.

Но Люси все равно исправно ездила в школу,

потому что оставался шанс, что на занятиях прочитают ее второй, более серьезный рассказ. Ей нужно было знать, что скажут о нем Джордж Келли, Джером Каплан и пара других слушателей. Приходилось ждать, выслушивая сочинения всех остальных и последующие дискуссии — то буйные, то спокойные, но в итоге это произошло.

— Сегодня мы прочитаем еще один рассказ миссис Дэвенпорт, — объявил Карл Трейнор. — Здесь двадцать одна страница, и называется он «Летний репертуар».

На этот раз она не уловила на слух никаких ошибок. За предложения ее, несомненно, опять похвалят — только теперь и содержание вряд ли кого оставит равнодушным. Ближе к концу она обнаружила, что тронута — горло слегка перехватило, — как будто рассказ написал кто-то другой.

— Ну что ж, — сказал Джордж Келли, когда Трейнор закончил, — язык опять безупречен — в этом отношении миссис Дэвенпорт работает как профессионал, — да и по содержанию этот рассказ намного интереснее. Молодая разведенная женщина влюбляется в режиссера летнего театра, ничего неправдоподобного нет, эта линия прописана хорошо. Любовные эпизоды сделаны со вкусом, не хуже того, что я в этом жанре читал,

сцены сильные, убедительные. Дальше: режиссер убеждает ее сыграть самую сложную роль в важной пьесе, она знает, что к этому не готова, но все равно соглашается, чем и доводит себя до полного опустошения; потом, еще не успев от этого оправиться, она обнаруживает, что режиссер бросил ее ради девушки помоложе, — и это все тоже сомнений не вызывает, потому что с самого начала расклад был именно такой, — так что все кончено. Сюжет отличный, мне кажется. Единственная проблема… — и он откинулся назад, переходя ко второй части, а Люси закусила губу, — единственная проблема в том, что я не понимаю, для чего написаны последние три или четыре страницы, или сколько их там, — все, что идет после того, как он уехал с новой любовницей. Не понял, что я должен был там обнаружить, кроме все новых и новых слов о душевном состоянии героини. Целое философское эссе о предательстве и одиночестве, но в художественную прозу все эти абстрактные рассуждения просто так не вставишь, — но крайней мере, мне так кажется. Потом мы должны почему-то поверить, что она боится сойти с ума, как ее бывший муж, — и это скучно, потому что мы знаем, что с ума она никогда не сойдет; нам даже приходится узнать, что она подумывает о

самоубийстве, а это уж вообще пустая трата времени, потому что мы знаем, что этого она точно никогда не сделает. Нет, в этой части тоже есть несколько замечательных моментов, например когда девочка приходит из школы и получает этот бутерброд с арахисовым маслом, — только непонятно, почему эти вещи нельзя было дать раньше, в самом рассказе. Собственно, в последней части у нас нет ничего, кроме женщины, которая то так, то этак себя жалеет. Есть слово, точно описывающее такие вещи, и был бы мой словарь побогаче, я бы его знал. Хотя подождите — все это сантименты, вот. Мне больно снова об этом говорить, миссис Дэвенпорт, потому что я и в прошлый раз пожалел, что поднял эту тему, но сейчас мне показалось, что вы наизнанку выворачиваете весь ваш удачный материал, лишь бы сделать из него еще один рассказ из серии «и тут он понял». Вы хотите показать нам: женщина поняла, что случившееся сделало ее «сильнее», но в это никто не поверит, потому что это бред. Какой нормальный человек поверит, что несчастье может оказаться благотворным? Я не в том смысле, что вы должны были сказать, что несчастье ее «ослабило», нет — ни то ни другое здесь неуместно. Ни сила, ни слабость никакого

отношения к рассказу не имеют. Кстати сказать, если присмотреться, то никакой разницы между слабыми и сильными людьми все равно нет, и все это знают, — собственно, поэтому сама идея у хороших писателей никогда не пользовалась доверием. Так что смотрите, что происходит: женщину в вашем рассказе бросили. Понятно, что она по этому поводу сильно переживает, — и, видимо, это все, что нам понятно, но это само по себе немало. В этом вся история. Все, что вам нужно сделать, миссис Дэвенпорт, — это убрать практически все, что вы написали после того, как он уезжает с молодой девушкой, и тогда ваш рассказ будет что надо.

Мистер Каплан откашлялся и сказал:

— Мне понравились чемоданы. Отличный штрих, мне кажется.

Одна из пожилых дам сказала, что ей тоже понравились чемоданы.

— Мистер Келли! — окликнула Люси, когда занятие закончилось. Она поймала его у фонтанчика с питьевой водой в коридоре. — Хочу поблагодарить вас за отзывы. Вы мне очень помогли с рассказами. И с первым, и со вторым.

— Что ж, очень приятно, — сказал он. — Рад, что вы на меня не злитесь. Прошу прощения. —

Он отвернулся и надолго припал к фонтанчику, как будто от разговоров в классе у него совсем пересохло в горле.

Когда он вытер рот рукавом, она спросила робко и уважительно, как принято было на вечеринках у Нельсонов, чем он «занимается». Оказалось, что никакой он не водитель грузовика; он занимался ремонтом лифтов и работал в основном в высотных зданиях.

— Должно быть, это очень опасно.

— Да нет. Нас заставляют нацеплять по двадцать семь страховок, хотя в шахте хватило бы и одной; это все не опаснее, чем заниматься починкой пишущих машинок, — только платят больше. Проблема, правда, в том, что я всю жизнь хотел работать головой.

— Но мне показалось, что голова у вас работает совсем неплохо.

— Ну да, но я имею в виду — зарабатывать на жизнь. Работать головой и получать за это деньги. Это чуть сложнее устроить, понимаете?

Она, конечно, понимала. И, помолчав, спросила:

— Когда же мы услышим на занятиях что-нибудь ваше?

— Трудно сказать. Может, в этом году ничего

и не выйдет. Я пишу длинный роман, наверное слишком даже длинный; уже толком и не понимаю, что делаю, — и Карл мне посоветовал взять из него какие-то отрывки, выбрать эпизоды или разделы, которые смотрелись бы как рассказы. Дельный вроде бы совет, но, сколько я ни пытаюсь что-нибудь такое выбрать, ничего у меня не получается. Весь роман — одна большая… один большой рассказ, что ли.

— Ну, начать с того, что и совет сам по себе не слишком правильный, — сказала Люси. — Боюсь, я не особенно доверяю мистеру Трейнору.

— Да нет, — озабоченно сказал Джордж Келли. — Нет, не надо недооценивать Карла Трейнора. Я прочитал четыре его рассказа в разных журналах — он хороший писатель. Очень хороший. В смысле настоящий.

Джули Пирс, Пол Мэйтленд, Том Нельсон и все его знаменитые гости — как так вышло, что среди ее знакомых было столько «настоящих»? И чем, черт побери, нужно «заниматься», чтобы заслужить такой панегирик?

Джорджу Келли пора было откланяться — что он и сделал с несколько преувеличенной пролетарской обходительностью: он разве что не прижимал к груди свою кепку, причем обеими

руками.

— Что ж, — сказал он, пятясь, — приятно было с вами побеседовать, миссис Дэвенпорт.

В тот день она часа два бродила по Гринвич-Виллидж, на каждом шагу удивляясь, как там все переменилось. Прогулка была небесцельная: она подыскивала то, что по привычке называла теперь «материалом».

На западном конце Перри-стрит она обнаружила дом, в котором они с Майклом жили много лет назад, только дом этот был уже не тот, что прежде, — в те времена он, конечно же, не мог быть таким обшарпанным. Замки на почтовых ящиках были все выломаны, а редкие, наскоро приклеенные скотчем бумажки с небрежно написанными именами подсказывали, что жильцы в этом доме надолго не задерживаются.

Однако ей все равно не хотелось уходить из этого грязного подъезда — даже и в нынешнем своем виде дом пробудил в ней целый поток воспоминаний. Здесь все еще слышался громкий голос Билла Брока, все еще виделся Майкл — с таким непробиваемым выражением лица, как будто не замечал, что она знает, как он жаждет Диану каждой своей клеточкой. По вечерам в этом вестибюле всегда было много поцелуев, потому что

Диана любила целоваться. И мужчин и женщин она целовала одинаково мило и ненавязчиво, как будто не выражая этим ничего, кроме благорасположения. Она, казалось, говорила: вот. Ты милый. Ты мне нравишься.

Потом Билл Брок брал ее за талию и вел домой — к «ним» домой — через Эбингдон-сквер, и Люси всегда думала, как тягостно, должно быть, Майклу представлять их там вдвоем.

Ну да; из этого можно сделать рассказ — четверо молодых людей, каждый сам по себе, каждый со своими секретами. Билла Брока можно представить второстепенным персонажем, если окажется, что писать о нем противно, или можно будет переделать его в кого-нибудь другого — хотя нет, пусть уж остается каким был, потому что ирония не в последнюю очередь состоит в том, что для всех остается загадкой, как Диана могла полюбить такого человека. В центре повествования будет сама Диана, с ее способностью флиртовать и привлекать к себе внимание, не вызывая у других даже и тени раздражения, потому что каждый знал, какая удивительная она женщина. Главной героиней будет молодая жена (от первого лица? от третьего?), а печальный молодой муж, наверное уже тогда проявлявший

признаки душевного расстройства, может служить своего рода… ладно, с этим можно будет разобраться уже дома.

Но идея стала казаться слабой еще раньше, чем она доехала до Тонапака, — в тот вечер она сидела в своем дорогом доме и чувствовала себя бездарностью. Если не считать сдержанной похвалы Джорджа Келли да нескольких одобрительных замечаний мистера Каплана, никакой поддержки она пока не видела. Даже ее «достойные» предложения вполне могли быть результатом обучения в частных школах, так что никакого резона считать себя писательницей не было. Можно было, конечно, просидеть месяц-другой над этим рассказом о Перри-стрит, только чтобы смотреть, как он разваливается на куски на каждой странице, в каждом абзаце, пока наконец не понимаешь, что ничего не вышло, — чем не образцовый рассказ из серии «и тут он понял», а, мистер Келли?

К досаде своей, она не могла даже решить, стоит ли ей продолжать ходить на занятия в Новой школе. Теперь, когда оба ее рассказа прочитаны и обсуждены, никакого смысла в этом не было: за оставшиеся несколько занятий Трейнор вряд ли поможет ей обрести собственный «литературный

голос». В то же время другие могли увидеть в ее уходе проявление эгоизма, а может быть, даже снобизма.

Так что на следующей неделе она поехала в Нью-Йорк из боязни показаться снобом — и, как уже не раз бывало, именно этот страх, наоборот, сделал из нее законченного сноба.

Пока читали рассказ, она курила, пуская презрительно тонкие струйки дыма, но, когда в порядке обсуждения с разных концов стола стали доноситься вялые, нескладные реплики, она почувствовала, что ей следует вознаградить себя за героическое терпение. Она не знала, хватит ли у нее выдержки, чтобы дослушать заключительную речь преподавателя, но он, слава богу, был на этот раз краток, и, как только его голос умолк, она поняла, что пора действовать. Все продолжали сидеть, как будто специально этого ждали, как будто напрашивались, когда Люси Дэвенпорт встала, оттолкнув от себя стул.

— Эти занятия, — заявила она, — какой-то капустник в Дикси. Прошу прощения, мистер Трейнор, я знаю, что вы достойный человек, но все это время мы здесь сидели и ублажали собственную бездарность, больше ничего. Вероятно, в такого рода деятельности может быть опреде-

ленная терапевтическая польза, если кто-то в ней заинтересован, но к литературе это не имеет ни малейшего отношения, как ни крути. Неужели кто-то готов поверить, что редактор потратит больше трех минут на любой из рассказов, которые мы здесь читали? Хоть на один из них?

У нее кружилась голова, во рту пересохло. Судя по выражению лица, Джордж Келли готов был провалиться сквозь землю, как будто она нарушила важнейшее неписаное правило поведения… как будто упала, пьяная, у него дома, на глазах у жены и детей.

— Ладно, прошу прощения, — сказала она, обращаясь главным образом к Джорджу Келли, хотя ей так и не удалось оторвать взгляд от стола и посмотреть ему в лицо. — Прошу прощения. — И она выбежала из комнаты.

Решись она на эту выходку чуть раньше, ей удалось бы сбежать одной, но теперь в лифте вместе с ней спускалась в гробовом молчании вся женская часть группы.

На улице, оставив их — свобода, свобода, — она быстро зашагала прочь. Позади был уже едва ли не целый квартал, когда она услышала:

— Миссис Дэвенпорт! Люси!

Это был он: по тротуару вслед за ней бежал

Карл Трейнор, его худые ноги путались в разлетающихся полах плаща.

— Послушайте… — сказал он, поравнявшись с ней. И, отдышавшись, добавил: — Думаю, я должен пригласить вас выпить, вам не кажется?

Когда они зашли в бар — он, казалось, был рад уже этому, как будто первая часть непростой задачи уже решена, — он усадил ее у окна, выходившего на Шестую авеню.

— Мне жаль, что вас так разочаровал мой курс, — сказал он, — но ваша реакция мне полностью понятна. Это первое, что я хотел вам сказать, но есть еще пара вещей. У вас найдется минутка поговорить?

— Конечно.

— Скажу прямо… — начал он, когда принесли выпивку.

Заказ он сделал серьезный — чистый бурбон; воду со льдом принесли отдельно в небольшом стакане. Она надеялась, что за этим не последует череда новых порций, которая задержит их здесь до самого вечера, потому что при такой худобе ему не много надо, чтобы напиться.

— Когда я захожу в аудиторию, — говорил он, — то теряюсь; мне каждый раз страшно, и я знаю, что люди это видят — вы же увидели, — так что я

лучше объясню, зачем я вообще этим занимаюсь. Поверьте, это все не ради денег: в Новой школе я зарабатываю хорошо если четверть того, что мне нужно для себя и для семьи, — я в разводе, но у меня двое детей, так что приходится платить. Нет, это все ради строчки в анкете. Новая школа — единственное в Америке место, куда меня берут преподавать, понимаете, потому что у меня нет высшего образования. Я и школу-то с трудом окончил. До сих пор понятия не имею, что должен делать преподаватель колледжа; я не знаю, как они себя ведут и что говорят. Бывает, прислушаюсь к тому, что я там бубню, и сам себя спрашиваю: что это за болван такой? Хочется потом прийти домой и вышибить себе мозги. Понимаете, о чем я?

— Надо же! — сказала Люси. — Я бы никогда не подумала, что вы не учились в колледже.

Он посмотрел на нее не без обиды, и она сразу же поняла, что говорить этого не следовало, — это было все равно что сказать негру, что он ничуть не глупее белого. Она попыталась загладить свою ошибку:

— Как же так получилось, что вы не учились в колледже?

— Это долгая история, — сказал он. — И ниче-

го хорошего она обо мне не скажет. Стыдиться на самом деле нечего, но и гордиться тоже не приходится. Но суть в том, что теперь в университетах по всей стране открывают магистерские программы для молодых писателей, — очередная академическая блажь, надо полагать, но какое-то время она, судя по всему, продержится, — так вот там платят реальные деньги. Туда я и хочу устроиться, понимаете? Но чтобы пройти, нужен преподавательский опыт.

И она опять на какую-то секунду вспомнила брата Нэнси Смит: в конце концов они нарисовали всем сколько нужно очков, так что прошли все.

— Ничего особенного я от этой работы не жду, — продолжал Карл Трейнор, — но я хоть зарабатывать начну по-человечески — не важно, научусь я в итоге преподавать или нет. И уж всяко это лучше той гадости, которой приходилось зарабатывать на жизнь, да и сейчас приходится.

— И какой же такой гадостью вы занимаетесь?

— Халтурю где придется ради денег, — ответил он. — Пишу всякую бредятину на заказ; сто баксов там, пятьдесят здесь; на это уходят годы: я начал, еще когда должен был учиться в колледже, а все с одной только целью — обеспечить себе свободное

время. Просто чтобы было свободное время. От этого сильно устаешь.

— Могу себе представить, — сказала Люси.

Он и вправду казался усталым; с тех пор как она его знала, ничего, кроме усталости и печали, у него на лице не проглядывало. Помолчав, она сказала:

— Мистер Келли говорил, что у вас есть несколько замечательных рассказов.

— Очень мило со стороны мистера Келли, — сказал он, допивая второй стакан, а может, уже и третий. — Но я скажу вам то, чего мистер Келли еще не знает. В октябре у меня выходит аж целая книга.

— Вот как! Что ж, это замечательно. Как она называется?

Он сообщил название, но оно тут же вылетело у нее из головы — как фамилия человека, которого тебе с улыбкой представляют на какой-нибудь вечеринке.

— О чем же она?

— Не уверен, что смогу сказать, «о чем» она, но скажу, в чем там суть. Там все, что мне удалось узнать об этом мире к тридцати пяти годам.

— Так она автобиографическая? — Люси не удержалась от вопроса, который, она знала, вго-

няет романистов в тоску, а иногда и в ярость.

— Наверное, — сказал он, как будто обдумывая ответ. — Но только в том смысле, в каком «Мадам Бовари» можно назвать автобиографическим романом.

Это ее заинтриговало. Прямо на глазах он превращался в другого Карла Трейнора — никакой дрожи в руках, никакой сутулости, никакой неуверенности в себе. Усталость и печаль никуда, конечно, не делись, но теперь в нем проснулась приятная самоуверенность, и ей в первый раз удалось представить, чем он может очаровать женщину, вернее, сколько угодно женщин.

— Пять лет на нее потратил, — рассказывал он о книге. — Не хочу даже вспоминать, чего мне это стоило, но получилось, как мне кажется, хорошо. На самом деле я даже думаю, что очень хорошо. Мировой пожар от нее, конечно, не разгорится и ничего грандиозного не произойдет, но читать ее будут.

— Что ж, Карл, с нетерпением буду ждать, когда она выйдет.

Она знала, что в первый раз называет его по имени, но он, как ей казалось, это заслужил.

И дальше довольно быстро — алкоголь делал свое дело, и время шло — он сообщил, что она

очень понравилась ему с первого же занятия. Что ему всегда хотелось с ней познакомиться и что теперь правильно будет, если она расскажет ему о себе и о своей жизни.

— Что ж… — начала она и тут же обнаружила, что она куда пьянее, чем думала.

Она давно уже не считала, сколько раз перед ней ставили джин с тоником и сколько раз пустой стакан без промедлений сменялся полным. Вероятно, она выпила не меньше Трейнора, который опять остановил официанта, чтобы заказать очередную порцию.

— Что ж… — снова сказала она и пустилась в монолог, содержание которого так никогда потом и не вспомнила.

Она знала, что рассказала ему довольно много, однако не слишком много; знала, что все, что она говорила, было правдой, но правдой осторожной, избирательной — такой правдой, которую на пьяную голову воспринимаешь как приглашение к флирту.

Она не удивилась, когда он протянул руку через весь стол и уверенно накрыл ее ладонь своей.

— Люси, — спросил он хрипло, — пойдешь ко мне домой?

Ответить на этот вопрос быстро она не могла

— слишком много у нее в крови было алкоголя, но она знала, что заставлять его ждать тоже нельзя; она ответила, как только собралась с мыслями:

— Нет, Карл, думаю, что нет. Мне случайные связи никогда не удавались.

— Ну почему же обязательно случайные? За этим вечером вполне может последовать прекрасное продолжение. Может, мы даже обнаружим, что созданы друг для друга, как в кино.

Но она снова сказала «нет» и на этот раз попыталась смягчить свой отказ, взяв его за руку. Она знала, что может потом пожалеть, что отказалась, но, если сказать «да», вечер может быть чреват куда более горькими сожалениями.

Они дошли до угла, он быстро поцеловал ее и потом довольно долго держал в объятиях; против объятий она не возражала — ей показалось, что нежному прощанию они вполне приличествуют.

— Люси, — спросил он, уткнувшись ей в волосы, — почему ты остановилась, когда я побежал за тобой?

— Наверное, потому, что мне было стыдно, что я устроила такую сцену. А зачем ты за мной побежал?

— Ну ты же знаешь: я все это время тебя хотел — не мог же я просто так тебя отпустить. И слу-

шай, Люси. — Он все еще держал ее в объятиях, и она даже не пыталась из них высвободиться: она обняла его в ответ и с удовольствием прижалась щекой к его плащу. — Слушай, — снова сказал он. — Была еще одна причина. Ты ведь поймешь, если я тебе скажу?

— Ну конечно.

— Я побежал за тобой, детка… я побежал за тобой, потому что ты назвала меня достойным человеком.

Глава пятая

Люси просидела еще два-три месяца над рассказом о Перри-стрит, но материал оказался коварным и долго ей не давался. Когда основная часть была, по ее мнению, готова, она придумала финал, у которого был как минимум один плюс: он не принадлежал к концовкам из серии «и тут он понял»; вечером, после того как эта женщина уходит, поцеловав их обоих, молодая жена устраивает мужу сцену ревности. Муж предпринимает слабые попытки отрицать, что он по ней «сохнет», от чего жена только распаляется и подступает к нему с новыми упреками; потом тяжелое дорогое блюдо раскалывается в раковине на куски, символизируя близящийся распад брака, и рассказ подходит к концу.

Сцена показалась ей приемлемой; вроде бы все получилось, разве что… разве что на самом деле ничего этого не было, и по этой причине весь рассказ начинал отдавать обманом. Как можно доверять вещам, которые сам же и выдумал?

Когда у нее не оставалось уже сил сидеть над этим рассказом, она пыталась переработать один из двух других, и ей часто слышался голос

Джорджа Келли — они тихо советовались, — и она так явственно ощущала его присутствие, как будто он стоял рядом, заглядывая через плечо в ее рукопись.

Она знала, что он был прав. В рассказе про школу действительно требовалась более драматичная развязка, а в «Летнем репертуаре» за фактической развязкой и вправду следовала какая-то бессмысленная каша из слов.

Как-то утром она испытала законную гордость, когда нашла наконец нужные слова для концовки «Летнего репертуара» — три предложения, краткие, но выразительные в своей звучности, и она чувствовала себя профессионалом, когда рвала ненужные уже страницы и выбрасывала их в корзину.

Но стоило ей покончить с этим, как провалы стали обнаруживаться в других частях рассказа: какие-то сцены казались ей передержанными, какие-то — недостаточно прописанными, некоторым абзацам не хватало повествовательной напряженности, то тут, то там всплывали целые предложения, которые вряд ли показались бы мистеру Келли «достойными», и кругом было слишком много случайных, неверно подобранных слов. Похоже, единственное, что оставалось

в такой ситуации настоящему профессионалу, — полностью переписать этот несчастный рассказ.

«Мисс Годдард и мир искусства» уже неделю лежат на столе мертвым грузом, и ей никак не удавалось его оживить. Слабая концовка оказалась лишь частью проблемы: главная беда, решила она после долгих разбирательств, состояла в том, что этот рассказ ей не нравился. Он бы ей не понравился, даже если бы его написал кто-то другой. Она даже придумала для него уничижительную характеристику, которая наверняка понравилась бы мистеру Келли: это был рассказ из серии «ах, что за нежным ребенком была я когда-то».

И все же она его не уничтожила, а отложила подальше в ящик письменного стола. Быть, может, какие-то части можно будет еще сохранить в исправленном виде, скажем первую встречу девочки с мисс Годдард («…в какой-то момент мне даже показалось, что начинается лесбийская история, но я ошибся»).

К августу она стала проводить за рабочим столом все меньше и меньше времени. В солнечные дни она надевала старый купальник — голубое хлопчатобумажное бикини (Майкл Дэвенпорт говорил, что один его вид сводит его с ума), — брала

одеяло и часами загорала во дворе за домом, где под рукой у нее всегда был запас джина, тоника и герметичная коробка со льдом. Вечером, раза два или три, она заходила в дом, переодевалась в летнее платье и отправлялась к Нельсонам, но каждый раз поворачивала на полдороге и возвращалась домой, потому что не знала, что им сказать, когда она туда придет.

Сначала она говорила себе, что это «творческий кризис» — всем писателям приходится его переживать, — но потом, пытаясь заснуть как-то ночью, она заподозрила, что с писательством, похоже, покончено.

Если актерская работа грозила эмоциональным истощением, то писательство выедало мозг. Писать значило страдать от депрессии и бессонницы, писать значило целыми днями болтаться по дому с изможденным лицом, и Люси чувствовала, что еще недостаточно для этого состарилась. Для измотанного вконец мозга даже радости уединения и тишины не означали ничего, кроме одиночества. Можно было напиваться до беспамятства или в наказание совсем отлучать себя от алкоголя, но и то и другое лишало тебя возможности писать. А когда мозг изъеден до предела, причем изъеден уже давно, какая-нибудь невооб-

разимая череда ошибок может привести к тому, что тебя тащат и запирают в Бельвю, и ты на всю жизнь остаешься запуганным и униженным. И при всем при этом оставалась еще одна опасность — опасность, которую она никогда не распознала бы, если бы не просидела столько времени над этими тремя рассказами: когда пишешь только о себе, абсолютно незнакомые люди могут слишком много о тебе узнать.

Давно, когда они жили еще в Ларчмонте, она робко раскритиковала одно из стихотворений Майкла за «излишнюю сдержанность».

Он долго ходил по комнате, повесив голову и не говоря ни слова. А потом сказал:

— Может, ты и права. В излишней сдержанности ничего хорошего нет, это я понимаю. Но и стоять с голой задницей в витрине универмага «Мейсиз» тоже не хочется, правда?

Правда. Теперь по опыту своих ученических рассказов Люси понимала, что, как бы она ни старалась и на что бы она ни надеялась, ее усилия легко могут увенчаться лишь тем, что она будет раз за разом выставлять голую задницу в витрине «Мейсиз».

Осенью того года на одной из вечеринок у Нельсонов она встретила мужчину, перед которым

ей было в буквальном смысле трудно устоять на ногах. Плевать, чем он «занимается» — он был фондовым брокером и давним собирателем акварелей Томаса Нельсона, — ей просто нравилось его лицо, широкая грудь и плоский живот, и через пять минут после знакомства она почувствовала, что от одного только звука его низкой, размеренной речи у нее по ключицам расходится едва уловимая дрожь. Она была беспомощна.

— Должна сделать жуткое признание, — сказала она в машине, когда они ехали ночью к нему домой в Риджфилд, штат Коннектикут[54]. — Я забыла, как тебя зовут. Крис — или как-то так?

— Почти угадала, — сказал он. — Кристофер Хартли, но все зовут меня Чип.

Тогда же, еще в машине, ей пришло в голову, что как раз за такого человека она вполне могла бы выйти замуж, если бы не встретила Майкла Дэвенпорта, — с Чипом Хартли у ее родителей никогда бы не было проблем. И еще одну вещь она узнала, пока они ехали к нему домой: после целой

---

[54] Примечания: 54

Городок Риджфилд располагается на самой границе штатов Коннектикут и Нью-Йорк. После открытия новой железной дороги в конце XIX в. городок стал летней резиденцией нью-йоркских богачей. Большинство роскошных поместий пришло в негодность в период Великой депрессии, и после войны Риджфилд превратился в более демократичный, но все равно весьма престижный «спальный» пригород.

серии шутливых, однако настойчивых вопросов он сообщил, что тоже богат, — ему досталось в наследство примерно столько же, сколько и ей.

— Зачем же ты тогда работаешь?

— Наверное, потому, что мне нравится. Я даже не думаю об этом как о работе — фондовый рынок мне всегда казался своего рода игрой. Надо выучить правила, а потом отражать нападения, брать на себя риски, и весь смысл в том, чтобы выиграть. Если я пойму, что начинаю подводить своих клиентов, я тут же брошу этим заниматься, но пока это весело и придает мне сил.

— Но там ведь сплошная скукотища? Обычная каждодневная рутина?

— Естественно, но это мне тоже нравится. Люблю каждое утро садиться на электричку и ехать в город. По-моему, «Уолл-стрит джорнал» — лучшая в Америке ежедневная газета. Люблю обедать с друзьями в ресторанах, где каждый официант знает нас всех по именам. И мне даже нравятся дни, когда после обеда делать, в общем-то, нечего и приходится слоняться по конторе и поглядывать на часы, чтобы узнать, когда можно уже уходить. Я часто думаю, что, может, это и немного, но в этом вся моя жизнь.

Помимо картин Томаса Нельсона, развешанных

по стенам в симпатичных рамах, в доме ничего не свидетельствовало об особенном богатстве. Такие дома агенты по недвижимости называют «каретными сараями» — стильная резиденция, приличествующая бездетному мужчине, вот уже три или четыре года как разведенному, и по тому, с какой уверенностью он повел ее наверх в спальню, было понятно, что он редко страдает здесь от одиночества.

Девушки, должно быть, испортили этого большого, простого и прямолинейного человека; вряд ли кто-то из них проявлял излишнюю сдержанность и застенчивость, зная, что в очереди толпится куча других. А любовник он был хороший, вероятно за счет тех же примерно качеств, благодаря которым люди доверяли ему манипуляции со своими деньгами: он был основателен, внимателен к детали, осторожен, но в то же время смел, и никакого беспокойства в его движениях не чувствовалось.

В ту первую ночь он овладел ею дважды, а потом уснул, хотя рука его еще долго блуждала по ее телу, пока не улеглась на одной из грудей. На следующее утро она проснулась поздно, в отличном настроении; было слышно, как он копошится внизу, на кухне. До нее даже доходил едва улови-

мый запах кофе. Она томно потянулась и снова свернулась под одеялом. Ей было хорошо.

Но что самое приятное, довольно быстро выяснилось, что никаких других девушек в его жизни в данный момент не было: он охотно проводил с ней все свободное время — в Риджфилде, в Тонапаке или в Нью-Йорке. Неделя летела за неделей, и никому не приходило в голову считать, сколько их уже прошло.

Из всех ее знакомых он был первым человеком, начисто лишенным каких-либо творческих амбиций; от этого он казался ей каким-то неполноценным. «Но слушай, Чип, — хотелось ей сказать время от времени, особенно когда они сидели в очередном дорогом ресторане и разговор на какое-то время умолкал, — неужели тебе ничего больше не надо? Только зарабатывать деньги и трахаться; трахаться и зарабатывать деньги?» Но она так и не задала этот вопрос, потому что боялась, что он уставится на нее, оторвавшись на минуту от усыпанной льдом тарелки с устрицами или от пышущего жаром блюда с говяжьей спинкой, и скажет: «Ну да, а что такого?»

— А из художников ты собираешь только Нельсона? — спросила она как-то в воскресенье, когда сидели у него в Риджфилде.

— Угу.

— Почему же только его?

— Ну, наверное, потому, что мне нравится, что он делает качественные вещи без всей этой поебени. Это честная работа. То, что теперь делают, я либо не понимаю, либо не хочу даже замечать, причем в большинстве случаев я сам не знаю, что выбрать, поэтому мне даже связываться не хочется — ни ради удовольствия, ни ради инвестиций.

— Я слышала, — сказала она, — многие считают его скорее иллюстратором, чем художником.

— Может быть, — согласился он. — Но мне все равно нравится, как это смотрится у меня на стене. И мне приятно знать, что другим эти работы тоже нравятся. Должны же они нравиться, иначе он не был бы таким успешным.

И это, похоже, было его установкой. В четком жизненном распорядке Чипа Хартли воскресенья полностью посвящались отдыху, умеренным алкогольным возлияниям и знакомству с мировыми новостями, суббота была днем спорта и развлечений, а будни — за вычетом пустых вечеров — целиком уходили на работу.

Мирового пожара первый роман Карла Трейнора, в общем, не раздул, но Люси внимательно прочитала несколько отличных рецензий и сра-

зу же купила книгу. Первым делом она сняла с нее отвратительную суперобложку — спереди дешевая картинка, сзади фотография, на которой автора можно было принять за какого-то несчастного студента, — и только потом начала читать.

Роман порадовал ее «достойными» предложениями и ясными сценами, и к третьей-четвертой главе она стала догадываться, что имелось в виду по поводу «Мадам Бовари». Местами книга была очень смешная — особенно для человека, которому ни разу не удалось рассмешить свою группу в Новой школе, но в целом роман был пронизан печалью, а к концу возникало прочное ощущение неизбежной трагедии.

Оторваться она не могла и читала, сидя в кровати, всю ночь; несколько раз она даже расплакалась, отвернувшись от книги и прикрыв размякший рот свободной рукой; потом, пролежав почти все утро без сна, она отыскала его имя в телефонной книге и позвонила.

— Люси Дэвенпорт, — сказал он, — рад слышать.

И она стала рассказывать, стесняясь и запинаясь, какое впечатление произвела на нее книга.

— Что ж, спасибо, Люси, отлично, — сказал он. — Я рад, что тебе понравилось.

— «Понравилось» не то слово, Карл; я потрясена. Уже и не помню, когда в последний раз переживала такое потрясение от романа. Мне бы очень хотелось обсудить его с тобой, по телефону это сложно; может, встретимся где-нибудь в городе, выпьем? В ближайшее время?

— Ну, на самом деле я тут сейчас не один, — сказал он, — и, вероятно, еще какое-то время не смогу собой располагать; так что давай возьмем тайм-аут, ладно?

Разговор на этом закончился, но ей еще долго не давала покоя неловкость, с которой он ей отказал. Зачем говорить «на самом деле я тут сейчас не один», когда хочешь сообщить, что у тебя есть девушка? Она уже сто лет не слышала, чтобы кто-нибудь предлагал «взять тайм-аут», — фраза была странная, особенно для человека, ненавидящего клише так, как только писатели могут их ненавидеть.

Но нельзя было отрицать, что и сама она говорила не то — слишком открыто, слишком прямо, слишком напористо. Если бы не бессонная ночь, ей почти наверняка удалось бы найти подход потоньше.

Но хуже всего, сколько бы она ни зацикливалась на этом неудачном телефонном разгово-

ре, — хуже всего было охватившее ее чувство жуткого, убийственного разочарования. Ночью, и особенно ближе к утру, оторвавшись от крепкого романа Карла Трейнора, она не раз давала себе волю и пускалась в романтические фантазии о нем самом. То, что она ошиблась в нем и столько времени его недооценивала, лишь добавляло остроты тем нескольким часам, которые они провели в баре на Шестой авеню. Она очень жалела, что отказала ему тогда, — скажи она «да», сейчас они могли бы радоваться этой книге вместе, — а кроме того, она знала, что никогда не забудет, как хорошо ей было в его объятиях, когда они стояли на улице и он долго не отпускал ее домой.

Ей вспомнилось, как в пять утра, когда ей осталась всего одна глава, она отложила книгу, потому что знала, что эта последняя глава обязательно разобьет ей сердце, и в мертвой темноте шептала еле слышно в подушку:

— Карл! Ах, Карл!

А теперь, когда не было еще и полудня — в это время даже и выпить-то еще нельзя, — ей было не о чем больше мечтать. Все пропало. Все кончилось пустотой и крахом, потому что Карл Трейнор сказал, что возьмет тайм-аут.

Она знала по опыту, что сладостно-долгий го-

рячий душ может при необходимости оказаться столь же целебным, как и ночной сон; а еще она знала, что особый изыск и тщание, проявленные при выборе и примерке одежды, дают не самые плохие результаты, когда тебе нужно убить время.

И в этот конкретный день удача ее не оставила: когда она усаживалась к телефонному столику с первым стаканом, столь же вместительным и глубоким, как любовь преданного друга, был уже пятый час. Нью-Йоркская фондовая биржа больше часа как закрылась, и, быть может, это был как раз тот вечер, когда даже самому добросовестному брокеру делать, в общем-то, нечего и приходится слоняться по конторе и поглядывать на часы, чтобы узнать, когда можно уже уходить.

— Чип? — сказала она в трубку. — Ты очень занят или есть минутка поговорить?.. Отлично. Я просто хотела узнать… ну, свободен ли ты сегодня вечером, потому что мне страшно хочется тебя увидеть… Что ж, замечательно… Нет, когда тебе удобнее; куда тебе больше хочется. Хочу вверить себя в твое полное распоряжение.

— Мам! Мам! — Люси еще сидела на кухне после ужина, когда Лаура срочно позвала ее в

гостиную. — Мам, быстрей! Смотри! У них тут новый сериал, и угадай, кто играет!

В первую секунду Люси подумала: «Наверное, Джек Хэллоран», но это был не он. В сериале играл Бен Дуэйн[55].

— Это все про фермерскую семью — кажется, из Небраски, — стала объяснять Лаура, когда Люси уселась рядом с ней перед телевизором, периодически сбивающимся на рябь и жужжание. — Похоже, прикольный будет сериал. Это все происходит во время Депрессии, семья очень бедная, у них остался только этот клочок земли…

— Тсс… — остановила ее Люси, потому что явно не поспевала за ее трескотней. — Давай просто смотреть. Я, наверное, и так все пойму.

Сериалы тогда обычно были ужасные, но время от времени случались удачи, и этот действительно обещал быть неплохим. Немногословный, чуть надменный отец, раньше времени состарившийся под гнетом жизненных трудностей, и симпатичная мать, наделенная почти аристократической невозмутимостью. Были и дети: всегда чем-то озадаченный сын-подросток и девочка на год или два помоложе — вроде бы совсем еще

[55] Примечания: 55

Речь идет о популярном сериале «Уолтоны», в котором играл прототип Бена Дуэйна, актер Уилл Гир.

ребенок, но с большими глазами и прочими признаками будущей красавицы.

Бен Дуэйн играл бодрого старого дедушку, и уже по тому, с какой беспечностью он спускался к завтраку, было понятно, что роль у него получится замечательная. В этой первой, «пилотной» серии сценаристы явно не перегрузили его репликами — он лишь время от времени отрывался от своей овсянки, чтобы выдать какое-нибудь едкое, но здравомысленное замечание, — однако они-то и были самыми смешными, точнее, чаще всего сопровождались взрывами «консервированного» закадрового смеха.

— Спорим, в итоге звездой окажется девочка? — сказала Лаура, когда первая серия закончилась.

— Ну, может, и мальчик, — сказала Люси. — Или любой из родителей. Впереди еще столько серий, что я не удивлюсь, если периодически главным героем будет Бен. Он ведь когда-то был знаменитым актером, и не один год.

— Ага, знаю. Правда, мы с Анитой всегда считали его каким-то противным.

— Да? Почему же?

— Не знаю. Вечно он был полураздетый.

Лаура поднялась, выключила телевизор и побрела куда-то из комнаты. Теперь она везде

бродила в рассеянности — казалось, что просто ходить она совсем разучилась. Через несколько недель ей исполнялось тринадцать.

До того как посвятить всю свою жизнь Полу, Пегги Мэйтленд месяцев шесть занималась рисованием и живописью в Нью-Йоркской лиге студентов-художников[56] и потом часто рассказывала, как она все это «обожала». Для поступления не надо было ничего сдавать, и учеба не регламентировалась никакими программами; начинающие и опытные художники работали «все вперемешку», а преподаватели занимались с каждым индивидуально, в зависимости от того, кто что хотел.

Люси решила попробовать. Она считала, что учиться рисунку ей не нужно — слишком уж много похвал она получила от своей обожаемой учительницы в пансионе, полжизни назад, — а вот с живописью (холст, масло) знакомиться

---

[56] Примечания: 56

Нью-Йоркская лига студентов-художников (Art Students League of New York) — основанная в 1875 г. художественная школа, где за небольшую плату связанным с изобразительным искусством дисциплинам могут обучаться люди любого возраста и рода занятий, любители и профессионалы. В послевоенные годы студентами Лиги были такие успешные художники, как Рой Лихтенштейн, Дональд Джадд, Роберт Раушенберг, Сай Твомбли. В 1960-е гг., когда акцент в искусстве сместился в сторону концептуализма и фотографии, Лига утратила свою ведущую роль в художественной жизни города.

приходилось впервые. Но что ей было терять?

Первое, что она узнала о масляной живописи, когда в первый день занятий вошла в одну из просторных, опрятных, залитых светом студий Лиги, было то, что пахнет она замечательно. От живописи пахло самим существом искусства. Затем, учась на собственных ошибках, она постепенно стала понимать больше. Все сводилось к линии и свету, к цвету и форме: пространство было ограничено, и долг живописца состоял в том, чтобы удовлетворительным образом его заполнить.

— Ну вот теперь кое-что имеется, — тихо сказал ей преподаватель, подойдя к ее станку как-то вечером, бог знает сколько недель спустя после начала занятий. — Кое-что у вас, похоже, получается. Если вы еще поработаете над этим холстом, миссис Дэвенпорт, у вас будет картина.

Преподавателем был смуглый лысый коротышка по фамилии Сантос — испанец, говоривший по-английски почти без акцента, — и Люси сразу поняла, что это настоящий учитель. В его преподавании не было ни страха, ни беспечности; идиотов и тупиц он никогда не хвалил; все должны были разделять его высокие стандарты, а высшая похвала, приобретавшая за редкостью

употребления особую ценность, выражалась у него словами: «У вас будет картина».

— Я это обожаю! — воскликнула она в субботу вечером дома у Чипа Хартли и закружилась на месте прямо у него перед стулом, так что юбка красиво взметнулась, обнажая ноги. — Обожаю, когда что-то получается, когда нет этого напряжения и страха ошибиться, когда находишь дело, к которому, быть может, предназначен от рождения.

— Ну классно, — сказал он. — Когда знаешь, к чему себя приложить, все меняется.

Но он едва взглянул на нее, потому что возился в этот момент с дорогим немецким фотоаппаратом, лежавшим в полуразобранном виде у него на коленях. С фотоаппаратом что-то случилось, поэтому посвятить целый день съемкам, как он рассчитывал, ему не удалось, и теперь необходимость выяснить причину поломки и осмотреть каждую деталь по отдельности заставляла его сидеть, вывернув пятки и плотно сдвинув облаченные в бермуды ноги.

— Помнишь, ты как-то сказал про картины Тома Нельсона, — продолжала она, — что они производят впечатление честной работы. Я, похоже, начинаю думать, что тоже смогу так работать

— не так, как он, конечно, а сама по себе. Как тебе такая моя нескромность?

— Ничего преступного в ней не вижу, — сказал он, рассматривая на свет какую-то крохотную детальку. — Кстати, о честной работе: похоже, на этот раз немцы нас здорово облапошили.

— Может, лучше вернуть это все в магазин и не пытаться починить самостоятельно?

— Вообще-то, дорогая, — ответил он, — именно к этому заключению я пришел еще полчаса назад. Осталось только все это собрать, чтобы было что возвращать.

Уже не в первый раз Чип Хартли показывал себя далеко не идеальным собеседником, и этот раз был явно не последним. Теперь он, наверное, провозится с этой своей сломанной игрушкой до самой ночи, а потом наступит воскресенье, самый скучный из дней, которые они проводят вместе, и с началом новой недели некоторую остроту жизни смогут сообщить лишь гадания о том, кто на этот раз позвонит первым.

Что ж, ничего особенного в том, чтобы быть женщиной Чипа Хартли, не оказалось — пожалуй даже, это был лишь один из способов дождаться лучшего, не более того, — но каких-то мелких успехов можно было добиться и здесь. Напри-

мер, сегодня вечером она, пожалуй, придумает, как сообщить ему, что ей никогда не нравились бермуды.

С ежедневными поездками в Нью-Йорк — все равно, ехала она на поезде или на машине, — ей приходилось каждое утро проезжать через Тонапак и сворачивать на извилистую асфальтовую дорогу, на одной стороне которой стоял изрядно потрепанный временем указатель «Новый театр в Тонапаке», а на другой просматривались крутой подъем, ведущий к дому Энн Блейк, и почтовый ящик с надписью «Донарэнн» на перекрестке, — и Люси ставила Лигу выше Новой школы не в последнюю очередь потому, что благодаря поездкам туда она научилась смотреть на эти горькие указатели без лишних терзаний. На самом деле иногда ей удавалось выехать на шоссе или добраться до самого вокзала, так и не обратив на них внимания.

Но как-то утром она заметила одинокую фигуру Энн Блейк — та стояла на обочине, нарядная, в изящном осеннем костюме, с яркими серьгами в ушах; Люси затормозила и с улыбкой выглянула из окна:

— Энн, давайте я вас подвезу.

— А, Люси! Спасибо, но это не нужно — сейчас

должно подъехать городское такси. Вечно они отказываются заезжать наверх — никогда не понимала почему. То есть понятно, что дорога там не очень, но не настолько же.

— Вы куда-то едете?

— В Нью-Йорк, и неизвестно на сколько, — сообщила Энн, хотя стоявший у ее ног чемоданчик вмещал явно больше одной смены белья. — На самом деле я очень… — И Энн в смятении прикрыла глаза, демонстрируя всю длину своих накладных ресниц. — Впрочем, почему я должна что-то скрывать от тебя, Люси? Почему не сказать? Меня кладут в Слоун-Кеттеринг.

И даже Люси, которой не нужно было объяснять, что такое Бельвю, не сразу поняла, что Слоун-Кеттеринг — это онкологическая больница. Она вышла из машины — такие разговоры через окно не ведут — и бросилась к Энн Блейк, так и не сообразив, что ей сказать.

— Какой ужас, Энн! — начала она. — Какой удар! Какой дикий, чудовищный удар!

— Спасибо, дорогая. Я знача, что ты мне посочувствуешь. Да, пожалуй, на этот раз судьба обошлась со мной не слишком любезно, но, с другой стороны, я всю жизнь так боялась превратиться в старуху, так что не все ли равно? Как

любил говорить мой муж, кому какая разница?

— Вы многим небезразличны, Энн.

— Ну да, приятно так думать — только попробуй пересчитать их на пальцах. Назови хотя бы четверых. Да хоть троих.

— Послушайте, Энн, давайте поедем со мной, — сказала Люси. — Я отвезу вас на станцию, зайдем там в кафе…

— Нет. — И по одному ее виду было понятно, что с места она не сдвинется. — Раньше времени я отсюда не уеду. Я и так уже вниз спустилась — это была моя последняя уступка, да и то я о каждом шаге сожалею. Теперь мне хочется просто постоять здесь, пока они не приедут и… не заберут меня. Понимаешь? — Ее глаза вдруг наполнились слезами. — Это мой дом, понимаешь?

Когда такси все же подъехало, она садилась в машину так медленно и с такой осторожностью, что Люси догадалась, что ей больно. Не исключено, что в своем любовном гнездышке она терпела эту боль не одну неделю, а быть может, и не один месяц и только потом решилась позвонить врачу. Такси тронулось. Энн сидела, глядя прямо перед собой, как будто заранее решила не оглядываться, но Люси все равно стояла на обочине и махала, пока машина не скрылась из виду.

По старой привычке она стала думать, что из Энн Блейк мог бы выйти неплохой рассказ. Длинный и, в сущности, очень печальный, однако не без забавных моментов, а из этой сцены с такси вышла бы отличная концовка. Ничего даже придумывать не надо.

Она была уже почти в городе, когда до нее наконец дошло, что рассказами она больше не занимается. Теперь она занималась живописью. А если и из живописи ничего не выйдет — что ж, если у нее не получится стать даже художницей, то лучше, наверное, вообще оставить попытки стать кем-то особенным.

— Люси Дэвенпорт? — решительно осведомился в трубке глубокий голос. — Это Карл Трейнор.

С момента их последнего разговора, неловкого и крайне напряженного, прошел уже, наверное, год, и сегодня вечером она сразу же поняла, что сейчас он абсолютно один.

— …Было бы замечательно, Карл, — услышала она свой голос, как будто он вдруг перестал ей подчиняться. — Вообще, я теперь каждый день бываю в городе, так что нам совсем не трудно будет… встретиться.

Глава шестая

Адрес, который он ей дал, как и следовало ожидать, оказался тем самым баром на Шестой авеню, где в прошлый раз они просидели почти целый день. Он ждал ее за тем же столиком, и, войдя, она увидела в пыльных лучах полуденного света, как он поднимается ей навстречу.

— Ну что, Люси, — сказал он, — надеюсь, ты против этого заведения не возражаешь. Подумал, что здесь мы сможем начать примерно с того места, где остановились.

Он не казался уже таким худым, хотя вряд ли он действительно поправился, скорее, в нем прибавилось уверенности в себе, и он был гораздо лучше одет. Руки у него тоже не тряслись, даже и без всякого алкоголя, и она в первый раз заметила, какие они красивые.

Шесть месяцев он провел в Голливуде, начал рассказывать он, работал над сценарием по современному роману, который всегда ему нравился, но проект распался уже на стадии кастинга, потому что «им не удалось взять на главную роль

Натали Вуд»[57]. Теперь он дома, опять почти без денег, примерно там же, где и начал, не считая, конечно, того, что первая книга теперь давно позади.

— Книга прекрасная, Карл, — сказала она. — Продавалась-то хоть хорошо?

— Не, не особенно, хотя дешевое переиздание пошло неплохо. И мне до сих пор приходят письма, так что я знаю, что люди эту мою дурь все же читают; в сущности, только на это я по-настоящему и надеялся. Но теперь меня беспокоит другое: следующий роман написан уже на треть, а ощущение такое, что я так и не сдвинулся с мертвой точки. Начинаю понимать, что писатели имеют в виду, когда говорят о панике перед вторым романом.

— Я бы не сказала, что ты в какой-то особенной панике, — ответила Люси. — Скорее, у тебя вид человека, который точно знает, что делает.

Он знал, что делал, — это правда. Не прошло и двадцати минут, а они уже успели уйти из бара,

---

[57] Примечания: 57

Здесь Йейтс отдает Карлу Трейнору детали собственной биографии: в 1962 г., после выхода «Дороги перемен», романист сам провел полгода в Голливуде, работая над сценарием по роману Уильяма Стайрона «Ложимся во мрак». Предполагалось, что главные роли в будущем фильме сыграют Генри Фонда и Натали Вуд, однако заполучить этих актеров не удалось, и фильм так и не был запущен в производство.

пройти пару кварталов и оказаться в уединении его полутемной квартиры.

— Боже, девочка, — бормотал он, помогая ей раздеваться. — Прекрасная моя. Прекрасная моя девочка.

Поначалу ее смущало только одно: какая-то крохотная часть ее сознания оставалась холодной и трезвой, и эта часть, ускользнув из-под ее контроля, отмечала по ходу дела, каким, однако, внушительным и важным может быть мужчина в такие моменты, сколько все-таки серьезности в этой волосатой наготе и как она предсказуема! Стоит только дать ему груди — и вот он уже припал жаждущими губами сначала к одной, а потом к другой, вытягивает из сосков все, что может; стоит раздвинуть ноги — и рука тут же принимается за работу, роется и роется там без устали. Потом туда же устремляются губы, и вот он уже весь там — гордый, как мальчишка, что впервые туда проник; он бьется, он толкает, он готов любить тебя вечно — лишь бы только доказать, что он может.

Но ей понравилось — боже, до чего ж ей понравилось! — и эта предательская частичка сознания начисто заглохла задолго до конца. Потом, как только восстановилось дыхание и вернулся

обычный голос, она сообщила Карлу Трейнору, что с ним было «изумительно».

— Ты всегда знаешь, как правильно выразиться. Жаль, я так не умею, — сказал он.

— Умеешь. Конечно умеешь!

— Разве что иногда, но в основном — нет. Могу назвать тебе пару девушек, которые могли бы поспорить с тобой по этому поводу, Люси.

Квартира его не отличалась особой чистотой — у Люси был порыв схватить щетку, ведро горячей воды с нашатырем и наброситься на работу, — а в ванной, похоже, было грязнее всего. Но, выйдя из-под душа, она обнаружила на крючке два свежих полотенца, как будто специально поджидавшие ее прихода. Это было приятно, а еще было приятно, что он принес ей длинный фланелевый халат, льнувший к ногам, от чего по всей коже разливалось удовольствие.

Она убрала постель, хотя он сказал ей не утруждать себя, а потом босиком по голому полу прошлась по всей квартире. Та оказалась куда больше, чем ей сначала показалось; комнаты были правильных пропорций, с высокими потолками, и по утрам, вероятно, очень светлыми, хотя сейчас окна озаряли печальные краски заката, но почти пустыми: мебели едва хватало и укра-

шения отсутствовали напрочь. Даже книг было не очень много, а те немногие, что имелись, были так небрежно распиханы по полкам и стояли в таком беспорядке, как будто раздражение вызывала сама идея владения какими-то книгами.

Письменный стол поначалу тоже производил впечатление крайней небрежности и сумбура, а быть может, даже и хаоса, но потом на нем обнаруживался небольшой опрятный участок — сбоку стояла портативная машинка, рядом наготове лежали отточенные карандаши и несколько страниц новой рукописи, на верхней из которых зачеркнутых слов было ничуть не меньше, чем оставленных нетронутыми. Пожалуй, у Чипа Хартли были несколько другие представления о письменном столе, — впрочем, соответствующие этому столу представления вообще не входили в круг понятий Чипа Хартли.

— Детка, — спросил Карл откуда-то сзади, из темноты, — ты же еще не уходишь? Я имею в виду, ты сможешь остаться у меня на ночь или тебе надо куда-то там возвращаться?

И она ответила почти без раздумий.

— Ну, если ты дашь мне позвонить, — сказала она, — думаю, я смогу остаться.

Вскоре она уже ночевала у него по три-четыре

раза в неделю и проводила с ним каждый свободный вечер; так они прожили почти год.

Ей случалось видеть, как он, потерянный, нервно ходит из угла в угол, курит одну сигарету за другой, тараторит и в рассеянности одергивает в промежности брюки, как маленький ребенок, — в такие моменты ей не верилось, что он написал книгу, вызвавшую у нее столь безоговорочное восхищение. Но бывали и другие моменты, причем все чаще и чаще, когда он был спокоен, мудр, остроумен и знал, чем ей угодить.

— А ты ведь очень застенчивый на самом деле, правда? — спросила она как-то вечером, когда они возвращались с дурацкой вечеринки, которая ни ему, ни ей не понравилась.

— Ну да, конечно. Ты что, отсидела весь мой курс в Новой школе и не догадалась?

— Было, конечно, заметно, что тебе там не слишком комфортно, но за словом в карман ты никогда не лез.

— Ага, не лез за словом в карман, — повторил он. — Бог мой, ну почему люди так часто думают, что застенчивость обязательно значит косноязычие, робость и неспособность поцеловать девушку? Все это вообще тут ни при чем, как ты не понимаешь? Бывает такая застенчивость, от

которой болтаешь все время без умолку и целуешь девиц, даже когда тебе этого не хочется, потому что думаешь, что они ждут от тебя именно этого. Жуткая вещь такая застенчивость. Ни к чему хорошему она не приводит — и от нее именно я всю жизнь и страдаю.

Люси на ходу еще плотнее обвила его руку и прижалась к ней. Она чувствовала, что узнает его все лучше и лучше.

Как-то Карл сказал, что до смерти хочет успеть опубликовать пятнадцать книг и чтобы как минимум за три из них — «в лучшем случае четыре» — ему не пришлось бы извиняться. Ей нравилась сквозящая в этом желании отвага, и она сказала, что ему, несомненно, это удастся; потом, чуть позже, она начала подыскивать для себя значимое место в его карьере.

Раньше желание посвятить себя мужчине возникало у нее лишь однажды, когда они только познакомились с Майклом; из этого ничего не вышло, но разве это повод, чтобы отбросить саму возможность и не попытаться еще раз?

Пусть Карл и «увяз» сейчас в своем втором романе, как он уверяет, но присутствие Люси может помочь ему справиться с трудностями. Потом будет еще одна книга, потом другая, тре-

тья и так далее, и Люси, неизменно преданная ему, всегда будет рядом. К тому же она знала, что Карла ее деньгами не устрашить, — этого можно было даже не опасаться. Он не раз уже говорил ей — хоть и в шутку, но говорил, — что был бы не прочь пустить ее состояние на оплату своего жизненного пути.

Столь разное отношение к деньгам, догадывалась она, объяснялось тем, что Майкл Дэвенпорт никогда не знал бедности, — отсюда проистекала его неумолимая тяга к независимости. Карл Трейнор с молодых лет знал, что это такое, и поэтому понимал, что никакая это не добродетель, — и понимал, соответственно, что обладание нетрудовыми доходами еще не влечет за собой морального разложения.

Нередко казалось, что в мире нет ничего, чего Карл не понял бы или не смог бы понять после некоторого размышления; наверное, этому качеству он отчасти и был обязан убедительностью своей прозы; в любом случае именно поэтому у него без всяких усилий получалось быть добрым.

Люси обнаружила, что может рассказать ему о себе то, что никому никогда не рассказывала — даже Майклу, даже доктору Файну, — и одного

этого было достаточно, чтобы она ощутила, насколько основательным было в данном случае ее капиталовложение.

К тому же ей никогда не придется бросать живопись. Быть может, постепенно она станет писать все лучше и лучше, работ с годами прибавится — и в конце концов она станет таким же, как он, профессионалом, но противоречий это не породит, потому что у них не будет ни малейшего основания для соперничества или даже сравнения. Творить они будут в совершенно разных мирах, которые, быть может, послужат друг для друга приятным дополнением.

Она сможет с легкостью посещать презентации его книг или даже сопровождать его в рекламных турах, если он ее об этом попросит, и он сможет спокойно стоять рядом с ней в галереях — высокий, гордый, с вежливой улыбкой на лице — на открытиях ее выставок, где будет собираться живая культурная публика и где присутствие таких людей, как Том Нельсон и Пол Мэйтленд с супругами, можно считать заранее гарантированным.

Годам к пятидесяти, а быть может, и раньше, они наверняка будут вызывать у всех своих знакомых зависть и восхищение — и вполне возможно, что огромное количество людей будут

готовы отдать все что угодно, чтобы с ними познакомиться.

Но почти с самого начала у них случались мелкие, но довольно неприятные проблемы — ссоры, причем настолько резкие, что могли все испортить.

Еще в первые недели совместной жизни, когда они сидели в закусочной, в которой подавали стейки с картошкой и которую Карл называл своим любимым местом в Гринвич-Виллидж, она спросила, с кем это он был «не один» сразу после выхода своей книги.

— Знаешь, — сказал он, — эта история особо меня не красит. Ничего, если мы отложим разбирательство на некоторое время, а?

И он набил себе рот хлебом, как будто это могло положить конец дальнейшим расспросам.

Она была вполне готова повременить с разбирательствами, раз уж ему так хотелось, но чуть ли не следующей ночью он, наоборот, сам начал рассказывать эту проклятую историю, едва отдышавшись от занятий любовью, и это показалось ей поразительно неуместным. А рассказывал он долго.

Девушка была совсем юная, сказал он, только что из колледжа, полная смутных идей касатель-

но «искусств», — по-другому она не выражалась. Ну и к тому же она была очень хорошенькая: Карл Трейнор считал ее совершенно замечательной, и, когда она только к нему переехала, он, помнится, думал: если я помогу ей слегка повзрослеть, это будет само совершенство. Но довольно скоро выяснилось, что она была единственной из знакомых ему девушек, которая пила больше, чем он сам.

— Она могла упасть прямо в баре, — говорил он, — или грохнуться со стула на вечеринке. Каждый вечер напивалась до потери сознания, и, значит, вся ответственность каждый раз ложилась на меня: каждое утро я должен был вытаскивать ее из кровати, напяливать на нее одежду, выводить на улицу и сажать в такси — обязательно в такси, потому что она говорила, что метро ее «пугает», — так она добиралась на какую-то свою работу, у нее была мелкая редакторская должность где-то на окраине… Ну и когда мне предложили заняться сценарием, я решил ее типа бросить — сказал, что в Калифорнию хочу ехать один, — и в ту же ночь она хватает бритву и пытается вскрыть себе артерии на запястьях. Бог мой, как же я перепугался. Перевязал все это как мог и дотащил ее на руках до самого Сент-Вин-

сента[58]. Можешь себе представить? На руках! В ту ночь в неотложке дежурил какой-то испанец, довольно молодой, и он сказал, что артерию она не задела — всего лишь задела пару вен — и что он сможет остановить кровотечение тугими повязками. Но только она знала больше, чем я, — она знала, что за каждую попытку суицида в Нью-Йорке тебе автоматически дают шесть недель в Бельвю, — так что, как только перевязка закончилась, она спрыгнула с этого стола быстрее кошки. Выбралась через проулок на Седьмую авеню и понеслась так, что ее и полицейские бы не догнали. И когда я наконец поймал ее в подъезде старого доходного дома, в котором она жила, пока не переехала ко мне, она мне сказала ровно два предложения: «Уйди. Уйди отсюда». — Он тяжело вздохнул. — Вот и вся история. Думаю, на самом деле я ее любил — и, может, в каком-то смысле всегда буду любить, — но я даже не знаю, где она сейчас, и не сильно жажду узнать.

Они помолчали некоторое время, и потом Люси сказала:

---

[58] Примечания: 58

Католический госпиталь Святого Винсента (основан в 1849 г. и закрыт в 2010-м) был в середине XX в. основной больницей, обслуживавшей окрестности Гринвич-Виллидж. Находился на Седьмой авеню, на границе Гринвич-Виллидж и Челси.

— Ничего хорошего в этой истории нет, Карл.

— Бог мой, понятно, что ничего хорошего в ней нет. Что ты имеешь в виду?

— Как-то слишком много любования собой со стороны рассказчика, — сказала она. — Сплошное самовозвеличивание. Сексуальное фанфаронство. Такие истории меня никогда не интересовали. Зачем, например, тебе нужно было подчеркивать, что ты нес ее в госпиталь на руках?

— Ну как «зачем»? Затем что Седьмая авеню односторонняя, движение только в сторону центра. На такси мы бы слишком долго ехали, а я думал, что она умирает от потери крови.

— Ах, ну да. Умирает от потери крови, потому что так сильно тебя любит. Слушай, Карл, даже не пытайся написать об этом рассказ, ладно? По крайней мере, не пиши так, как ты его рассказал. Потому что, если ты это сделаешь, это только нанесет ущерб твоей репутации.

— Охренеть! — сказал он. — Мы тут лежим у меня в кровати в час ночи, и ты меня предупреждаешь, что моей «репутации» может быть нанесен «ущерб». Какое, однако, хладнокровие! Люси, я восхищен. А кроме того, я же сказал, что эта история…

— Тебя не красит. Я помню. Это же одно из твоих любимых выражений, правда? Ты его используешь, чтобы возбудить в людях интерес, так ведь? Добиться отсрочки, заставить их ждать, а потом вывалить все это на них, когда они меньше всего ожидают.

— Мы что, сейчас ссоримся? — спросил он. — Об этом идет речь? Я, что ли, должен перейти в контратаку, чтобы мы в конце концов вылезли из постели и проорали друг на друга всю ночь? Потому что если ты этого хочешь, любимая, то тебе не повезло. Лично я просто хочу спать.

И он отвернулся, но это был еще не конец. Минуту спустя он сказал с подчеркнутой сдержанностью:

— Думаю, дорогая, было бы целесообразно, если бы ты впредь воздержалась от рекомендаций по поводу того, чего мне не стоит писать, как мне не стоит писать и от прочей такой поебени. Ладно?

— Ладно.

И она обняла его в знак того, что сожалеет о своих словах.

Наутро она пожалела о них еще больше, потому что теперь она видела, что злость ее объяснялась не в последнюю очередь ревностью к этой юной алкоголичке, и поэтому она принесла сдержан-

ные, изящно сформулированные извинения, которых он даже не дослушал, потому что его разобрал смех и он кинулся обниматься, умоляя ее навсегда об этом забыть.

И все эти стычки действительно легко забывались, поскольку в их отношениях неделями царила едва ли не идеальная гармония; правда, предвидеть, когда случится следующая, было совершенно невозможно.

— А ты поддерживаешь связь с мистером Келли?

— С мистером кем?

— Ну, с Джорджем Келли, с нашего курса.

— Ах, с этим, который по лифтам… Нет. Что ты имеешь в виду, поддерживаю ли я связь?

— Ну, я просто надеялась, что вы, быть может, общаетесь. Он мне очень помог и вообще показался удивительно умным человеком.

— А, ну ясно, «удивительно умным». Слушай, девочка, мир кишит этими необработанными алмазами, этой солью земли, и они все удивительно умные. Бог мой, в армии я встречал полуграмотных парней, но таких умных, что можно было в штаны от страха наложить. Когда дело касается курса, приятно иметь у себя в группе парочку таких умников — можно почти всю работу свалить

на них, как я и поступал с Келли, но, как только курс позади, все кончено. И они прекрасно это понимают. Чего еще можно ждать? Они же не сумасшедшие.

— Вот как! — сказала она.

— Господи ты боже мой, Люси, ну какого черта тебе это надо? Тебе очень хочется поехать в Квинс, просидев в метро целый час, чтобы провести приятный вечер в компании Джорджа Келли? Там еще будет миссис Келли, с кофе и пирожными, и она будет что-то там тараторить, и по такому случаю на ней будет семь разных брошечек и побрякушечек, а в это время маленькие Келли, в количестве четырех или пяти, будут стоять по периметру, таращиться на тебя и жевать в унисон свои жвачки. Ты этого хочешь?

— Забавно, — сказала Люси. — Для человека, который даже не окончил колледж, у тебя поразительно развитое чувство классового превосходства.

— Ну да, ну да, я знал, что ты это скажешь. Знаешь что, Люси? Получается, я заранее знаю все, что ты хочешь сказать, еще до того, как ты это произнесешь. Если я когда-нибудь буду писать про тебя рассказ, диалоги пойдут на ура. Вообще не вопрос. Я просто откинусь на спинку стула, и

машинка все сама напечатает.

И на этот раз она от него ушла, сделав на прощание пару заявлений о том, как все это «отвратительно».

Но часа через три она пришла назад и принесла с собой четыре тщательно отобранные репродукции импрессионистских картин; он был так рад ее видеть, что, казалось, едва не плакал, когда стоял покачиваясь, но не выпуская ее из объятий.

— Бог мой! — сказал он чуть позже, когда она со всем тщанием расклеила картинки по стенам. — Поразительно, как они всё изменили. Не понимаю, как я умудрился прожить здесь все это время в окружении голых стен.

— Ну, эти тут будут только временно, — объяснила она. — Потому что у меня есть план. Ты разве не знаешь, что в отношении тебя у меня вообще полно планов? А план состоит в том, что как только у меня наберется достаточно работ, которые мне самой нравятся и которые мистер Сантос тоже одобрил, я привезу их сюда и развешу по стенам; это будет мой тебе подарок.

И Карл Трейнор сказал, что ничего лучше просто не придумать. Он сказал, что эта честь заведомо превосходит все, что он когда-либо надеялся заслужить.

Они уже сидели на кровати и робко, как дети, держали друг друга за руки; он сказал, что вовсе не хотел быть таким занудой в отношении Джорджа Келли. Сказал, что абсолютно не против позвонить ему сегодня вечером, или на этих выходных, или когда ей захочется.

— Дико мило с твоей стороны, Карл, — сказала она. — Но мы же с легкостью можем отложить это все. Может, потом ты по-другому к этому отнесешься. Так же лучше, правда?

— Ну да. Хорошо. И еще одна вещь, Люси…

— Какая?

— Пожалуйста, не уходи так больше. Ну то есть, ясное дело, остановить я тебя не могу, даже если ты решишь уйти навсегда, но в следующий раз попытайся как-то предупредить меня, ладно? Чтобы у меня была возможность переубедить тебя.

— Ну что ты, — сказала она. — Думаю, теперь нам о таких вещах не придется тревожиться, правда ведь?

И остаток этого неожиданно пьянящего вечера можно было посвятить только одному — раздеться, забраться под одеяло и с преувеличенным рвением заняться любовью.

Сам он заходил на кухню лишь для того, чтобы

сделать себе растворимый кофе или достать из холодильника молока или пива, но Люси довольно быстро обзавелась полным набором кастрюль и сковородок с медными днищами — они висели рядком на стене, — избыточным количеством тарелок и столового серебра и даже полкой для специй. («Полка для специй?» — спросил он, и она ответила: «Ну конечно полка для специй. Почему бы нам не завести полку для специй?»)

В ту зиму она часто готовила, и каждый раз он проявлял трогательную благодарность, хотя в конце концов она поняла, что он предпочитал рестораны, потому что, проработав целый день дома, вечером он «должен был» куда-нибудь выйти.

Похоже, что с приближением весны его тревога за книгу только нарастала. Из-за этого он периодически напивался, после чего вообще не мог работать, впрочем, у Люси были как минимум начальные представления о проблемах такого рода. Она помогла ему установить ежедневную норму алкоголя: пиво по требованию всю вторую половину дня, потом не больше трех бурбонов перед обедом, а после обеда — ничего; однако помочь ему с книгой она не могла. Он не давал ей даже прочитать рукопись, потому что «в основ-

ном это ерунда какая-то, и все равно ты никогда не разберешь мой почерк, не говоря уж обо всех этих проклятых вставках на полях, которые я и сам-то прочитать не могу».

Однажды он перепечатал для нее двадцатистраничный отрывок и укрылся на кухне, пока она читала. Когда она позвала его и сообщила, что отрывок «прекрасен», на его осунувшемся лице проступило некоторое спокойствие. Он задал ей несколько вопросов, чтобы убедиться, что больше всего ей понравились именно те места, которые, как он надеялся, и должны были ей понравиться, но уже через минуту-другую вид у него снова был встревоженный. То, что он думает, почти безошибочно читалось у него на лице: «Ну хорошо, ей хочется сделать мне приятное, но что она в этом понимает?»

На тот момент она понимала, что роман будет о женщине и что повествование тоже будет вестись от лица женщины, — что само по себе, по его словам, было огромной проблемой, потому что раньше он никогда не пытался писать от женского лица и не знал, получится ли у него убедительно провести женскую точку зрения через весь роман.

— В этом отрывке все очень убедительно, —

сказала она.

— Ну да, наверное; только двадцать страниц — это тебе не триста.

Кроме того, по намекам, которое он время от времени себе позволял, да и по содержанию прочитанного отрывка, было понятно, что главная героиня, которую звали Мириам, будет во многом списана с его бывшей жены. Ничего неприятного она в этом не находила: писателем он был хорошим, и ни злоба, ни ностальгия не должны были затемнить его повествование; кроме того, всем известно, что писатель имеет право черпать свой материал из каких угодно источников.

— Но даже если я справлюсь с повествованием от лица женщины, — говорил он, — остается куча других проблем. Боюсь, с этой дамой мало что происходит. Для романа сюжета явно маловато.

— Есть масса отличных романов вообще без всякого сюжета, — ответила Люси. — И тебе они знакомы ничуть не хуже, чем мне.

И он снова сказал ей, что она всегда знает, как правильно выразиться.

Как-то вечером они вернулись домой очень поздно, давно уже нарушив правило трех бурбонов. Они много выпили — вполне достаточно, чтобы опьянеть, почувствовать неуверенность

в движениях и завалиться спать, — но приятное отличие этого вечера состояло в том, что оба они прекрасно «держались»: настроение было приподнятое, им хотелось разговаривать — как будто сегодня вечером разговор мог получиться интереснее и ярче, чем в любой другой. Они даже налили еще по стаканчику и по-товарищески уселись в кресла друг напротив друга.

С этим повествованием от женского лица была одна проблема, сказал Карл, с которой Люси может помочь. И он попросил ее рассказать, как она ощущает себя во время беременности.

— Ну, со мной это было всего один раз, и к тому же давно, но мне этот период запомнился главным образом умиротворенностью. Ты физически замедляешься, боишься показаться громоздкой — я, по крайней мере, боялась, — но никакой нервозности в этом нет, все время сохраняется приятное ощущение общего здоровья: хороший аппетит, хороший сон.

— Отлично, — сказал он. — Это все очень хорошо.

Потом по слегка изменившемуся выражению его лица стало понятно, что следующий вопрос не будет иметь к роману ни малейшего отношения.

— А у тебя никогда не было мнимой беремен-

ности?

— Чего?

— Ну, знаешь, попадаются девушки, которым так хочется выйти замуж, что они начинают имитировать беременность. Они не просто заявляют, что беременны, — они весьма убедительно демонстрируют все без исключения симптомы. Мне попалась одна такая года три-четыре назад — довольно симпатичная, умненькая девица из Виргинии. Каждый месяц ее раздувало, груди так набухали, что сомнений не оставалось, а потом — бах! — месячные, и все исчезает.

— Карл, мне кажется, ты опять начинаешь, — сказала Люси.

— Что начинаю?

— Хвастаться. Еще одна история про то, что ты не любовник, а сущий дьявол.

— Нет, подожди, — сказал он. — Так нечестно. Какой еще дьявол? Если бы ты знала, как мне было страшно каждый месяц, ничего «дьявольского» ты в этом не нашла бы. Я только заламывал руки, как смиренная безропотная тварь. Потом в конце концов, на седьмой или восьмой раз, я отвел ее к самому крутому акушеру на Парк-авеню. Разорился на сто баксов. Ну и что ты думаешь? Выходит этот мудак из кабинета, улыбка до ушей,

и говорит: «Отличные новости, мистер Трейнор, поздравляю. Ваша жена беременна, ранний срок, никаких осложнений». Можешь себе представить, какой это был удар? А через два или три дня у нее снова месячные. Опять ложная тревога.

— И что ты после этого сделал?

— Я сделал то, что на моем месте сделал бы любой здравомыслящий человек. Собрал ей чемодан и отправил ее туда, откуда приехала, то есть в Виргинию.

— Ну хорошо, — сказала Люси. — Только скажи мне такую вещь, Карл. Неужели в отношениях с девушками ты никогда не был потерпевшей стороной? Неужели тебя ни разу не бросали, не рвали с тобой отношений, не говорили, чтобы ты убирался к чертовой матери?

— Не говори ерунды, девочка. Конечно бросали. Господи, да некоторые через меня буквально перешагивали. Некоторые вообще считали меня дерьмом на палочке. Бог мой, послушала бы ты, что́ моя жена обо мне говорит.

В июне или июле Карл вручил ей сто пятьдесят машинописных страниц — по его словам, чуть меньше половины книги — и попросил взять их с собой в Тонапак на пару дней.

— Ничего похожего на первую книгу ты там

не найдешь, — сказал он. — Грома и молний там нет; никаких оглушительных конфликтов, никаких сюрпризов, ничего в этом роде. Но все же первая книга не обязательно была смелее, чем эта, — просто там смелость была более очевидна, это был большой, мощный, «жесткий» роман. А на этот раз я пытаюсь сделать совсем другую книгу. Мне хочется написать спокойную, скромную на вид вещь. Меня больше заботила ясность и уравновешенность прозы. Ну то есть чисто эстетические ценности занимали меня больше, чем драматические эффекты.

Они стояли у него в прихожей; Люси держала в руках рукопись в плотном желтоватом конверте и уже начинала думать, что лучше бы он замолчал. Лучше бы уж просто отдал ей рукопись, чтобы она прочитала ее, как прочитал бы любой другой, но он, похоже, не мог отпустить ее без всех этих напутствий и пояснений.

— Думаю, лучше всего, — продолжал он, — если ты сначала прочитаешь все целиком в твоем обычном ритме, а потом еще раз пройдешься по тексту чуть медленнее, отмечая те места, которые, как тебе кажется, можно улучшить — расширить или сократить или каким-то образом изменить. Хорошо?

— Хорошо, — сказала она.

— И вот еще что: ты же знаешь старое сравнение с айсбергом? Про то, что семь восьмых находятся под водой, а над поверхностью торчит только самая верхушка? Вот что-то похожее я пытаюсь здесь сделать. Мне хочется, чтобы читатель почувствовал, что все эти обыденные частности подразумевают где-то в глубине что-то непомерное и даже трагическое. Понимаешь теперь, как это все устроено?

И она сказала, что будет иметь это в виду.

Вечером в Тонапаке, пообедав вместе с Лаурой и потратив довольно много времени на подробный с ней разговор, сама продолжительность которого должна была подтвердить, что к своим материнским обязанностям она относится с прежней добросовестностью, Люси легла пораньше и принялась за чтение.

Прочитав рукопись, она боялась признаться себе, насколько разочарована; потом, поспав немного урывками и слегка позавтракав без всякого аппетита, она снова уселась за чтение.

Похоже, эстетические ценности она вполне оценила, и ей уж точно было понятно, что он имел в виду под «скромной» — или скромной «на вид» — работой.

Это был слабый, банальный, скучный текст. Продираясь сквозь технически безупречные предложения, она все ждала, когда же там мелькнет хоть что-нибудь живое, и никак не могла поверить, что эту вещь написал человек, чья предыдущая книга некогда захватила ее остротой, мощью и быстрым разгоном, — в самом сравнении ей мерещилось предательство.

Еще раз она ощутила, что ее предали, когда дошла до тех двадцати страниц, о которых раньше отозвалась как о «прекрасных», — теперь, на фоне окружавшей их скуки, они лишились всей своей силы.

К тому же ей больше не верилось, что Карл списал Мириам со своей бывшей жены, потому что любая женщина из плоти и крови была на порядок интереснее этой. Проблема состояла в том, что он пытался сделать ее излишне добродетельной, что в любой ситуации она оказывалась права. Карл попросту соглашался с любым ее суждением и такого же согласия ждал от своих читателей; ко всему прочему, едва ли не все ее реплики звучали крайне неестественно, потому что она всегда говорила ровно то, что имела в виду.

Мириам имела склонность к философическим рассуждениям — небольшим изящным эссе, пре-

рывавшим повествование на несколько страниц кряду, и само их изящество выдавало стремление автора удовлетворить всем требованиям чуждой ему формы. После каждого такого эссе Люси поневоле спрашивала себя: неужели Карл занялся всей этой канителью только потому, что думал, что именно так пишут люди, окончившие в свое время колледж?

Сюжета в этом отрывке было, пожалуй, достаточно — как раз об этом беспокоиться не следовало, — но такого рода сюжет при наличии некоторых навыков не составил бы никаких затруднений и для весьма посредственного литератора. В первых главах Мириам была заброшенным ребенком, затем превращалась в одинокую девушку, которая влюбляется ненадолго в разных молодых людей, не склонных тратить на нее время, и наконец в ее жизни появляется человек, в котором сразу же угадывается будущий муж — бедный, неустроенный сочинитель рекламных статей с непомерными амбициями; на этом первая часть заканчивалась.

Но было очевидно: едва ли не любой читатель уже догадается к этому моменту, что произойдет во второй части: можно было заранее сказать, что этот брак будет неудачным; было заранее понят-

но, что они начнут ссориться и Мириам всегда будет выступать на стороне разума; и было совершенно очевидно, что после развода она ощутит себя отважной, самодостаточной женщиной и что ее аккуратно-философская манера мысли сохранится до самой последней страницы.

Если Карл Трейнор и напишет когда-нибудь пятнадцать книг, эта уж точно будет относиться к той их части, за которую ему придется извиняться. К этому конкретному айсбергу можно было без опаски приближаться на какое угодно расстояние: под водой не скрывалось ничего.

И все же Люси не устраивала суровость собственных оценок. В последний день перед возвращением в город она прогуливалась в одиночестве в тени своего большого двора, пытаясь себя разубедить. Она уже готова была признать, что отнеслась к рукописи несправедливо — хотя бы потому, что Карл, быть может, несколько ее утомил. Но как узнать, когда именно мужчина начинает тебя утомлять? Любая близость сопряжена с некоторым нетерпением и скукой; кому не знакомо это чувство?

Ей часто казалось, что она устала от Майкла Дэвенпорта задолго до того, как они расстались; в то же время она знала, что, если бы последние

несколько месяцев их совместной жизни не сопровождались таким острым дискомфортом, вполне возможно, они до сих пор были бы вместе. Интерес друг к другу вполне мог бы возродиться, и это было бы даже хорошо — хотя бы в том, что касается Лауры.

В похожей ситуации с Карлом, решила она, следовало оказать поддержку. Сказать, что эта вещь ее «потрясла», она не могла, но она вполне могла отметить стилистическое мастерство и похвалить отдельные сцены; чем больше она об этом думала, тем легче выстраивались у нее стройные ряды комплиментов, каждый из которых не был сам по себе лживым.

Так она и поступила, когда снова приехала к нему, и он принял ее комплименты с достоинством. Было видно, что он разочарован, но видно было и то, что его собственного интереса к книге будет достаточно, чтобы завершить работу над ней. Аналогия с айсбергом больше не всплывала, чем Люси была весьма довольна: она боялась, что, если спросить его, какой же такой непомерный трагизм скрывался за рассказом о жизни Мириам, он бросит на нее тяжелый взгляд и скажет: «Удел человеческий» — или что-нибудь в этом роде.

Жаркими летними вечерами Люси нередко

сидела у Карла в квартире и изводила себя раздумьями о его несостоятельности. Она делала вид, что читает журнал, пристально следя за малейшими движениями его склонившейся над карандашом спины, и давала себе волю часами придумывать самые плачевные исходы.

Этот неуверенный в себе, вечно ошибающийся, вечно жалующийся на судьбу человек никогда не напишет пятнадцати книг. В лучшем случае будет еще две-три, каждая следующая хуже предыдущей; всю оставшуюся жизнь он будет только болтать и пить, будет заводить девушек и рассказывать им про своих предыдущих девушек, будет преподавать в разных местах, и в любом из них работа его будет столь же бессмысленной, как и в Новой школе. Не важно, старым или молодым он умрет, но умирать он будет с мыслью о том, что, за исключением первого романа, ему просто нечего было сказать.

Она презирала себя за такие мысли. Если она настолько не верит в Карла Трейнора, то что она вообще здесь делает?

Иногда она поднималась и шла на кухню, потому что кухня всегда напоминала ей о лучших моментах их домашней жизни, — там ее злоба чаще всего утихала. В любом случае вера в человека

никакой особой роли не играет, а профессиональные успехи уж точно к делу не относятся; если бы дело было только в них, на свете не было бы сотен миллионов женщин, преданных мужчинам без звездного будущего. А кроме того, этот второй роман написан еще только наполовину. Еще есть шанс, что ему удастся несколько оживить его. Может быть, она даже сможет ему в этом помочь.

— Карл, — сказала она как-то днем, выходя из кухни с нарочитой непринужденностью, — мне кажется, я знаю, что тебе нужно сделать с Мириам.

— Да? — сказал он, не отрываясь от рукописи. — И что же?

— Речь не об отдельных недочетах — речь о более общих вещах. — И она тут же вспомнила, что именно с этой фразы начал разговор Джек Хэллоран, когда сообщил ей, что вся ее игра в тот вечер была слишком театральной. — Я вот думаю, — продолжала она, — не слишком ли сильным человеком она у тебя получается? Есть такая опасность.

— Не понимаю, — сказал он. Теперь он смотрел на нее не отрываясь. — В чем опасность-то? И почему ей нельзя быть сильным человеком?

— Ну, я вспомнила одно замечание Джорджа

Келли. Он сказал, что если присмотреться, то никакой разницы между слабыми и сильными людьми все равно нет и что, собственно, поэтому сама эта идея у хороших писателей доверием не пользуется по причине излишней сентиментальности.

— Вот как! Слушай, любимая, мне кажется, я не хуже тебя знаю, что мне нужно сделать с Мириам. Пусть Джордж Келли чинит свои ёбаные лифты, ладно? А эти ёбаные романы давай буду писать я.

Вечером, в легкой сентябрьской мороси, большие окна на красивом старом фасаде Лиги студентов-художников светились особенно благородно. Люси не спеша изучала облик этого здания, как будто собиралась писать с него картину, потому что сидела в покое и уюте в светлом кафетерии на другой стороне улицы. Уже не первую неделю она ежедневно заходила сюда после школы, брала бублик со сливочным сыром и чашечку чая, вознаграждая себя этой малостью за целый день упорной и честной работы. Но с самого начала она знала, что у ежедневных походов в кафетерий была и другая цель: ей хотелось где-нибудь задержаться, убить хотя бы полчаса перед тем, как отправиться домой к Карлу.

И в тот день она знала, что все пойдет наперекосяк, как только он открыл ей дверь.

— Бог мой, бывают же дни! — сказал он. — Сегодня целый день ругался с агентом — он думает, что мне следовало бы уже закончить книгу, — а потом пришлось выкинуть из текста двадцать семь страниц, на которые убил, наверное, месяца полтора.

Он уже некоторое время пил виски — это было понятно и по голосу, и по запаху.

— Как другие-то живут, а? — воскликнул он и решительно дернул за брюки в районе промежности. — Юристы всякие, зубные врачи, страховые агенты? Играют, наверное, в гольф или теннис, ходят на рыбалку, а мне все это недоступно, потому что я все время должен работать. Ах да, утром еще пришла эта убийственная бумажка из налоговой — хотят от меня кучу денег. Все хотят от меня денег, даже телефонная компания, даже квартирный хозяин. Всего-то за месяц ему не заплатил, а у него уже конец света. Тебе этого, разумеется, не понять: богатые не знают, что такое деньги. То есть знать-то они знают, только не понимают, чего эти деньги стоят.

Они сидели друг напротив друга в полутемной гостиной, и Люси не сказала пока ни слова.

— Ну, я бы не сказала, что их цена мне совсем незнакома, — начала она, — но не будем сейчас в это вдаваться. Сейчас важно, чтобы все эти финансовые проблемы не отвлекали тебя от работы. Я могу дать тебе любую сумму, чтобы покрыть все долги.

И по его лицу было видно, что он не знает, что сказать. Ему, конечно же, хотелось, чтобы она это предложила, но он не думал, что она сделает это так быстро. Если сразу же принять предложение, вечер лишится всякого драматизма, а если проявить гордость и отказаться, можно остаться без денег.

Поэтому для начала он не сделал ни того ни другого.

— Что ж, — сказал он, — надо подумать. Принести тебе выпить?

Она не встречала еще человека, для которого выпивка была бы такой необходимостью, — даже ей вечер без алкоголя стал казаться неполноценным, — поэтому, когда она с некоторой нерешительностью принялась за свой бурбон с водой, ей особенно отрадно было думать, что пить ей на самом деле не хочется. Вкус ее почти не интересовал.

Впрочем, сидеть в этой большой, нелепо обстав-

ленной комнате ей тоже не особенно хотелось — с трудом верилось, что с некоторых пор она проводит здесь столько времени. Даже если это место ей когда-то и казалось своим — разве что в самом начале, — вспомнить это ощущение сейчас было нелегко.

Помимо дома, где жила ее дочь, сейчас на свете имелось только одно место, которое Люси Дэвенпорт считала своим.

Сегодня она девять часов проработала над картиной, которая была почти готова и почти безупречна. Еще день или два, и она ее закончит — будет понятно, что переделок и доработок больше не требуется, и мистеру Сантосу это тоже будет понятно. Вот там она была у себя дома: в светлой студии, с ее гулом голосов и замечательным запахом краски, где все решалось светом и линией, формой и цветом.

— Ладно, — сказал Карл. — Давай тогда решим уже этот вопрос. Налоговая требует что-то около пяти тысяч, и со всеми мелкими долгами понадобится, наверное, шесть. Что скажешь? Не смущает тебя такая сумма?

— По тому, как ты говорил, — сказала она, — я решила, что будет гораздо больше.

И она достала из сумочки чековую книжку.

— Срок выплаты можем установить какой посчитаешь разумным, — начал он. — И давай добавим к конечной сумме проценты по текущей ставке; не знаю, какая она сейчас, — выясню завтра в банке.

— Не вижу в этом никакой необходимости, Карл, — сказала она, подавая ему готовый чек. — Все эти разговоры о сроках платежа и процентных ставках совершенно ни к чему. Я даже не настаиваю на том, чтобы ты вообще возвращал эти деньги.

Он поднялся и зашагал по комнате, то и дело дергая себя за брюки; потом он повернулся и уставился на нее суженными, горящими от гнева глазами и проговорил, указывая на чек:

— Вот как! Ты, значит, не настаиваешь, чтобы я возвращал эти деньги. Ну, раз мне не надо их возвращать, я тогда скажу, что тебе нужно сделать. Возьми тогда этот чек, переверни и на другой стороне, над тем местом, где должна стоять моя подпись, напиши: «За оказанные услуги».

— Боже! — сказала Люси. — Боже, какая низость! Даже если ты пьян, Карл, даже если ты думаешь, что это всего лишь шутка, — все равно это низко.

— Ну вот еще один экземплярчик в мою расту-

щую коллекцию, — сказал он и опять заходил по комнате. — Как меня только не называли, дорогая моя, но в низости меня еще никто не обвинял.

— Это низко, — повторила она. — Низко.

— Так, может, мы оба только и ждали этой сцены? Может, пора уже кончать? Может, пришло время друг от друга избавиться? Может, хватит тебе уже таскаться сюда из художественной школы, если ты не хочешь меня видеть? Может, хватит мне уже сидеть тут по вечерам в полуразбитом состоянии, оттого что мне не хочется видеть тебя? Господи, Люси, неужели ты до сих пор не поняла, что мы друг другу надоели до полусмерти?

Она стояла у шкафа, пытаясь найти свои вещи. Там было три или четыре платья, хороший замшевый пиджак и две пары туфель. Но нести все эти вещи было не в чем — не было даже бумажного пакета, который дают в магазинах, — и Люси махнула на них рукой и решительно хлопнула дверцей.

— Я прекрасно это понимаю, — сказала она. — Как минимум мне давно понятно — гораздо дольше, чем может тебе показаться, — что мне в твоем присутствии нестерпимо скучно.

— Отлично! — сказал он. — Чудненько! Значит, не будет никаких слез, да? Никаких взаимных

обвинений и прочих глупостей. Мы квиты. Что ж, удачи тебе, Люси.

Но она ничего не ответила. Она лишь постаралась убраться оттуда как можно скорее.

Ехать до Тонапака было долго, и уже по дороге она пожалела, что не пожелала ему удачи. Может, тогда ее уход не получился бы таким грубым, да и потом, этому человеку действительно не мешало бы пожелать удачи. Теперь было уже не вспомнить, порвала она этот шеститысячный чек или просто бросила на пол в целости и сохранности. Но и это уже не имело значения. Если чек был целый, через несколько дней она, вероятно, получит его по почте в сопровождении изящно сформулированного раскаяния и сожаления. Тогда у нее будет возможность вернуть ему этот чек, сопроводив собственной запиской — предельно краткой, — и вставить в нее пожелание удачи особого труда не составит.

Глава седьмая

В пятнадцать лет Лаура потолстела килограммов на двадцать, и это была еще не самая удивительная из происшедших с ней перемен.

Слова типа «крутой» и «кайфовый» заменили в ее словаре все «прикольное», но что самое поразительное — теперь она вообще крайне редко пользовалась этим своим словарем.

Ребенок, который трещал без умолку с тех пор, как научился говорить, и порой доводил родителей до исступления своей явной неспособностью вовремя остановиться, — эта подвижная, нервная, худенькая девчонка приобрела вместе с избытком веса молчаливость и скрытность, и теперь ей почти всегда хотелось побыть одной.

Ее спальня, еще недавно набитая плюшевыми медведями и разбросанными по всем углам одежками для Барби, превратилась в полутемное тайное святилище сладостных сопрановых плачей Джоан Баэз[59].

---

[59] Примечания: 59

Джоан Баэз (р. 1941) — американская фолк-певица, политический активист и правозащитник. Пик ее популярности пришелся на время массовых протестов против войны во Вьетнаме.

Через некоторое время Люси обнаружила, что Джоан Баэз она еще как-то воспринимает — если слушать вполуха, в ее голосе можно было даже уловить нечто утешительное, — а вот Боба Дилана не выносит в принципе.

Откуда у мальчишки такая наглость — взять и присвоить себе имя поэта? Почему нельзя было научиться писать, прежде чем сочинять собственные песни, или поучиться петь, прежде чем исполнять их на публике? Почему этому псевдотрубадуру нельзя было взять хотя бы несколько уроков игры на гитаре или хоть на этой убогой губной гармошке, прежде чем отправляться покорять сердца десятков миллионов детей? Иногда по вечерам, только чтобы не слышать этой музыки, Люси была вынуждена по часу, а то и дольше ходить по двору, сложив на груди руки или сжав их в замок у талии.

Когда грянули «Битлз», она сочла их вполне приличными, дисциплинированными исполнителями, только совершенно не понимала, зачем в своих первых записях они так старательно копировали звучание американских негров:

Вин А-а-а-а
Сей дет Са-а-син
А синк юл анда-стэн

Вин А-а-а-а
Сей дет Са-а-син
вона хэул йо хэн

Потом, когда они поуспокоились и вернулись к родным английским акцентам, она стала ценить их гораздо больше.

Убранство у Лауры в комнате состояло в основном из гигантских фотографий певцов и певиц, но однажды Люси увидела, как она вешает на стенку новый плакат, не имеющий к музыке никакого отношения. На самом деле плакат этот вообще ни к чему не имел отношения: это была репродукция абстрактной картины, которую мог написать любой сумасшедший.

— Радость моя, что это?

— Ну, это такое психоделическое искусство.

— Какое-какое искусство? Еще раз можно?

— Ты что, никогда этого слова не слышала?

— Нет, ни разу. И что это значит?

— Ну, это значит… это значит психоделическое. Ничего такого, мам.

Как-то вечером вернувшись из города, Люси обнаружила, что Лауры дома нет. Это было довольно странно — раньше она всегда была дома: слушала в одиночестве свои пластинки или сидела на кухне с какими-нибудь вечно голод-

ными толстеющими одноклассницами, — и чем больше проходило времени, тем более странным казалось Люси ее отсутствие. Она знала имена двух-трех девочек, у которых Лаура могла быть в гостях, но фамилии ей были неизвестны, так что на телефонную книгу надеяться не приходилось.

К десяти вечера ее посетила мысль о том, чтобы позвонить в полицию, но она передумала, поскольку не знала, что сказать. Нельзя же заявлять о пропаже ребенка в десять вечера, притом что еще утром ребенок был дома, но даже если бы было можно, это привело бы лишь к бессмысленной череде дурацких вопросов со стороны какого-нибудь полицейского.

Было почти одиннадцать, когда Лаура наконец вошла, ссутулившись, в дом, рассеянно оглядела и выпалила заранее приготовленное извинение — нескладное и досадно неуместное, как само отрочество.

— Извини, что я так поздно, — сказала она. — Мы с ребятами заболтались и не заметили, как прошло время.

— Лаура, дорогая, я едва не дошла до истерики. Где ты была?

— Да тут рядом, в Донарэнне.

— Где?

— Ну, в Донарэнне, мам. Где мы сто лет прожили.

— Но это же несколько миль отсюда. Как ты туда добралась?

— На машине. Чак с друзьями меня подбросил. Мы все время туда ездим.

— Какой еще Чак?

— Чак Грейди его зовут. Слушай, он в этом году оканчивает школу. То есть права у него уже пару лет как есть. Теперь он даже профессиональные права получил, потому что после школы развозит на грузовике хлеб.

— Это еще не все, — сказала Люси. — Чем объясняется твое желание туда ездить?

— Ну, мы с ребятами поднимаемся наверх, в общежитие, вот и все. Там… хорошо.

— Поднимаетесь в общежитие? — Люси почувствовала, что в ее голосе и выражении лица проступает истерика.

— Ну да, — сказала Лаура. — Где актеры жили, пока театр не закрылся. Просто там правда хорошо.

— Лаура, дорогая, — сказала Люси, — я хочу, чтобы ты мне рассказала, давно ли вы с друзьями пользуетесь этим заброшенным зданием. И еще мне бы хотелось узнать, чем вы там зани-

маетесь.

— В смысле — чем занимаемся? Ты что, думаешь, что мы туда трахаться ездим?

— Лаура, тебе пятнадцать лет, и я не потерплю от тебя таких выражений.

— Блядь, — сказала Лаура. — Охуеть.

Они стояли, уставившись друг на друга как смертельные враги, и неизвестно, до чего бы все это дошло, если бы Люси не сообразила, как снять напряжение.

— Ладно, — сказала она. — Хорошо. Лучше нам успокоиться. Сядь, пожалуйста, вон туда, а я сяду здесь, и мы подождем, пока ты соберешься с мыслями и ответишь на мои вопросы.

Лаура едва не плакала (хороший это знак или плохой?), однако все, что Люси хотелось знать, она рассказала. Прошлым летом двое ее знакомых мальчишек обнаружили, что замок на здании общежития сломан. Они проникли внутрь и обнаружили, что кухня в полном порядке и электричество до сих пор есть, потом с помощью девочек привели в порядок весь дом и устроили там нечто вроде клуба. Собрали кое-какую мебель, привезли посуду, стереосистему, набрали кучу музыки. Сейчас там было десять-двенадцать завсегдатаев — в основном девочки, мальчиков

гораздо меньше, и, ясное дело, ничего плохого они не делали.

— А марихуану вы там курите, Лаура?

— Не-а, — ответила девочка, но потом уточнила: — Ну, ребята, конечно, приносят и курят, наверное, по крайней мере говорят, что обкурились, но я несколько раз пробовала, и мне не понравилось. Пиво мне тоже не очень понравилось.

— Ладно. И скажи мне еще вот какую вещь. Когда вы там собираетесь с этими мальчиками, которые старше вас, с Чаком Грейди например, вы там… вы уже… в общем, невинности-то ты еще не лишилась?

Лаура посмотрела на нее так, как будто ничего более абсурдного в жизни не слышала.

— Мам, ты, наверное, издеваешься, — сказала она. — Мне лишиться невинности? Да я же толстая как слон, и вообще уродина. Господи, да я, наверное, так и буду всю жизнь девственницей.

И последняя часть фразы прозвучала с таким трагизмом, что Люси не раздумывая бросилась к креслу, в котором сидела ее дочь.

— О боже, девочка, ничего глупее я в жизни не слышала, — сказала Люси и с нежностью прижала голову Лауры к своей груди, не теряя, впрочем,

готовности отпустить дочь при малейшем намеке на то, что та хочет высвободиться. — Не знаю, с чего ты взяла, что ты уродина. Да ничего подобного. У тебя приятное, симпатичное лицо, и никуда оно не денется. Сейчас ты просто располнела — главным образом потому, что слишком часто перекусываешь, и мы сто раз это обсуждали; кроме того, это абсолютно нормально. Я в твоем возрасте тоже была полной. И послушай, что я тебе скажу — честно, от всего сердца. Еще два-три года, и от мальчиков отбою не будет — устанешь подходить к телефону. Сколько захочешь, столько их в твоей жизни и будет, но выбор, дорогая, выбор всегда будет за тобой.

Лаура ничего на это не ответила — было даже неясно, слушала ли она вообще, — так что матери не оставалось ничего другого, как вернуться к своему креслу, снова сесть напротив и перейти к самой неприятной части разговора.

— А пока что, Лаура, — сказала она, — пока я не разрешаю тебе ходить в это общежитие. Вообще.

Мать и дочь уставились друг на друга, и в комнате повисло соответствующее моменту тяжелое молчание.

— Да? — тихо проговорила Лаура. — И как же ты собираешься меня не пускать?

— Если понадобится, перестану ездить в Лигу и буду сидеть дома круглые сутки. Буду забирать тебя из школы и привозить домой. Может, тогда ты поймешь, какой ты еще ребенок. — И Люси перевела дыхание, чтобы следующая ее фраза прозвучала максимально бесстрастно: — А вообще, если подумать, есть куда более простой способ: достаточно будет одного звонка. Ведь вы, ребята, вторгаетесь в чужие владения — вы же понимаете, что это противозаконно.

На лице у девочки показался испуг, впрочем испуг киношный, как в дешевых детективах: глаза у нее ненадолго расширились, а потом внезапно сузились.

— Но это же шантаж, мам, — сказала она. — Чистый шантаж.

— Думаю, неплохо было бы тебе сначала немного подрасти, — ответила ей Люси, — а уж потом обвинять меня в шантаже.

Она снова помолчала, чтобы собраться с силами и перевести разговор в мирное русло.

— Лаура, я не вижу причин, по которым мы с тобой не могли бы спокойно все это обсудить, — сказала она. — Я прекрасно понимаю, что молодежь любит устраивать сборища в каких-то своих особых местах; это всегда так было.

В данном случае все мои возражения сводятся к тому, что это конкретное место тебе не подходит. Это нездорово.

— Почему «нездорово»? Откуда это взялось? — спросила Лаура; этот оборот речи достался ей от отца («Почему „драгоценные“? Почему „для избранных“? И откуда взялся „Кеньон ревью“?»). — Знаешь что, мам? Знаешь, кто в этом общежитии всю дорогу ошивается, я тебя умоляю? Фил и Тед Нельсоны — вот кто, а ты ведь считаешь, что Нельсоны таки-и-и-е замеча-а-тельные. Именно так ты все время и говоришь, сколько я себя помню: «Ах, Нельсоны таки-и-и-е замеча-а-тельные!»

— Имитацию твою оценить не могу, — сказала Люси, — и насмешку тоже. Удивительно, что братья Нельсон завели себе такие привычки, потому что их растили в атмосфере высокой культуры.

Она тут же пожалела об этой «атмосфере высокой культуры», потому что именно над такими фразами Том Нельсон всегда хохотал до упаду, но сказанного было уже не вернуть.

— Но все равно, что бы там ни делали братья Нельсон, нас это не касается. Я беспокоюсь исключительно о тебе.

— Не понимаю, — сказала Лаура. — Почему мальчикам можно делать все, что им заблагорас-

судится, а девочкам — нет?

— Потому что они мальчики! — крикнула Лаура, вскочив на ноги и тут же сообразив, что всякий контроль над собой она уже потеряла. — Мальчики испокон веков делали, что им заблагорассудится, неужели ты даже этого не знаешь? Неужели ты этого еще не поняла, дурочка ты несчастная! Сколько надо ума, чтобы знать такие вещи? Им можно быть безответственными, можно потакать каждой своей прихоти, они могут позволить себе любое легкомыслие или жестокость — и ничего им за это никогда не бывает, потому что они мальчики!

Она замолчала, хотя ей самой было понятно, что замолчала она слишком поздно. Лаура тоже встала: она пятилась вглубь комнаты, глядя на мать с опаской и сожалением.

— Мам, ты бы за этим последила, а? — сказала она. — Может, психиатр даст тебе таблетки посильнее или что они там обычно делают?

— Давай я с этим как-нибудь сама разберусь — договорились? А теперь… — и Люси пригладила волосы, отчаянно стараясь вернуть себе самообладание, — а теперь давай я приготовлю тебе что-нибудь поесть, перед тем как ты ляжешь спать.

Но Лаура сказала, что есть не хочет.

— …Суть в том, что я вела себя абсолютно иррационально, — рассказывала Люси в кабинете доктора Файна пять дней спустя. — Я набросилась на нее как какая-то идиотка, у которой в душе ничего нет, кроме непреходящей ненависти к мужчинам. Меня это страшно испугало, и я до сих пор не могу от этого испуга избавиться, потому что никогда я такой не была и не хочу быть.

— Ну, для родителей подростковый период — особое испытание, — начал доктор Файн с такой осторожностью, как будто собирался сообщить ей что-то, чего она не знала. — И особенно трудно приходится, конечно, одиноким родителям. Чем отчаяннее ведет себя ребенок, тем жестче отвечает ему родитель, что, в свою очередь, провоцирует ребенка на дальнейшие вспышки протеста — так образуется своего рода порочный круг.

— Да, — сказала она, изо всех сил стараясь сохранить терпение. — Но я, видимо, не совсем удачно выразилась, доктор. Я пыталась объяснить, что с Лаурой и с этим ее общежитием я и сама прекрасно справлюсь. С вами же мне хотелось обсудить совсем другое — это вот ощущение неподдельного беспокойства за саму себя, эти множащиеся страхи по моему собственному

поводу.

— Я понимаю, — сказал он с тем быстрым автоматизмом, который всегда является знаком полного непонимания. — Вы выразили эти страхи, и я могу только сказать, что, на мой взгляд, они преувеличены.

— Что ж… отлично, — сказала Люси. — Я, получается, снова пришла сюда непонятно зачем.

Случись это несколько лет назад, она, наверное, вскочила бы на ноги, подхватила пальто и сумочку и направилась бы к двери. Но у нее сложилось ощущение, что все драматические возможности подобных уходов она уже исчерпала. Слишком часто она уходила от доктора Файна — ничего нового этим сказать было уже нельзя; а кроме того, на следующем сеансе никогда нельзя было понять, имел ли он что-либо против подобных выходок.

— Жаль, миссис Дэвенпорт, — сказал он, — что вас посещает порой ощущение, будто вы пришли сюда непонятно зачем, но, быть может, мы сможем продвинуться дальше, если попытаемся в этом ощущении разобраться.

— Да, хорошо, — сказала Люси. — Давайте.

— Мистер Сантос? — как-то вечером окликнула она в Лиге своего преподавателя. — Можно мне

будет поговорить с вами, когда вы освободитесь? — И когда он подошел к ней, она сказала: — Среди моих друзей есть двое профессиональных художников, и мне бы очень хотелось показать им какие-нибудь из своих работ. Вот двенадцать холстов, которые я отобрала, и я подумала, что, может быть, вы сможете просмотреть их и укажете на четыре или пять, которые вам кажутся лучше других.

— Конечно, — сказал он. — С удовольствием, миссис Дэвенпорт.

Она думала, что он будет подолгу задерживаться на каждой картине, извлеченной из ее громоздкого штабеля, будет рассматривать ее, склоняя голову то на одну, то на другую сторону, как он делал, когда подходил к еще не законченной работе; а он вместо этого прошелся по ним так быстро и с таким очевидным желанием поскорее справиться со своей задачей, что она впервые спросила себя, нет ли в нем чего-то слегка… ну, чего-то слегка ненастоящего.

Он отставил в сторону шесть картин, потом глянул на них с сомнением и вернул две из них обратно.

— Эти, — сказал он. — Эти четыре. Это лучшие ваши работы.

И она почти уже спросила, откуда он знает. Но вместо этого по давней своей привычке сказала:

— Спасибо вам огромное за помощь.

— Всегда пожалуйста.

— Люси, позвольте мне помочь вам, — сказал симпатичный молодой человек по имени Чарли Рич, с которым они работали в одной студии.

Вдвоем они вынесли все двенадцать холстов из Лиги студентов-художников, спустились с ними по тротуару и сложили в багажник ее машины так, чтобы четыре выбранные мистером Сантосом работы оказались сверху.

— Люси, надеюсь, вы нас не покидаете? — спросил Чарли Рич.

— Нет, не думаю, — сказала она ему. — Пока нет. Я еще вернусь.

— Отлично. Рад это слышать. Потому что вы относитесь к тем немногим людям, с которыми я каждый день жду встречи.

— Что ж, мне очень приятно, Чарли, — сказала она. — Спасибо.

Он был крепкий, приятный молодой человек и хороший художник; ей показалось, что он лет на десять-двенадцать моложе ее.

— Мне давно хотелось пригласить вас пообедать, — сказал он, — но я так ни разу и не

решился.

— Что ж, было бы неплохо, — ответила она. — Я бы с удовольствием. Давайте сделаем это в ближайшее время.

На ветру у Чарли растрепались волосы, и он стал придерживать их одной рукой. Прическа была у него длиннее и объемнее обычной — примерно как у Битлов, примерно как у братьев Кеннеди, — и в последнее время она видела нечто похожее едва ли не у всех парней. Еще несколько лет — и обычной мужской прически просто не станет, как не осталось больше обычных мужских шляп.

— Что ж, — сказала она, вынув из сумочки ключи от машины и переложив их в правую руку, — мне нужно двигаться. Я собираюсь сегодня показать свои работы двум очень хорошим художникам-профессионалам, так что мне даже страшновато. Может, вам стоило бы за меня помолиться.

— Нет, Люси, помолиться я ни за кого не могу, — сказал он, — потому что я никогда во все это не верил. Лучше я вот что сделаю… — Он подошел к ней и дотронулся до ее руки. — Я буду все время о вас думать.

Сначала она поедет в Хармон-Фолз. Вчера она

звонила Полу Мэйтленду, чтобы договориться об этой встрече, и он пытался увильнуть, ссылаясь на то, что с оценкой чужих работ у него всегда были проблемы; но она настояла.

— С чего ты взял, что тебе придется что-то оценивать, Пол? Я просто хочу, чтобы ты посмотрел на картины и сказал, нравятся они тебе или нет, — вот и все; потому что, если они тебе понравятся, для меня это будет значить очень и очень много.

И с этого момента она начала фантазировать. Она знала, что сразу же поймет, понравились они ему или нет. Если, увидев картину, он посмотрит на нее с едва заметным кивком или улыбкой, это будет значить, что картина ему нравится. А если он, повинуясь порыву, обнимет ее рукой за талию или сделает что-нибудь другое в этом роде, это будет значить, что она, по его мнению, настоящий художник.

Потом к ним, наверное, подойдет Пегги Мэйтленд, чтобы стать третьей в этом долгом товарищеском объятии, — и они будут беспрестанно смеяться из-за того, что теряют равновесие и наступают друг другу на ноги, — и на гребне этого восторга Люси не составит особого труда притащить их с собой на вечеринку к Нельсонам.

— Давно пора, Пол, — скажет она. — Давно пора избавиться от этих бессмысленных предрассудков. Нельсоны — прекрасные люди, и они будут рады с тобой познакомиться.

И тогда в студии Тома Нельсона замечательным образом соберутся сразу три художника. Мужчины будут поначалу вести себя сдержанно — крепко пожмут друг другу руки, а потом отступят на шаг назад, чтобы оглядеть друг друга с ног до головы, — но вся напряженность исчезнет, как только Люси принесет и покажет свои работы.

— Господи, Люси, — едва слышно проговорит Том Нельсон. — Когда ты успела научиться так писать?

Впрочем, Люси не надо было объяснять, каким предательским бывает воображение. Доктор Файн называл это «фантазированием» — словом столь же диким и тяжеловесным, как и все остальные из его арсенала, и она решительно выкинула все это из головы.

Когда Люси подъехала к дому Мэйтлендов, Пол был еще на работе, возился с очередным плотницким заказом; и это было крайне неудачно, потому что Люси знала, что от Пегги Мэйтленд особо радушного приема ждать не приходится.

— Я никогда не пью, пока Пол домой не при-

дет, — объяснила Пегги, когда они неловко уселись друг напротив друга, — но могу предложить тебе чашечку кофе. И я как раз утром напекла печенья с изюмом — хочешь?

Кофе Люси на самом деле не хотелось, а с печеньем проблема состояла в том, что на вид оно было не меньше шести дюймов, и как его вообще можно съесть, Люси попросту не знала. Говорить с Пегги Мэйтленд было практически не о чем — было всего две-три общих темы, и Люси старалась задержаться на каждой из них как можно дольше, только чтобы не сидеть потом в полном молчании.

Да, у мамы и отчима было «все нормально». Да, у Дианы и Ральфа Морина тоже все было «нормально», хотя они все еще жили в Филадельфии; у них было уже двое маленьких сыновей и скоро должен был родиться третий ребенок.

— И кстати говоря, — сказала Пегги, — я тоже беременна. Мы совсем недавно об этом узнали.

Люси сказала, что это замечательно; сказала, что очень рада; сказала, что она уверена, что рождение ребенка принесет им обоим огромную радость, и даже выразила надежду, что этот ребенок будет первым из многих других, потому что Пол и Пегги всегда казались ей идеальной парой

для большой многодетной семьи.

Но пока она прислушивалась к собственному голосу, произносящему все эти слова, не решаясь отвести ото рта это гигантское печенье, она прекрасно понимала, что, как только она замолчит, в комнате воцарится молчание.

Так оно и оказалось. У нее получилось еще откусить печенье и сказать, жуя, «очень вкусно», но после этого тишину не нарушало уже ничего. Пегги не задала Люси ни одного вопроса — не спросила даже ни про Лауру, ни про Лигу студентов-художников, — а раз вопросов больше не было, то и разговор продолжаться не мог. Предавшись молчанию, они обе сосредоточились на одном: ждали, когда придет Пол.

«Ты никогда мне не нравилась, Пегги, — сказала про себя Люси. — Ты очень симпатичная, и я знаю, что все считают тебя сокровищем, только вот мне ты всегда казалась испорченной, самовлюбленной и грубой. Почему ты не повзрослела и не научилась быть доброй, как большинство других людей? Хотя бы внимательной к другим? Хотя бы вежливой?»

Но вот наконец за дверью послышался топот, и в дом вошел Пол.

— Привет, — сказал он, опуская на пол ящик с

инструментами. — Рад тебя видеть, Люси.

Выглядел он устало — заниматься физической работой ради служения искусству было ему уже слегка не по возрасту, — и направился он прямиком к бару. Люси решила, что ей повезло, потому что, как только Мэйтленды повернулись к ней спиной, она смогла открыть сумочку и запихать туда это проклятое печенье.

Пол почти уже допил второй стакан, когда вспомнил, зачем приехала Люси.

— Ну так и что с этими картинами? — спросил он.

— Они у меня в машине.

— Помочь тебе принести?

— Нет, Пол, сиди, — сказала она. — Я сама принесу. Там их всего четыре.

Когда она внесла их в дом и стала расставлять в гостиной вдоль стены, она уже настроилась на разочарование. И в первую очередь она готова была пожалеть, что вообще приехала в этот дом.

— Ну что, славные работы, Люси, — сказал Пол через некоторое время. — Очень славные.

Мистер Сантос умел сказать это слово так, что оно наполняло тебя гордостью и надеждой, но Пол употреблял его совсем иначе. И, оторвавшись от картины, он ни разу даже не посмотрел

на Люси.

— Я никогда не мог толком ничего оценить, я тебе говорил, — сказал он, — но в данном случае я, конечно же, вижу, сколько дала тебе Лига. Ты многому научилась.

Собраться и сложить картины получилось быстрее, чем расставить их для показа, и, направляясь к двери, она с легкостью подхватила их под мышку.

Пол поднялся, чтобы с ней попрощаться, и только в этот момент в первый раз посмотрел ей в глаза: его печальный взгляд по-дружески просил у нее прощения за то, что он не смог сказать большего.

— Не забывай нас, Люси, приезжай почаще, — сказал он, а Пегги не сказала ни слова.

Люси заехала домой, только чтобы принять душ и переодеться, потому что обещала быть в студии у Тома Нельсона задолго до того, как начнут собираться гости. Пока она причесывалась, ее охватила какая-то тихая радость, и она только потом поняла, в чем было дело: Чарли Рич будет все время о ней думать.

Том сидел и барабанил под запись Лестера Янга и был, казалось, полностью погружен в музыку, однако стоило ему увидеть Люси, как он мо-

ментально остановился, поднялся и выключил проигрыватель.

— Слушай, Том, — начала она, — хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал. Если картины тебе не понравятся, ты так мне и скажи. Если сможешь объяснить, почему они тебе не нравятся, мне это будет полезно, — может быть, это чему-нибудь меня научит; но главное, чтобы ты сказал мне все это прямо. Давай без дураков, ладно?

— Ну, это уж само собой, — сказал Том. — Буду безжалостен. Буду зверски жесток. Только давай я для начала скажу, что выглядишь ты сегодня потрясающе.

И когда она благодарила его за комплимент, изобразить особую стеснительность у нее не получилось — она знала, что действительно хорошо выглядит. На ней было новое платье, причем такое, про которые говорят: «Ах, ты в нем совершенно преобразилась!» — прическа была точно какая надо, а желание услышать оценку собственных работ, вполне возможно, придавало выражению ее лица и глаз определенное сияние.

Она расставила все четыре картины вдоль стены рядом с барабанной установкой, и Том по очереди присел перед каждой из них, чтобы внимательно рассмотреть. Делал он это очень

неспешно, и она начала уже подозревать: он просто тянет время, пытаясь сообразить, что можно сказать.

— Ну да, — проговорил он наконец и провел своей выразительной рукой вдоль изогнутой линии на картине, которую она считала своей лучшей. — Ну да, вот это очень симпатично сделано. Да и вообще вся эта часть симпатичная; и вот эта тоже. И еще вот здесь, на этой картине, очень удачная композиция. И цвета тоже удачные.

Потом он встал, и она знала, что, если у нее не будет вопросов, разговор на этом закончится.

— Ну да, Том, — сказала она, — я понимаю, что эти картины вряд ли тебя покорили, но можешь ты мне сказать, как ты в общем их оцениваешь? Не кажутся они тебе каким-то капустником в Дикси?

— Не кажутся ли они мне чем?

— Ну, это просто такое выражение. Я хотела спросить, не кажутся ли они тебе совсем уж любительскими?

Он отступил от нее и с видом одновременно раздраженным и сочувственным засунул обе руки в боковые карманы своей десантной куртки.

— Ну, Люси, — проговорил он, — что я могу сказать. Конечно, они любительские, дорогая, но это

потому, что ты и сама любительница. Нельзя же требовать от человека профессиональной работы после нескольких месяцев в Лиге; в общем, никто от тебя этого и не ждет.

— Какие несколько месяцев, Том? — сказала она. — Я хожу туда уже почти три года.

— Можно мне глянуть? — крикнула с кухни Пэт Нельсон и тут же вошла в студию, вытирая руки о посудное полотенце.

Она глянула на картины, потом добросовестно, не торопясь рассмотрела каждую и в конечном счете сообщила Люси, что они впечатляют.

Но скоро уже должны были подъехать первые гости, так что Люси вынесла картины во двор, где стояла ее машина. Она положила все четыре поверх восьми остальных, а потом с силой захлопнула багажник и закрыла его на ключ — настолько решительно, что было понятно: в Лигу студентов-художников она больше не вернется.

Она долго стояла одна в тени громко шелестящих высоких деревьев, на манер Бланш Дюбуа прижимая к губам костяшки пальцев; только она не плакала. Впрочем, Бланш тоже никогда не плакала; это Стелла могла позволить себе «сладко» разрыдаться. У Бланш не было в этом нужды, потому что отчаяние было знакомо ей не

понаслышке, и Люси чувствовала, что скоро тоже познакомится с ним вплотную.

Однако отчаянию придется подождать еще как минимум несколько часов, потому что у Нельсонов сегодня была вечеринка. Чип Хартли тоже, вероятно, приедет, но она давно уже научилась этого не бояться: они не раз встречались на этих вечеринках уже после того, как расстались, и с удовольствием друг с другом беседовали. Один или два раза — три на самом деле — она даже отправлялась в Риджфилд, чтобы переспать с ним. Они были «друзья».

И уже на подходе к дому, у самой кухонной двери, она передумала насчет Лиги. Она туда вернется — хотя бы для того, чтобы увидеть Чарли Рича. Вдруг он окажется гораздо старше, чем выглядит; и потом, каким бы предательским ни казалось слово «друзья», она знала, что скоро ей понадобятся все друзья, какие только найдутся.

В яркой от влаги кухне она стояла, как модель, положив одну руку на бедро, и спокойно приглаживала волосы другой. Ей было тридцать девять лет, и ни о чем в этом мире она ничего толком не знала и, наверное, никогда уже не узнает, но ей не нужен был ни Том Нельсон, ни кто-либо другой, чтобы знать: никогда еще она не выглядела

так хорошо.

— Пэт, — сказала она, — раз уж все и так в курсе, что я практически алкоголичка, думаешь, нормально будет, если я налью себе стаканчик?

Часть третья

Глава первая

В ретроспективе жизнь после развода всегда распадалась для Майкла Дэвенпорта на два исторических периода: до Бельвю и после Бельвю. И хотя первый длился всего год с небольшим, в памяти он занимал гораздо больше времени — хотя бы потому, что в этот период с ним столько всего произошло.

Это был год меланхолии и сожалений, и, чтобы вспомнить об этом, Майклу достаточно было взглянуть на бесконечную печаль, которую не могли изгнать с лица дочери ни улыбка, ни даже смех. И все же вскоре он обнаружил, что одиночество может быть источником неожиданной силы, — он нередко оживлялся и приходил в состояние юношеской отваги и готовности; и втайне он всегда гордился тем, что уже через три недели после отъезда из Тонапака ему удалось покорить молодую и потрясающе красивую девушку.

— Место-то, конечно, ничего, — сказал Билл Брок, осматривая дешевую квартиру, которую Майкл нашел себе на Лерой-стрит в Уэст-Виллидж. — Но нельзя же все время отсиживаться в

этой дыре, Майк, ты же тут с ума сойдешь. Смотри: в пятницу вечером на севере будет мажорская вечеринка — какой-то рекламист ее устраивает, я сам его толком не знаю. Косит под какого-то суперудачливого гангстера — ну да и хрен с ним: на такой вечеринке кто угодно может оказаться.

И Брок присел на корточки перед письменным столом, чтобы написать на бумажке адрес и фамилию.

Дверь там открыл радушный мужчина, тут же объявивший, что друзья Билла Брока — его друзья, и Майкл нерешительно вошел в комнату, забитую галдящими и выпивающими незнакомцами, производившими впечатление прохожих, которых собрали наугад на ближайшей улице: их сходство ограничивалось дорогой одеждой.

— Толпа собралась немаленькая, — сказал Билл Брок, когда Майклу удалось наконец его найти. — Только никого особенно интересного, боюсь, нет — в смысле никого свободного. Разве что в той комнате имеется необыкновенная молодая британка, но к ней не подойти. Окружена со всех сторон.

Она и вправду была окружена: за ее внимание одновременно боролись пятеро или шестеро мужчин. Но она была вся настолько необыкно-

венная — глаза, губы, скулы, аристократический английский прононс — все как у первой красавицы из какого-нибудь английского фильма, что любая попытка протиснуться к ней поближе не казалась лишенной смысла.

— …Мне нравятся ваши глаза, — сказала она ему. — У вас очень печальные глаза.

Уже через пять минут она согласилась встретиться с ним у выхода, «как только получится отсюда смотаться»; на это ушло еще пять минут; и следующие полчаса они провели за выпивкой в ближайшем баре, где она сообщила, что ее зовут Джейн Прингл, что ей двадцать лет, что она приехала в Америку пять лет назад, когда ее отца «назначили руководителем американского отделения какой-то гигантской международной корпорации», что теперь ее родители развелись и что она «уже какое-то время совсем неприкаянная». Правда, она тут же заверила его, что ни от кого не зависит: на жизнь она зарабатывала в каком-то театральном агентстве, где была секретаршей, и работа ее устраивала («Люди мне там нравятся, и они меня любят»).

Но Майкл уехал с ней из этого бара на такси еще до того, как она закончила все это рассказывать, и едва ли не в следующее мгновение она уже лежа-

ла голая у него в кровати, сладостно обвивая его ногами, извиваясь и задыхаясь от нахлынувшего на нее, как она чуть позже заверила его сквозь слезы, первого в жизни оргазма.

Джейн Прингл была так прекрасна, что в ее присутствие почти невозможно было поверить, но больше всего ему нравилось то, что она была не против остаться с ним навсегда — или, как она сама говорила, «пока ты сам от меня не устанешь». И хотя первые дни и недели, которые они прожили вместе, вряд ли можно было назвать самыми счастливыми в жизни Майкла — слишком много в них было деланых улыбок и вздохов, — именно тогда он убедился, что все его чувства снова ожили и приобрели поразительную яркость и свежесть, а этого пока что было вполне достаточно.

Дважды в месяц она охотно уничтожала все следы своего присутствия в квартире, когда Лаура приезжала на выходные, однако, посадив дочь на поезд в воскресенье, он возвращался на метро с уверенностью, что в его окнах на Лерой-стрит будет гореть свет: Джейн была уже там и ждала его возвращения.

Вообще-то, считалось, что она живет у своей тетки, «старой зануды», недалеко от Грамерси-

парка, — там она держала свои вещи. А разве тетя не выражает недоумений по поводу ее нового жизненного уклада?

— Нет-нет, — заверила его Джейн. — Она никогда не задает вопросов. У нее духу не хватает. Она сама страшно богемная. Майкл, ну когда ты уже разденешься?

Она находила столько поводов, чтобы сказать ему, какой он замечательный, что он бы и сам в это уверовал, если бы его самооценка не страдала ежедневно в процессе работы. С тех пор как он переехал в Нью-Йорк, у него не получилось ни одного стихотворения. Сначала он думал, что присутствие Джейн в его жизни поможет переломить ситуацию, но месяц проходил за месяцем, а он все так же воевал со словами.

На недостаток уединения жаловаться не приходилось, потому что Джейн работала всю неделю, и это само по себе было частью проблемы: когда ее не было, он по ней скучал.

А работу свою она, похоже, действительно любила. Она называла ее «развлекухой», сколько бы он ни говорил ей, что такого существительного не существует, никогда не позволяла себе опаздывать и утром всегда уезжала в офис идеально одетой и ухоженной, и по вечерам он всегда удив-

лялся, сколько свежести и живости она способна была сохранить после целого дня за столом секретарши. Она возвращалась в его жизнь с резким запахом осени, с песенкой из новой музыкальной комедии, а иногда и с целой сумкой дорогих продуктов («Ты не устал от ресторанов, Майкл? И вообще мне нравится для тебя готовить; люблю смотреть, как ты съедаешь то, что я сделала»).

И даже когда работа переставала быть развлечением, в ней всегда находилось место для мелодрамы.

— Я сегодня плакала на работе, — сообщила она однажды, опустив глаза. — Ничего не могла с собой поделать. Но Джейк обнял меня и не отпускал, пока я не успокоилась, очень мило с его стороны, я считаю.

— Кто такой Джейк? — Майкл был поражен, как быстро она заставила его ревновать.

— Он из компании; один из владельцев. Другого зовут Мейер, он тоже хороший, но иногда бывает грубым. Сегодня он на меня наорал — раньше он такого никогда себе не позволял; поэтому я и расплакалась. Правда, потом было видно, что ему самому паршиво, и он очень извинялся, перед тем как уйти.

— И сколько у вас там народу? Только эти двое

или еще есть?

— Нас четверо. Есть еще Эдди. Ему двадцать шесть лет, мы с ним большие друзья. Почти каждый день вместе обедаем, а однажды даже прошли в танго всю Сорок вторую улицу — просто для прикола. Эдди хочет стать певцом, то есть он и есть певец, причем, по-моему, абсолютно замечательный.

Он решил не спрашивать больше про офис. Выслушивать все это ему не хотелось; тем более что пока она приходила домой с явным желанием еженощно ублажать его в постели, все это не имело ни малейшего значения.

Когда он смотрел, как Джейн ходит по квартире, когда гулял с ней по вечерним улицам или сидел в старой доброй «Белой лошади», на ум ему то и дело приходило слово «необыкновенная», брошенное Биллом Броком. Она и вправду была необыкновенная. Он стал ощущать, что никак не может насытиться ее телом, а то, что он скучал по ней, пока она была на работе, свидетельствовало и о более глубокой привязанности. Он даже почти уже не замечал ее деланых улыбок и вздохов — они были частью ее стиля — и часто сожалел, что история ее жизни слишком уж изобилует всякими историями.

В семнадцать лет она вышла замуж за молодого преподавателя престижной частной школы в Нью-Гэмпшире, где она сама училась, но семейная жизнь оказалась такой «отвратительной», что родители устроили развод, не дождавшись первой годовщины свадьбы.

— И это был последний раз, когда мне пришлось в чем-либо полагаться на родителей, — сказала она. — Больше и не подумаю ни о чем их просить. Они теперь так поглощены ненавистью друг к другу и оба так носятся со своей новой любовью, что я стала их немножко презирать. И хуже всего то, что они оба испытывают передо мной страшное чувство вины: меня это бесит. С мамой все не так страшно, она в Калифорнии, а папа-то здесь, в Нью-Йорке, и это кошмар. И потом еще эта прекрасная Бренда — его жена, то есть моя мачеха. Забавно, что сначала она мне даже понравилась: стала для меня чем-то вроде старшей сестры, мы некоторое время были очень близки, пока я не увидела, как хорошо она манипулирует людьми. Дай ей волю, она всю мою жизнь к рукам приберет.

Но все эти семейные обиды забывались в мгновение ока. Иногда Джейн звонила отцу прямо от Майкла и восторженно, с каким-то даже кокет-

ством болтала с ним по часу, то и дело называла его «папочкой», до упаду хохотала над его шутками, потом просила позвать Бренду, после чего следовало еще полчаса приглушенной таинственной болтовни, посредством которой девицы в большинстве своем общаются только со своими лучшими подругами.

И возможно, потому, что у Майкла была собственная дочь, гармония этих разговоров чаще всего доставляла ему удовольствие: он даже улыбался про себя, слушая, как на другом конце комнаты журчит без конца ее милая английская речь, и ему не раз приходило в голову, что он был бы не прочь как-нибудь познакомиться с ее отцом. («Я так рад… — наверняка сказал бы отец, — так рад, что Джейн вроде бы наконец определилась».)

Отец не всегда был управленцем, объяснила Джейн после одного из телефонных разговоров; его первой любовью была журналистика, и в войну он был одним из ведущих корреспондентов крупнейшей лондонской газеты. Раньше она, правда, говорила, что ее отец всю войну выполнял для британского правительства опаснейшие шпионские задания, однако он не стал обращать на это внимания, потому что, насколько ему

было известно, журналист вполне мог быть по совместительству шпионом.

Однако в том, что она ему рассказывала, случались и другие несоответствия.

Невинности ее лишил «отвратительный» бывший муж, причем так неосторожно, что от одной мысли об этом она до сих пор вздрагивает; но как-то раз, вспоминая о чем-то более приятном, она рассказала, что, когда ей было шестнадцать лет, она отдала «все — да, все-все» мальчику, с которым познакомилась на приморском курорте в штате Мэн.

Позапрошлым летом в Нью-Джерси она перенесла ужасно болезненный аборт; ей пришлось самой искать врача и платить за операцию из собственной зарплаты, причем вследствие неумелой работы врача она несколько месяцев пролежала потом больная без всяких сил, но при этом тем же позапрошлым летом она объехала автостопом всю Западную Европу с молодым человеком по имени Питер, и все у них шло замечательно, пока отец Питера не настоял на том, чтобы тот уехал домой, а осенью вернулся на учебу в Принстон.

Майкл попытался прояснить пару неясностей в некоторых ее историях, но историй этих было так много, что чаще всего он просто умолкал в

изумлении. А потом ему стало казаться, что она умышленно испытывает его доверие, как делают иногда трудные подростки.

На прелестном ее лице с одной стороны можно было разглядеть небольшой рубец — как будто от ожога или удаленной когда-то кисты, и Майкл сказал ей как-то вечером, в постели, что этот шрам ее только красит.

— А, шрам, — сказала она. — Ненавижу этот шрам и все, что с ним связано. — И потом, выдержав серьезную паузу, добавила: — Гестапо особой кротостью нравов не отличалось.

Майкл глубоко вдохнул:

— Детка, откуда взялось гестапо? Не рассказывай мне больше про гестапо, сладкая моя, потому что я неплохо представляю, сколько тебе было лет, когда война кончилась. Шесть. Так что давай поговорим лучше о чем-нибудь другом, ладно?

— Но это правда, — настаивала она. — Один из их приемов — пытать детей, чтобы родители заговорили. Когда это произошло, мне даже и шести еще не было; мне было пять. Мы с мамой жили в оккупированной Франции, потому что домой в Англию нам вернуться не удалось. Нелегко, наверное, было все время скрываться, но я зато до сих пор прекрасно помню нормандскую деревню

и милое фермерское семейство, с которым мы познакомились. И вот однажды в дом вломились эти жуткие люди и стали выяснять, где отец. Мама на самом деле вела себя очень храбро: вообще ничего им не говорила, пока не увидела, как они тычут ножом мне в лицо, — это ее сломило, и она рассказала все, что им было нужно. Если бы она этого не сделала, меня могли бы убить или покалечить на всю жизнь.

— Да уж, — сказал Майкл, — жуткая история, согласен, но, что хуже всего, я в нее не верю. Слушай, радость моя. Ты же знаешь, что я от тебя без ума, знаешь, что ради тебя я на все готов, но этот бред собачий я слушать больше не намерен, учти. Господи, ты, вообще-то, правду от неправды отличаешь?

— Ну, я в принципе не знаю, как на это можно отвечать, — сказала она тихо.

Она вылезла из кровати и ушла вглубь комнаты, и Майкл подумал, судя по напряженному контуру ее спины, что ей стало стыдно, но тут она обернулась и смерила его спокойным оценивающим взглядом.

— Какой же ты жестокий! — сказала она. — Я сначала думала, что ты человек чуткий, а ты на самом деле злой и жестокий.

— Ну да, ну да, — проговорил он, попытавшись придать своему голосу усталое выражение.

Примерно так и прошла вся осень, но даже тогда он был уверен, что все наладится. Если дать ей некоторое время посердиться, а потом дождаться, пока она примет душ и переоденется, можно было не сомневаться, что она с легкостью придумает, как вернуться к прежним приятным отношениям, не потеряв при этом лица; а сам он к этому моменту был готов помириться с ней уже на любых условиях.

Он никогда не упускал случая похвастаться ею перед другими мужчинами — даже перед незнакомыми, даже в ресторанах, которые выбирала она и которые он на самом деле не мог себе позволить, — поэтому он с удовольствием взял ее с собой, когда Том Нельсон, приехавший в город на целый день, пригласил его посидеть в баре в северной части Манхэттена. Он знал, что, когда Том ее увидит, у него от зависти отвиснет челюсть, — и она отвисла. Правда, тот именно вечер едва не закончился катастрофой, когда Джейн, грациозно склонившись над столом, спросила Тома:

— Чем же вы занимаетесь?

— Я художник.

— Современный?

Том Нельсон посмотрел на нее сквозь очки и несколько раз моргнул, давая понять, что сто лет уже не слышал ни от кого таких вопросов. После чего сказал:

— Ну да, наверное. Конечно современный.

— Вот как! Что ж, вероятно, удовольствие можно получать от любой работы, если она тебе нравится, но я лично к современному искусству испытываю отвращение. Современное искусство совершенно меня не трогает.

Тогда Том начал старательно создавать вокруг основания своего стакана изваяние из мокрой салфетки, и Майклу пришлось заполнять тишину бессвязной и отрывочной болтовней обо всем, что приходило ему в голову.

В этом состояла еще одна проблема Джейн Прингл: на самом деле она ничего толком не знала. Мачеха основательно обучила ее искусству одеваться, а разговоров в офисе ей хватало на то, чтобы сформировать твердое представление об идущих на Бродвее спектаклях, — она всегда могла сказать, какие гениальные, а какие полная ерунда, но все прочие аспекты образования не особенно заботили ее с тех пор, как закончилась ее небрежная мечтательная юность, проведенная в пансионе. Она настолько ничего не знала, что

Майкл не раз спрашивал себя, не для того ли она начала врать, чтобы попытаться это скрыть.

Она сказала, что Рождество ей придется провести с отцом и мачехой, потому что они уже давно этого ждут, а потом позвонила от них сказать, что на Новый год тоже решила остаться у них.

Когда она в конце концов вернулась на Лерой-стрит, вид у нее был несколько рассеянный. Даже когда они с Майклом сели, она продолжала рассматривать квартиру, как будто ей не верилось, что она здесь жила, и раз-другой она с той же неуверенностью посмотрела ему в лицо.

— Ну, время я провела гениально, — сказала она. — Мы сходили на тринадцать разных вечеринок.

— Да? Что ж, это немало.

У нее была новая стрижка — на его вкус, слишком короткая, — и в дополнение к этой стрижке она освоила какую-то новую манеру поведения — серьезную, деловую, решительную. Кто-то подарил ей янтарный мундштук, будто бы задерживающий токсичные смолы, и на протяжении всей зимы она честно им пользовалась, хотя из-за того, что ей постоянно приходилось кривиться, сжимая его в губах, вид у нее становился довольно глупый; к тому же это лет на десять ее старило.

В феврале она заявила, что ей имело бы смысл снять собственную квартиру, и он с ней согласился. Он с такой заботой помогал ей изучать раздел «Сдается» в «Таймс», что можно было подумать, что он отправляет в большой мир собственную дочь. Подходящая квартира нашлась в западной части двадцатых улиц, с видом на сады Генеральной теологической семинарии[60]; и хотя хозяин предлагал перекрасить ее перед тем, как Джейн въедет, она отказалась: ей хочется самой покрасить стены, сказала она, «чтобы было ощущение, что это моя собственная квартира».

И это означало, что Майкл должен был часами стоять с ней в хозяйственном магазине, пока она решала, какого оттенка белую краску ей взять, какие купить валики и какие кисти; это значило, что ему пришлось облачаться в забрызганные краской джинсы, лезть на стремянку, дышать всей этой вонью и работать до одурения, то и дело спрашивая себя, на кой черт ему все это надо.

Как-то, когда Джейн, в коротеньких шортах и почти ничего не закрывавшей блузке, забралась

---

[60] Примечания: 60

Генеральная теологическая семинария в Нью-Йорке — старейшее образовательное учреждение Епископальной церкви США, основана по решению Генеральной конвенции Церкви в 1817 г. Ее главное здание располагается на Девятой авеню, между 20-й и 21-й улицами.

на другую стремянку, пытаясь дотянуться до карниза выходившего на фасад окна, из кустов с другой стороны улицы донесся свист, за которым последовал целый хор радостных приветствий. Она засмеялась и помахала рукой будущим священникам. Потом потопталась на стремянке и, приняв еще более вызывающую позу, отправила им воздушный поцелуй.

Позже она объявила Майклу, что хочет выкрасить спальню в черный цвет.

— Зачем?

— Ну просто так. Всегда хотела черную спальню. Как-то это мило и сексуально.

Когда с покраской было покончено — и с черной спальней, и со всем остальным, — он решил, что оставит ее на несколько дней одну, может, даже на целую неделю.

В следующий его приход она потащила его в постель с ничуть не меньшей страстью, чем прежде, но после этого завела разговор, который показался ему совершенно неуместным. Она объяснила — в словах, нахвататься которых она могла только в последнее время из какой-нибудь популярной психологической книги (может, «Как любить?» Дерека Фара?), — что их «отношения» стали бы более «основательными», если бы они

начали «строить их на более реалистической основе».

— Ну да, да, давай, — сказал он. — Так и когда ты хочешь заняться этим в следующий раз? Вторник подойдет?

В другой раз она сообщила: «Ко мне сегодня заходили двое семинаристов; очень милые ребята, страшно стеснительные. Я угостила их чаем с ньютонами — не с этими дешевыми, конечно, а с хорошими, английскими, импортными[61], — мы отлично пообщались. Потом одному из них надо было идти на лекцию или что-то в этом духе, а второй еще долго у меня сидел. Его зовут Тоби Уотсон, он мой ровесник. Когда он окончит семинарию, он собирается поездить по миру. Классно?»

— Нет.

— Он собирается в одиночку пройти по всей Амазонке, подняться вверх по Нилу и покорить одну из гималайских вершин. Говорит, что на это может уйти года два-три, но он сказал: «Думаю,

---

[61] Примечания: 61

Ньютоны — мягкие квадратные печенья, начиненные инжиром, популярный в Америке десерт. Продаются в яркой желтой упаковке. Ирония здесь в том, что это чисто американский продукт, названный в честь городка Ньютон в штате Массачусетс, — он расположен рядом с Кембриджем, где в 1891 г. компания «Кеннеди бискит» начала массовое производство этих печений. Никаких «импортных английских» ньютонов просто не существует.

после этого я стану лучше — и как человек, и как священник».

— Ну да, ну да.

Конец пришел внезапно, в телефонном разговоре, когда он позвонил, чтобы спросить, можно ли прийти к ней на ночь.

— Нет, — сказала она испуганно, как будто этого «нет» было недостаточно, чтобы предотвратить его визит. — Нет, сегодня нельзя, и завтра тоже нельзя; на этой неделе вообще нельзя.

— Как так?

— Что «как так»? Что ты имеешь в виду?

— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Почему нельзя?

— Потому что у меня гости.

— Гости, — повторил он в надежде, что она поймет, насколько фальшивым показалось ему это объяснение.

— Ну да, гости. В нормальной, активной светской жизни периодически иметь гостей в доме — это совершенно нормально.

— То есть ты хочешь, чтобы я и звонить тебе тоже перестал?

— Если тебе так нравится. Решай сам.

Он повесил трубку, зная, что девушки у него больше нет, чувствуя, что именно эта девуш-

ка никогда ему толком и не принадлежала, и недоумевая, нужна ли она была ему вообще на самом-то деле. И, повесив трубку, Майкл еще долго ходил по комнате и шепотом твердил: «Пошло бы оно все на хрен; пошло бы оно все на хрен».

— Да, блин, это, конечно, херово, — утешал его Билл Брок, — девка была симпатичная. Я тебя в тот вечер чуть не убил, когда увидел, как вы с ней уходите с вечеринки. Но в любом случае, Майк, главное — не дать себе погрязнуть в одиночестве; это хуже всего. Нормальную девушку всегда найти можно, если как следует этим заняться.

И некоторое время ничем другим он, похоже, и не занимался. Секс как таковой или, скорее, непреклонное к нему стремление едва не стало единственным в его жизни делом.

Сначала две девушки подряд осторожно изложили ему причины (каждая свои), по которым им не хотелось больше видеть его после единственной проведенной с ним ночи. Потом месяца полтора он провел с мускулистой женщиной, жившей на пособие по безработице, но имевшей достаточное количество пожелтевших газетных вырезок, подтверждавших, что она профессионально танцует; она часто плакала и жаловалась, что его чувство к ней «любовью назвать нельзя,

потому что любовь — это нечто большее»; в конце концов она призналась, что несколько приуменьшила свой возраст: на самом деле ей было не тридцать один, на самом деле ей было сорок.

А иногда он просто пролетал — приглашал девушку в какой-нибудь ресторан и весь вечер из шкуры вон лез, пытаясь поддержать разговор, но она только смотрела по сторонам или сидела, уставившись в тарелку, пока не приходило время провожать ее куда-то домой; там она говорила: «Что ж, было очень приятно», а он возвращался к себе с привкусом поражения во рту.

К концу весны он был настолько обескуражен происходящим, что стал искать более простые способы времяпровождения. Можно же ходить в гости в приятные семейства, можно пойти выпить с другими холостяками, наконец, можно просто почитать — книги он в последнее время почти совсем забросил, — а когда работа стала налаживаться, он настолько уставал к вечеру, что ни на какие приключения был все равно не способен.

Больше всего ему нравилось заходить в гости к молодому писателю Бобу Осборну и его подруге Мэри — им обоим не было еще тридцати, и они планировали пожениться в самое ближайшее

время. Ему всегда было так хорошо с ними, что он старался не заходить к ним слишком часто и допоздна не засиживаться, чтобы, не дай бог, они не подумали, что он злоупотребляет их молодостью и великодушием; поэтому он был приятно удивлен, когда Мэри сама зашла к нему в гости, и принял ее с радостью, как друг дома.

— Рад тебя видеть, Мэри.

— Подожди, я сейчас все объясню, — сказала она.

Он даже не сразу узнал эту реплику. Он пригласил ее сесть, потом пошел на кухню, чтобы принести чего-нибудь выпить, и только там вспомнил, что, когда он в последний раз был у них в гостях, он рассмешил их замечанием о том, что «Подожди, я сейчас все объясню» — самая востребованная реплика в истории американского кино; много лет назад та же шуточка получила безоговорочное одобрение Тома и Пэт Нельсон, когда они еще жили в Ларчмонте, в маленькой квартирке на втором этаже. Иногда ему казалось, что за всю свою жизнь ему удалось выдать не больше шести-восьми забавных фраз, и то, что другие считали присущим ему чувством юмора, всегда будет теперь зависеть от многократной искусной переработки старого материала.

— Так вы с Бобом уже поженились? — спросил он девушку, поставив стакан на низкий столик рядом с ее креслом. Только в этот момент он вспомнил, как ее зовут: Мэри Фонтана.

— Ну, еще не совсем, — сказала она. — Свадьба назначена на двадцать третье, то есть до нее еще, кажется, восемь дней. Спасибо, очень вкусно.

Потом он сел напротив и, вежливо улыбаясь ее речам, стал восхищенно рассматривать ее длинные голые ноги и свежее летнее платье. Все в ней казалось ему изящным.

Боб решил, что просидит эту неделю один в их загородном доме, сообщила она, потому что ему нужно было внести последние изменения в свою книгу и хотелось покончить с этим до свадьбы, так что она осталась в городе, чтобы проследить за последними приготовлениями: купить кое-что, забрать вещи со своей старой квартиры, выпить чаю с матерью Боба в Плазе и все такое.

— Что ж, отлично, — сказал он. — Рад, что ты зашла, Мэри.

Впрочем, он и представить себе не мог, насколько ошеломительную цель преследовал этот ее приход, и она была вынуждена разъяснить ее во всех подробностях.

— …Так что сегодня я обсудила все это со своим

психоаналитиком, — говорила она все тише и тише, наклоняясь, чтобы поставить стакан на кофейный столик, — и он… не то чтобы одобрил эту идею, но никаких… никаких возражений тоже не выдвинул. Так что вот. — Она выпрямилась, откинула со лба тяжелую темную прядь и серьезно посмотрела ему в глаза. — Поэтому я и пришла. Как видишь.

— Но, Мэри, я, кажется, не очень… ого! — И он сглотнул. — О боже! О господи боже мой!

Они одновременно поднялись со своих мест, но, чтобы обнять ее, ему пришлось замешкаться, обходя кофейный столик, и только потом — с тихим жалобным стоном, который он никогда в жизни не забудет, — она растаяла у него в руках. Она была высокая и гибкая, ее духи пахли сиренью с легким привкусом лимона, и у нее были изумительные, чудесные губы. Он не мог поверить в реальность происходящего, хотя в каком-то смысле все это было вполне объяснимо: даже самые прекрасные девушки в мире могут испугаться, когда дело доходит до замужества, и, поддавшись порыву, отвергнуть его — хотя бы на несколько дней, — обратив свое внимание на первого попавшегося мужчину, который чем-то привлек их внимание; и надо быть полным иди-

отом, чтобы не почувствовать себя в связи с этим польщенным.

Вскоре свежее летнее платье было уже на полу, туда же полетело ее невесомое нижнее белье, и она скользнула к нему в кровать, не дождавшись, когда он освободится от собственной одежды.

— О Мэри, — сказал он. — О Мэри Фонтана!

И вот он уже завладел всем ее телом, руки и губы его полностью отдались наслаждению, заставляя ее стонать и задыхаться, но довольно быстро на него накатила волна страха: а что, если с этой девушкой у него не получится?

И у него не получалось. Для начала нужно было не дать ей об этом догадаться, и ради этого он пустился на ласки еще более изощренные, откладывая и откладывая, пока все ее возбуждение не сошло на нет.

— ...Майкл, с тобой все в порядке?

— Господи, я не знаю; похоже, я просто не могу... просто не могу настроиться, вот и все.

— И ничего удивительного, — сказала она. — Учитывая, как я вломилась со всем этим в твою жизнь. Давай просто переждем немного, ладно? А потом снова попытаемся.

Но и в полночь, и позже они все еще пытались. Не получалось ничего. Они превратились в пару

тружеников, занятых сложной, обреченной на провал работой, приносившей им только разочарование и усталость. А в промежутках, сидя в темноте без сна, они курили и находили утешение в рассказах о себе.

Да, в Вассаре ей, итальянке, приходилось нелегко. Даже и в «Ковард-Маккан»[62] ей, итальянке, приходится нелегко, потому что кое-кто, похоже, считает, что итальянка обязательно должна быть распутной барышней, все время пребывающей в поиске новых любовных приключений. Порой ей кажется, что в ее жизни вообще ничего хорошего не было, пока она не встретила Боба. Или не надо этого говорить? Ничего, что она рассказывает ему про Боба?

Конечно ничего; было бы глупо о нем не говорить. Они же оба прекрасно понимают, что происходит.

А кроме того, они оба понимали — и слишком даже хорошо понимали, что на самом деле здесь не происходит вообще ничего.

Ну, он до сих пор не понял, что было не так в его браке, — может, никогда и не поймет, а мо-

[62] Примечания: 62

«Ковард-Маккан» (сейчас называется «Ковард, Маккан и Гейган») — нью-йоркское издательство, выпускающее литературу для детей и юношества.

жет, вообще ни про какой брак ничего понять нельзя, — хотя, наверное, это было как-то связано с деньгами его жены. Про эти деньги долго рассказывать, и, даже если он расскажет, вряд ли проблема станет понятнее; в любом случае неужели ей не скучно все это слушать?

Мэри было не скучно, и, выслушав, она заявила, что он молодец, что занял такую принципиальную позицию и что столько лет твердо ее держался. Такого принципиального человека она, наверное, еще никогда не встречала.

Да ладно, черт его знает; может, если бы он согласился жить на эти деньги, они оба были бы счастливы, да и Лаура тоже; может, ему даже удалось бы больше всего напечатать.

Но тогда, сказала Мэри, он стал бы совсем другим человеком. Он не смог бы остаться самим собой, если бы отбросил эту свою принципиальную неподкупность. А кроме того, если бы он не был тем, кем он был, она сама бы не оказалась сейчас здесь.

И Майкл решил, что эта мысль не лишена изящества, — Мэри знала, как сделать комплимент, поэтому он взял у нее сигарету и затушил ее в пепельнице вместе со своей. Потом он неспешно поцеловал ее несколько раз, бормоча ее имя и

повторяя, что она очень красивая, а потом снова принялся ласкать и гладить ее. Она так и сидела рядом с ним на кровати, пока его руки не убедили ее, что на этот раз все получится; тогда он дал ей повернуться, подтянуть ноги и лечь на спину. Но и на этот раз они не продвинулись ни на йоту.

На следующий день, нервный и невыспавшийся, он попытался успокоить свой стыд тем, что долго и без всякой цели гулял с Мэри Фонтаной по Гринвич-Виллидж. Она шла, приникнув к его руке, и время от времени приятно ее сжимала, но говорить приходилось в основном ему, и все свои обворожительные реплики он произносил в безжизненной, утомленной манере, отдаленно напоминавшей тон Хамфри Богарта. Если он не может стать для нее мужчиной, то, по крайней мере, разыграет особенного персонажа.

Впрочем, когда они пришли в «Белую лошадь», он бросил ее развлекать. Там он был способен только на то, чтобы отметить еще раз, какая она красавица, с этой ее длинной шеей, темными глазами и прелестным ртом; казалось, что пиво и вечерний свет специально сговорились, чтобы сделать ее настолько желанной, чтобы его несчастное сознание уже не смогло это перенести.

Но у них еще было время — оставалось добрых полнедели, и он знал, что губительнее всего — перестать надеяться раньше времени.

Когда они вернулись домой, она выступила с робким предложением, отказаться от которого было невозможно: «Хочешь, пойдем вместе в душ?» — и в душе она была великолепна. Он мог весь оставшийся вечер не отрываясь смотреть на то, как кивали и покачивались ее небольшие гордые груди; пока она намыливалась и смывала с себя пену, его завораживал один только вид ее чудесных ног, почти смыкавшихся сверху: это манящее пространство между ними шириной в два-три пальца было заполнено завитками волос, как будто природа имела в виду сделать ее женщиной более несомненной, чем все остальные.

О господи, если ему суждено когда-нибудь овладеть ею, то это произойдет сейчас. И он все меньше сомневался в том, что это произойдет, когда они принялись вытирать друг друга полотенцами.

— Сейчас, — бормотал он. — Давай сейчас, девочка…

— Да, — отвечала она. — Да…

Потребность в объятьях едва не лишила их способности к передвижению, однако они пре-

одолели расстояние до кровати и легли, готовые к слиянию, которое поставит наконец все на свои места.

Но нет. Ничего не вышло. Ничего не вышло и на этот раз. Но едва ли не хуже всего было то, что у него истощился запас извинений: он не знал, что ей сказать.

Впрочем, и на этот раз они до поздней ночи не прекращали своих попыток.

— …Девочка, а ты не могла бы немножко меня потрогать? Пальцами.

— Здесь, ты имеешь в виду? Так?

— Нет, выше. С обеих сторон. Обеими руками. Да, да, так. Только не так сильно. Да, да, хорошо. Вот так хорошо…

— Ты чувствуешь… у тебя… я все правильно делаю?

— Ладно, не бери в голову, дорогая; все ушло. Я снова не смог…

В конце концов она сказала:

— Это я, наверное, виновата. Наверняка это моя вина.

— Перестань, Мэри, это глупости. Не говори так.

— Но я правда думаю, что так оно и есть. Думаю, ты на самом деле презираешь меня за то,

что я здесь, а не с Бобом, и я, наверное, тоже себя презираю.

— Бред какой-то, — сказал он. — То, что ты здесь, — это великолепно. Мне нравится, что ты здесь. Мне бы и в голову не пришло презирать себя, если бы я мог… ну, если бы все у нас получилось; и у нас еще получится.

И они еще какое-то время обсуждали две эти точки зрения, но так ни к чему и не пришли, пока Мэри не сказала, что ей пора спать, потому что завтра многое предстоит сделать.

Все утро она была в городе, покупала одежду и разные другие необходимые для свадьбы вещи; потом она вернулась, переоделась в новое платье и ушла проследить за тем, что происходит в ее старой квартире.

В тот день он долго пробыл один, и у него было предостаточно времени для бессмысленных, то и дело возвращающихся к одному и тому же размышлений об импотенции. Интересно, а у других это тоже бывает? А если бывает, то почему люди никогда об этом не говорят — разве что в шутках? А что девушки — смеются они над этим? Сплетничают об этом между собой? А как они это воспринимают? С презрением и отвращением? И что от этого помогает? Может, хватит сказан-

ного в нужный момент слова или взгляда, или достаточно просто вовремя выпить, или нужно годами докапываться до самых корней проблемы с помощью психоаналитика?

И только когда она вернулась вечером и они сели выпить, Майкл почувствовал, что его захватила новая отчаянная идея: если причиной всего этого является какой-то непостижимый сексуальный сбой, то помочь преодолеть его сможет приток любви.

И он начал говорить Мэри Фонтане, что он любит ее, что он безнадежно влюбился в нее ровно в тот вечер, когда первый раз увидел ее у Боба, что он все время думал о ней и что одна мысль о ее скором замужестве едва не сводила его с ума, — так страстно он ее хотел.

— Понимаешь, Мэри? — заключил он. — Теперь ты можешь меня понять? Я люблю тебя, вот и все. Люблю.

Она явно смутилась и, залившись приятным румянцем, уставилась в собственный стакан, но ему было видно, что его слова доставили ей и некоторое удовольствие. Даже если ничего другого из этого не выйдет, то как минимум вопрос о презрении к себе можно было считать закрытым. Она, конечно, может с легкостью уклониться от

каких-либо ответных признаний — в конце концов, появившись у него на пороге несколько дней назад, она ни на что такое не претендовала, — но даже и в этом случае в каждом их действии сквозила теперь невиданная доселе любовная нежность.

Но что самое удачное, Майклу удалось спасти самое для себя важное. Если по отношению к мужчине, у которого не встает, можно было по праву чувствовать презрение и отвращение, то ощутить то же самое по отношению к мужчине влюбленному было не так просто.

— Послушай, Мэри, — сказал он. — Я вовсе не хотел тебя смущать. Я просто подумал, что нам обоим будет лучше, если ты узнаешь правду. Я бы обманывал тебя, если бы не сказал всего этого.

И он подумал, что в его голосе слышалась теперь какая-то подспудная уверенность: отчаяние отступило. Любовь явно пошла ему на пользу.

Они выпили еще по стаканчику, как будто хотели отметить эту важную веху, и по мере того, как виски проникал им в кровь, в воздухе вокруг них усиливалась и циркуляция любви; вскоре они уже лежали раздетые в кровати с твердым намерением начать все заново. И, как всегда, он начал с того, что стал гладить ее с таким тщани-

ем, как будто пытался понять, как она устроена, потом он принялся за соски, и — один под его пальцами, а другой под его губами — они набухли и выступили вперед; он продолжал ласкать их, пока бедра ее не задвигались сами собой в знакомом ему ритме. Еще некоторое время он пытался довести ее до оргазма рукой, пробираясь двумя пальцами через тепло и влагу к самой ее сути и без конца повторяя, как он ее любит; потом он ритуально сменил позу, чтобы приникнуть к ней ртом. Но всю дорогу, с самого первого их вечера, он знал, что Мэри эти предварительные оргазмы интересовали лишь постольку, поскольку она верила, что впереди, в самом конце, ее ждет большой, настоящий оргазм. Стоило хоть немного замешкаться, ожидая, что твоя рука или твой язык вот-вот заставят ее кончить, и она сразу же чувствовала, что у тебя что-то не ладится; интерес ее невольно угасал, бедра замирали в неподвижности. А если ритм удавалось выдержать и ты успевал сделать свой следующий ход еще до того, как это произошло, — если ты в надежде на чудо возбуждал ее все больше и больше (а именно это Майкл и пытался сегодня сделать), — ты превращался в человека, старающегося протолкнуть вперед длинную веревку. Протолкнуть веревку

невозможно. Быть может, любовь и вправду помогла, но помощи этой было недостаточно.

В день, на который у нее было назначено в Плазе чаепитие с матерью Боба, она сказала, что с этой задачей ей не справиться. Она никогда раньше не видела родственников Боба, но они все были богатые, все англосаксы, и эта сторона дела гнетет ее уже многие месяцы. А теперь, господи, как ей теперь смотреть в глаза этой женщине?

— Ну что ты, девочка, — наставлял он ее, застегивая дорогое элегантное платье, которое она купила специально для этой встречи. — Не вижу причин, почему ты не можешь просто прийти туда и очаровать ее до чертиков. Ты ей наверняка понравишься. А кроме того, тебе ведь, в сущности, не в чем себя упрекнуть.

И Мэри обернулась к нему с неожиданно циничной ухмылкой и сказала, что тут он, похоже, прав.

Когда она вернулась с этой своей встречи — несколько взбудораженная, потому что все в конечном счете прошло хорошо, гораздо лучше, чем она ожидала, — она скромно присела в кресло, принимая стакан, который приготовил для нее Майкл. Потом она окинула взглядом комнату, посмотрела прямо на Майкла и снова опустила

глаза: складывалось впечатление, что ей хочется спросить, кто он такой, откуда она его знает, а главное — как она очутилась в этой странной квартире. Так же, помнится, осматривалась в его квартире Джейн Прингл, вернувшись после своих тринадцати вечеринок, и он понял, что ему опять пора признаваться в любви.

— Вот видишь, — сказал он. — Я же говорил, что беспокоиться не о чем. Я знал, что ты ей дико понравишься; любой поймет, что ты человек необыкновенный. Ты как будто создаешь свои собственные правила, — это-то необыкновенных людей и отличает. И знаешь что? С тех пор как ты здесь, я не слышал от тебя ни одного клише. Хотя когда ты рассказывала о своем психоаналитике, ты пару раз едва не сорвалась, но это потому, что психоаналитики только тем и занимаются, что обучают людей изъясняться исключительно посредством клише. Такая у них работа. Наверное, ты только потому и пошла к этому уроду, что ощутила в какой-то момент эту свою необычность, но меня это не сильно беспокоит: никакого вреда он тебе не причинит, потому что ты действительно необычная, и ему до этой твоей необычности никогда не добраться. Ты чем-то похожа на девушку, которой я многие годы восхищался, но так

никогда и не сблизился. Диана ее звали; сейчас она замужем и живет в Филадельфии. Она как-то сказала мне, что ей нравится одно мое стихотворение, «Если начистоту», и я, помню, подумал: «Ну и все, ничего мне больше не надо. Если Диане Мэйтленд это стихотворение нравится, меня не ебет, нравится ли оно кому-нибудь еще в этом мире или нет». Видишь, я всегда был неравнодушен к необычным девушкам. К девушкам, которые понимают, кто они такие, и которые живут так, как считают нужным…

Глядя ей в лицо и прислушиваясь к собственным интонациям, он спрашивал себя, скольких сдержанных, невозмутимых девушек он пытался соблазнить такого типа лестью, начиная еще с тех, что крутились вокруг авиабазы в Англии, — неужели все они думали, что он несет чушь? А кроме того, в Мэри Фонтане ничего особенно необычного как раз не было: этой девушке просто хотелось в оставшееся до замужества время переспать с первым попавшимся. Но он все говорил и говорил: казалось, он боялся, что, если он замолчит, она поднимется и уйдет или просто испарится прямо из этого кресла.

— Майкл, — сказала она, как только он дал ей возможность высказаться, — давай разденемся и

просто полежим в постели, ладно? Мне все равно, что ничего не будет, — давай просто полежим, и все.

И ей действительно было все равно, сколько еще оставшихся им дней и ночей они просто пролежат вместе. Майкл не знал, как к этому относиться, но должен был признать, что это принесло ему огромное облегчение.

Те несколько часов, которые им еще оставалось просидеть в «Белой лошади», они вели себя как давние супруги или как пара, которая только начинает знакомиться и до секса пока не дошла: обменивались необязательными репликами — да и то для того только, чтобы просто поддержать разговор. Как-то раз, отправившись за очередной порцией к барной стойке и рассчитывая, что она будет смотреть ему вслед, он вдруг понял, что получает от всего этого удовольствие, что ему хорошо, — и мысль эта сильно его напугала: надо быть сумасшедшим, чтобы умудриться создать из импотенции любовную историю.

А потом наступила их последняя ночь. Завтра днем Мэри Фонтана уедет на поезде в Реддинг, штат Коннектикут, а на следующий день, после того как родители, сестры и друзья прибудут туда же на другом поезде, ее обвенчают в «очарова-

тельной» англиканской часовне.

А пока что они просто лежали в постели, на свежем белье — на этой неделе он три раза менял простыни, потому что было бы ужасно, если бы все эти неудачи оставляли после себя еще и засаленное, измятое белье, — немного разговаривали, хотя говорить им, в общем-то, было не о чем.

Когда он снова начал ее гладить, ему стало интересно, будет ли у него когда-нибудь другая девушка, которую его руки узнают так же хорошо, как узнали эту. Дальше пошли соски, потом задвигались бедра, все увлажнилось, и снова появилась опасность упустить нужный момент.

Что примечательно, в этот вечер он смог-таки войти в нее: особенной твердости не получилось, но внутрь он проник, и было видно, что она это чувствует.

— О! — произнесла она. — О, я твоя!

Потом он вспомнил, что в тот момент подумал: как славно, что она это сказала, — впрочем, он всегда знал, что девушка она славная. Беда была в том, что она притворялась, и он это видел; она сказала это только потому, что он беспрестанно твердил, что любит ее. Ей было его жаль; в эту последнюю ночь ей хотелось чем-нибудь его отблагодарить — и за те немногие секунды, кото-

рые потребовались ему, чтобы все это понять, он обмяк и выпал из нее. Ничего сверх этого между ними никогда уже больше не было.

Ей нужно было забежать еще кое за чем в «Лорд энд Тейлор», объяснила она на следующий день; много времени это не займет, поезд у нее только в пять, поэтому они договорились встретиться в четыре в отеле «Билтмор»[63], чтобы выпить в последний раз вместе и попрощаться.

— Слушай, подожди, — сказал он. — Давай все же в полчетвертого, чтобы у нас было побольше времени.

— Ладно.

Как только она ушла, он начал тщательно обдумывать их предстоящую встречу. Никакой грусти и пораженчества в «Билтморе» не будет; когда они сядут за столик, он не позволит себе ни одного жалостливого взгляда — ради нее он наденет все лучшее, что у него есть, будет вести себя свободно и блистать остроумием; из всего этого может даже выйти самое храброе и яркое прощание из всех, какое может случиться за день до свадьбы.

---

[63] Примечания: 63

Нью-йоркский отель «Билтмор» примыкал к Центральному вокзалу и соединялся с ним отдельным проходом. В 1981 г. здание было реконструировано и переоборудовано под офисный центр.

Но когда в три зазвонил телефон, он знал, что это будет Мэри и что она звонит, чтобы отменить встречу. Так оно и оказалось.

— Слушай, я в конце концов решила, что лучше нам в «Билтморе» не встречаться, — сказала она. — Будет лучше, если я поеду на Центральный вокзал одна и просто… просто сяду на поезд.

— Ну ладно тогда, хорошо. — Он хотел сказать: «Не забывай меня», или «Я никогда тебя не забуду», или «Я люблю тебя», но все это показалось ему неуместным, и он сказал только: — Хорошо, Мэри.

Он повесил трубку и еще долго сидел, обхватив голову руками и царапая скальп всеми десятью ногтями.

Мэри почти наверняка расскажет Бобу Осборну, где провела эту неделю, — слишком славная она девушка, чтобы этого не сделать, причем расскажет незамедлительно; но она почти наверняка расскажет ему и о том, что ничего «не вышло», и чем больше подробностей будет требовать от нее Боб, тем больше она ему будет рассказывать. И под конец от Майкла Дэвенпорта просто ничего не останется.

Еще долго он ничего не мог с собой поделать. Ему было плохо; он похудел; он не мог даже

думать о работе. Он знал, что это лучше, чем умереть, но случались моменты, когда даже и в этом он был не вполне уверен.

И все же даже досада не может длиться вечно: нужно просто затаиться и подождать, пока не случится что-нибудь неожиданное и обнадеживающее. И в одно прекрасное утро, тем же летом, у него состоялся короткий деловой разговор с агентом, заронивший в его сердце слабую надежду: на какой-то «мелкой» канадской телестудии в Монреале сделают в ближайшее время постановку по одной из его старых одноактных пьес.

Денег, которые ему за это полагается, хватит разве что на дорогу до Монреаля и обратно, но он сразу же решил, что лучшего способа их потратить все равно не придумает. Как бы халтурно они ни отнеслись к пьесе, там обязательно будет играть молодая красавица или даже две.

Сначала он думал взять с собой Билла Брока, но Брок мог оказаться слишком уж беспокойным спутником; потом ему пришла в голову более здравая идея: он позвонил Тому Нельсону:

— …Ну то есть ехать придется, естественно, на твоей машине, но я заплачу за бензин и могу подменять тебя за рулем.

И Том сразу же согласился. Главное, чтобы по-

вод был куда-нибудь съездить, сказал он, а какой — не важно.

Они выехали в ясную погоду, день выдался теплый и приятный, и Том сел за руль с видом энергичным и подтянутым. На нем была армейская рубашка цвета хаки с планками на плечах, какую полагалось иметь только офицерам, и настроен он был крайне иронически.

Они не доехали еще и до Олбани, как Майкл начал уже думать, что, пожалуй, все-таки лучше было взять с собой Билла Брока, а если совсем по-хорошему, то надо было ехать одному, на поезде или на автобусе.

— Ты все еще с этой англичанкой? — спросил Том.

— Нет, в какой-то момент пришлось с ней расстаться. Месяцев пять она у меня была.

— Ну и отлично. И что с тех пор? Не скучаешь?

— Нет, скучать особенных поводов не было.

— Отлично. И про Монреаль я вроде бы тоже все понимаю: ты думаешь, что там обязательно будет играть какая-нибудь симпатичная девушка, она подойдет к тебе, сделает большие глаза и спросит: «Неужели вы и есть автор»?

— Ну да, — сказал Майкл. — Так и есть. Примерно как эти твои музейные девицы, которые

подходят и спрашивают: «Так вы и есть Томас Нельсон?»

И Нельсон с улыбкой уставился на дорогу, впрочем, особенно приятной эту улыбку назвать было нельзя: слишком уж она была издевательская.

— И что же, ты подготовился? — спросил он. — Презервативы не забыл?

Майкл вез в кармане целую упаковку, только обсуждать все это в его планы совершенно не входило.

— Расслабься, солдатик, — сказал он. — На нас с тобой точно хватит.

В Монреале они в поисках телестудии несколько раз сбивались с дороги, однако к началу не опоздали. Взволнованный молодой режиссер выразил надежду, что Майклу постановка понравится: он выдал копию сценария, и, просмотрев ее, Майкл убедился, что пьеса изрядно пострадала: диалоги раздули до масштабов мыльной оперы, ритм был безнадежно утрачен, а концовка, судя по всему, ничего, кроме катастрофы, не предвещала.

— Простите, вы ведь мистер Дэвенпорт? — В глаза ему с надеждой смотрела молодая девушка.

Она сказала, что ее зовут Сьюзен Комптон и что она будет играть главную роль, сказала, что

страшно рада с ним познакомиться, сказала, что телевизионная версия — просто «жуть», потому что она читала саму пьесу, когда ее прислали, и пьеса «прекрасна»; сказала, что теперь ей, к сожалению, нужно идти, но она надеется, что они еще увидятся, потому что ей очень бы хотелось с ним «пообщаться». И, глядя, как изящно она уходит, чтобы присоединиться к остальным актерам, он решил, что лучшего оправдания для приезда сюда просто не придумать.

Потом их с Томом Нельсоном посадили в стеклянную будку, расположенную над площадкой в задней части студии, рядом с будкой звукооператора, и они наблюдали за происходящим с экрана висевшего на уровне глаз «монитора». Чтобы объяснить Нельсону, что это вообще не его пьеса, Майклу оставалось только подталкивать его локтем и негодующе хмурить брови — других путей не было, но через некоторое время он решил, что все это не имеет значения. Когда этот балаган закончится, его будет ждать девушка — девушка, все движения которой прекрасно смотрелись в средних планах и чью красоту крупные планы только еще раз подтвердили.

Концовка, как Майкл и боялся, получилась почти совсем продажная, но, как только в студии

включили свет, он прошел на площадку прямиком к Сьюзен Комптон и сообщил, что играла она замечательно, а потом осведомился, не согласится ли она выпить где-нибудь вместе.

— Было бы замечательно, — сказала она, — только мы сейчас все вместе уходим в ресторан. У нас что-то типа заключительной вечеринки для тех, кто работал над проектом, но вы с другом, конечно же, обязательно должны к нам присоединиться.

И вскоре они оказались в огромном светлом ресторане, где официанты аккуратно сдвинули для них несколько столов. Сьюзен Комптон села на почетном месте во главе стола, а по обе стороны от нее расположились режиссер и актер, исполнявший главную мужскую роль; потом стали по двое рассаживаться другие актеры и кое-кто из технического персонала, а Том Нельсон с Майклом, как неожиданно нагрянувшие гости, пристроились на дальнем конце стола.

Сначала Майкл думал сказать Тому: «Слушай, наверное, у меня с этой девицей что-нибудь выгорит. Может, ты переночуешь где-нибудь в отеле, а утром поедешь домой один?» Но чем дольше он смотрел, как она смеется и болтает там вдалеке, то и дело поднимая свой бокал, как будто он был

символом ее сегодняшнего триумфа, тем больше он колебался. Когда вечеринка закончится, она легко может попрощаться с ним где-нибудь на тротуаре, наградив его напоследок дежурным поцелуем с легким привкусом коньяка, после чего растворится на глазах у Тома Нельсона в ночном Монреале в обнимку с каким-нибудь актером — и, если это произойдет, Нельсон на обратном пути будет до самого Нью-Йорка безжалостно над ним издеваться.

Нет, избавляться от Нельсона было пока рано: сначала надо было заполучить девушку. Как только представится возможность, он подойдет к ней и спросит, нельзя ли ее проводить. Если она согласится, то проблема Нельсона разрешится сама собой: достаточно будет нескольких сказанных по-дружески слов, а может, и многозначительного кивка, если Нельсон станет капризничать. После чего автор только что экранизированной пьесы сможет сесть с этой девушкой в такси, и все дальнейшее будет весьма и весьма обнадеживающим.

И этот план почти что сработал: когда телевизионщики стали наконец подниматься и выходить из-за стола, ему пришлось протискиваться через всю эту толпу, чтобы оказаться с ней рядом, и

это ему удалось — как минимум разговаривать было можно.

— Сьюзен, могу я проводить вас домой?

— Ой, было бы здорово. Спасибо.

— Машина у выхода, — сказал Том Нельсон.

— Так вы еще и на машине, — сказала она. — Отлично.

В итоге в этой проклятой машине их оказалось трое, и они ехали куда-то на самую окраину города; Майкл видел, что ничего у него не получится.

Сьюзен Комптон объяснила, что все еще живет с родителями — в Монреале очень плохо с жильем, но она надеется, что скоро у нее будет собственная квартира, — и, когда они подъехали к дому ее родителей, света в окнах уже не было.

Перейдя на шепот, они спустились вслед за ней в полуподвал; она зажгла свет, и они оказались в неожиданно большой, отделанной дубовыми панелями комнате — в духе «игровых», по поводу которых верхушка среднего класса испытывает, похоже, какую-то особую гордость.

— Налить вам что-нибудь? — спросила она, и в одном из углов этого просторного помещения и вправду обнаружился вполне приличный бар с большим запасом спиртного.

Тут же стояли два или три основательных дива-

на в приятной обивке, и Майкл начал уже думать, что вечер еще можно спасти, если только Том Нельсон как-нибудь отсюда уберется. Но Нельсон выпил один стакан и принялся за другой; он расхаживал по комнате, тщательно изучая панели, как будто выискивал в них мелкие изъяны или, может, раздумывал, как лучше развесить тут свои акварели.

— Просто не передать, как мне жаль, что пьесу вашу поставили не в том виде, как вы ее написали, — говорила Сьюзен Комптон. — Кому были нужны все эти дешевые изменения?

Она расположилась на одном из диванов, а Майкл устроился напротив нее на кожаном пуфе, испытывая приятное напряжение от одной своей позы.

— Ну что еще ждать от телевидения, — сказал он. — Но даже и в таком виде мне очень понравилось, как вы сыграли. Героиня у вас получилась точно такой, какой я ее себе представлял.

— Серьезно? Что ж, для меня это наивысшая похвала, ни о чем другом я и не мечтала.

— Мне часто казалось, — продолжал он, — что актерская работа и прочие виды исполнительства — это, пожалуй, самый грубый вид искусства и самый жестокий, в том смысле, что второго

шанса у тебя нет. Невозможно вернуться и что-то переделать. Все должно быть спонтанным и в то же время законченным.

Она сказала, что это очень верно и что он замечательно это сформулировал; глаза ее просияли, и значить это могло только одно; она находила его «интересным».

Потом она сказала:

— И все-таки меня всегда больше восхищало чистое творчество, когда из ничего создается что-то новое, что-то, чего раньше в мире не было. У вас много пьес, Майкл?

— Несколько есть, хотя в основном я занимаюсь поэзией. Это у меня лучше получается — ну или как минимум больше меня интересует.

— О боже, — сказала она, — мне кажется, нет формы труднее, чем стихотворная. Это же чистое искусство, абсолютно самодостаточное. И много вы публикуетесь?

— Пока только две книги, причем вторую я не стал бы рекомендовать, а первая — ничего.

— Она еще продается?

— Уже нет. Хотя в библиотеках должна, наверное, быть.

— Отлично. И вторую я тоже обязательно посмотрю.

Теперь пора было снова переводить разговор на нее, и он сказал:

— Нет, в самом деле, Сьюзен, я страшно рад, что приехал на премьеру. Вы действительно подарили мне незабываемые впечатления.

— Вы не поверите, — и она опустила глаза, — насколько эти слова меня смущают.

Но Том Нельсон все равно не уходил. Когда тщательный осмотр стен его, по всей видимости, утомил, он подсел к ним и спросил Сьюзен, давно ли она живет в Монреале.

Она прожила здесь всю жизнь.

— И большая у вас семья?

— Трое братьев и две сестры, я старшая.

— А отец ваш чем занимается?

И все это продолжалось до тех пор, пока ничего от профессиональной актрисы в Сьюзен Комптон уже не осталось, и она стала больше похожа на сонную девочку, которой хочется поскорее оказаться в тиши своей спальни, где ее прихода ждет дюжина рассаженных в ряд мягких игрушек, всегда готовых напомнить ей о детстве.

В конце концов она сказала, что завтра к десяти снова должна быть в студии на съемках детской передачи, так что лучше ей, наверное, идти спать. А они, сказала она, могут оставаться здесь на

ночь; одеяла и белье в шкафу, и она надеется, что им будет удобно.

Потом она ушла, и, что хуже всего, Майкл понял, что даже теперь не может сказать: «Нельсон, какого хрена ты отсюда не убрался?» Скажи он так, весь обратный путь до Нью-Йорка будет испорчен; к тому же с Нельсоном так не разговаривают. Томас Нельсон настолько привык к отношению почтительному и восхищенному, что двигался по жизни с невозмутимой рассеянностью человека, не способного никого разозлить. Слишком он был крутой, чтобы хоть в чем-нибудь его упрекнуть.

А кроме того, устроившись поудобнее и натянув одеяло на плечи, Майкл должен был признать, что все равно в этой комнате у него с этой девицей почти наверняка ничего бы не получилось. Наверху спала вся ее семья, и даже дверь в этот полуподвал не запиралась; подойди он к Сьюзен вплотную, она, вполне возможно, просто застыла бы на месте или отшатнулась. В общем, хрен с ним.

Утром, пока они убирали постели и сворачивали одеяла, Том Нельсон сказал:

— Давай сразу поедем, ладно? Потому что мне надо уже работать.

— Ладно.

Наверху, в парадной прихожей, слышно было, как за дверью в комнате завтракает вся семья.

— Знаешь, что будет, если мы постучим? — спросил Нельсон. — Оттуда выглянет приятная пожилая женщина, — и он со знанием дела изобразил заискивающую улыбку на лице этой приятной пожилой женщины, — предложит нам кофе, и мы застрянем там неизвестно на сколько. Пошли.

И только когда они выехали на шоссе и за окнами стали мелькать унылые виды Квебека, Майкла охватило сожаление. Почему он не постучал в эту дверь? Почему было не войти и не позавтракать за одним столом со всей семьей, где взрослая, высокая Сьюзен сидела бы с улыбкой в окружении младших детей? К десяти они могли бы вместе поехать на студию, потом он пригласил бы ее пообедать, они выпили бы мартини и просидели бы весь вечер, держась за руки. Господи боже мой, что мешало ему остаться в Монреале хоть на целую неделю?

И эти мысли довольно быстро сменились новым рассуждением, куда более мерзким и неприятным: он, судя по всему, струсил. Наверное, в душе он всю дорогу боялся Сьюзен Комптон и был на самом деле рад, что ему удалось сбежать.

Что, если неделя, проведенная с Мэри Фонтаной, оказалась настолько опустошительной, что он уже никогда не сможет без страха взглянуть ни на одну сколько-нибудь желанную девушку? Сколько бы он ни мечтал соблазнить женщину, страх перед импотенцией всегда будет водить его за нос и обрекать на провал, каждый раз он будет мешкать и убегать прочь.

И ровно в этот момент сидевший за рулем Том Нельсон рассмеялся, как будто в голову ему только что пришла невероятно забавная мысль.

— А знаешь, что, скорее всего, подумала эта девица? — спросил он.

Майкл сразу же понял, каким будет ответ, и решил, что не особо расстроится, если окажется, что он видится с Томом Нельсоном в последний раз.

А Нельсон тем временем выдал свою остроту:

— Она, наверное, решила, что мы с тобой пидоры.

В августе все пошло наперекосяк. По ночам он стал спать не больше четырех часов, потом — не больше трех, потом вообще не мог заснуть; потом сон тяжелым ударом стал срубать его днем, и, просыпаясь на диване в перекрученной одежде, он подолгу не мог понять, который час и какой сейчас день.

Судя по пустым бутылкам, скопившимся на полу у него в кухне, он слишком много пил. Чтобы прожевать и проглотить хоть что-нибудь, ему приходилось совершать над собой особое усилие, и делал он это все реже и реже, потому что его стал отталкивать запах и вкус любой еды.

Неужели все, что он написал за последние шесть месяцев, было таким паршивым? Если так, то профессионалы не ждут, когда им об этом скажут. Как-то вечером он собрал все свои рукописи в коричневый бумажный пакет, вынес его на улицу и запихал поглубже в мусорный бак, отчего почувствовал такой прилив бодрости, что прошагал двадцать кварталов кряду, пока не сообразил, что вышел на улицу без рубашки.

В другой вечер он окончательно, с некоторой даже театральностью, бросил пить: разбил о раковину свою последнюю бутылку виски и долго с видом победителя взирал на груду битого стекла; потом он испугался, что теперь ему предстоит то, что алкаши называют Ломкой; и он лежал, с трепетом ожидая галлюцинаций, судорог и что там еще бывает при этой чертовой Ломке.

Но на следующий день он снова был на улице, снова шел, очень быстро, в полном облачении, предназначавшемся для «Мира торговых сетей»:

темный зимний костюм и шелковый шейный платок. И хотя люди и всё встречавшееся на улицах создавали в голове странную, трясущуюся картину — когда их вообще замечал, — ходить было важно, потому что сидеть дома было еще хуже.

Уже много дней подряд мысли у него отчаянно носились по бессмысленному кругу надвигающегося безумия, и, когда ему удавалось остановить их хотя бы на минуту, он чувствовал, что встает на путь спасения.

В какой-то момент ему удалось остановить их у газетного киоска в начале Бродвея, недалеко от Сити-холла, и, пока они снова не закрутились, он успел схватить свежий номер «Нью-Йорк таймс», чтобы выяснить, какой сегодня день. Оказалось, что четверг; это значило, что завтра к нему приезжает Лаура и он должен к этому подготовиться.

— Мистер! — окликнула его продавщица газетного киоска, обнажив полный рот гнилых зубов. — Одолжить вам десять центов, чтобы вы смогли заплатить за эту долбаную газету?

Когда он снова обнаружил себя дома, уже в другой одежде, он не знал, прошел уже четверг или еще нет. На часах было девять — неизвестно, утра или вечера, потому что угрюмые розоватые

отсветы в его окне могли значить и то и другое. Он набрал свой старый домашний номер — он должен был его набрать — и по ходу разговора с дочерью расслышал, как звучащее в ее голосе робкое сомнение перерастает в полный непонимания ужас.

Потом ему перезвонила Люси:

— Майкл? С тобой все в порядке?

И довольно быстро в дверях появился Билл Брок, с улыбкой одновременно хитрой и застенчивой: «Майк, ну как ты тут?» — и в этот момент, как потом оказалось, эпоха до Бельвю подошла к концу.

Глава вторая

Когда его выпустили из Бельвю, он обнаружил, что боится всего, причем постоянно. От одного только звука сирены на улице, даже очень отдаленного, кровь застывала в жилах, и от одного только вида полицейского тоже, причем от любого полицейского и где угодно. При виде молодых негров он тоже старался спрятаться, особенно если они были высокие и сильные, потому что они все казались ему санитарами из Бельвю.

Если бы у него тогда была машина, он боялся бы на ней ездить — наверное, не смог бы даже завестись и включить передачу, потому что, если завести двигатель и включить передачу, может произойти какая угодно гадость. Пешком ходить было тоже страшно, особенно когда надо было переходить широкие улицы; ему даже не нравилось сворачивать за угол, потому что никогда не знаешь, что тебя там поджидает.

Теперь он думал, что эта трусоватая нерешительность — не важно, скрывал он ее или нет, — всегда была основой его характера. Ведь в душе он всегда боялся всех парней на школьном дворе. Ведь он всегда ненавидел футбол — играл

только потому, что от него этого ждали. Поначалу даже бокс вызывал жуткий страх, пока его не научили, как переставлять ноги, переносить вес и работать руками. Что же до службы бортовым стрелком, упоминание о которой столько лет производило на стольких людей такое огромное впечатление, то тут он с самого начала знал, что «мужество» или «выдержка» были в данном случае самыми неподходящими словами. Тебя посылали в небо с девятью другими людьми; ты делал все, что мог, и спасало тебя только старое армейское умение не высовываться. Было понятно, что война уже на исходе и что шансы выжить имеются — не будут же эти боевые вылеты продолжаться до бесконечности, — и каждый раз после возвращения в Англию было приятно слышать, что другие ребята тоже говорят, что едва не обделались от страха.

Теперь он каждый день с дрожью приближался к аптечке и в назначенный час, без единого пропуска, глотал все таблетки, которые ему выписали в психушке, а раз в неделю покорно тащился в Бельвю на прием к гватемальцу, который должен был наблюдать его амбулаторно.

— Представьте, что ваш мозг — электрическая цепь, — говорил ему гватемалец. — Куда более

сложная, естественно, но в одном отношении сходная: стоит перегрузить один элемент, — и он поднял указательный палец, чтобы подчеркнуть свою мысль, — как из строя выходит вся система. Цепь рассыпается, свет гаснет. Так вот, в вашем случае такая опасность действительно есть, источник ее понятен, и выход возможен только один: бросьте пить.

И Майкл Дэвенпорт не пил ровно год.

— Целый год, — говорил он потом каждому, кто позволял себе в этом усомниться, или тем, кому это воздержание не казалось особым достижением. — Ни грамма алкоголя за двенадцать месяцев, даже кружки пива не выпил — вы можете себе представить? — и все потому, что какой-то сраный лекарь напугал меня тем, что от алкоголя у меня мозги замкнет, и я чуть в штаны не наложил. Я и так-то половину времени хожу до смерти напуганный, как и все в этом мире, но я больше не трус, черт меня побери, и в этом вся разница.

Он обнаружил, что трахаться он тоже теперь может, и был так благодарен девушке, которая это доказала, что готов был расплакаться и от всего сердца поблагодарить ее, как только все было кончено, однако сумел от этого порыва удержаться.

Девушка эта, одна из секретарш в «Мире торговых сетей», сказала ему, что раньше никогда своему другу не изменяла. Она и сегодня вряд ли согласилась бы прийти к нему на Лерой-стрит, если бы недавно не обнаружила, что ее друг ей изменил. Но все равно она считает себя достаточно зрелой, чтобы понять и принять эту неверность: он только что открыл собственный зубоврачебный кабинет в Джексон-Хайтс[64] и, конечно же, пережил в связи с этим сильнейший стресс.

— Ага, — сказал Майкл, довольный собой на все сто. — Стресс — такая вещь, которая и под монастырь подвести может. Правда, Бренда.

Летом 1964 года, когда у Майкла вышла третья книга, его пригласили с лекциями и чтением стихов на двухнедельную писательскую конференцию в Нью-Хэмпшире. Конференция проходила в маленьком живописном кампусе высоко в горах, вдали от городской цивилизации: старые жилые дома, беспорядочно разбросанные по территории, вмещали до трехсот платных участников, ко всему этому прилагались громадная кухня и столовая, а также залитый светом лекционный зал, в котором речи не умолкали ни

[64] Примечания: 64
Джексон-Хайтс — район в Квинсе.

на секунду, а единственной темой обсуждений была литература.

Директором программы был Чарльз Тобин, человек лет пятидесяти или даже старше, романами которого Майкл всегда восхищался и который при встрече оказался приятным и общительным хозяином.

— Заходи к нам в Коттедж, Майк, как только устроишься, — сказал он. — Вон там, через дорогу, видишь?

Небольшой деревянный домик, одиноко стоявший на дальнем конце лагеря, служил местом для преподавательских сборищ — это был своего рода клуб, и со стороны туда приглашали только особо привилегированных. Каждый день за час-другой до обеда выпивка текла там рекой, которая перед ужином превращалась уже в океан; потом начинались песни, и попойка не прекращалась до глубокой ночи. Чарльз Тобин от всего сердца поддерживал происходящее потому, наверное, что был убежден, что писатели и так работают больше других, — причем люди в большинстве своем даже представить себе не могут, насколько больше они работают, — и потому этот ежегодный двухнедельный отдых можно было считать вполне заслуженным. Кроме того, писатели по-

нимают, что такое самодисциплина; он знал, что им всем можно было доверять.

Впрочем, к концу первой недели Майкл Дэвенпорт начал чувствовать, что он, по всей видимости, не выдерживает, точнее, слишком многое удерживает, передерживает и недодерживает. И проблема была не только в пьянстве, хотя оно, конечно же, не помогало, — проблема была в лекционном зале.

Раньше он читал свои стихи только в небольших собраниях, и никогда еще ему не приходилось стоять за кафедрой, искренне обращаясь к притихшей, напряженной аудитории в триста человек. Им хотелось услышать о строгом и тонком искусстве, которым он занимается уже двадцать лет, и он им о нем рассказывал. Он или импровизировал, или опирался на краткие, в спешке нацарапанные заметки, однако по ходу прочтения лекция каждый раз обретала твердые очертания и структуру. Успех был абсолютным.

— Замечательно, Майк, черт бы тебя побрал, — говорил после каждой лекции Чарльз Тобин, когда они вдвоем выходили из зала; впрочем, Майкл не особенно нуждался в этих похвалах, потому что в зале за их спинами еще долго не утихали пьянящие аплодисменты.

Вокруг него все время толпились искатели автографов с экземплярами его книг в руках, его просили о личных встречах, чтобы рассказать, сбиваясь и задыхаясь, о проблемах собственного творчества, и девушка для него тоже нашлась.

Эту стройную, предельно серьезную девушку знали Ирен — она была из начинающих авторов, которые работали официантами в обмен на «стипендию», обеспечивающую бесплатное участие в конференции; каждую ночь она робко стучалась к нему и, проскользнув внутрь, падала в его объятия, как будто всю жизнь только и мечтала о таком романе. Она хвалила его так, как не хвалила никакая другая девушка — даже Джейн Прингл, даже в самом начале их отношений; както поздно ночью, лежа рядом с ним, она сказала: «Ты так много знаешь», и эта реплика унесла его в Кембридж, в 1947 год.

— Нет, слушай, не надо этого, Ирен, — сказал он. — Во-первых, потому, что это неправда. Эти мои лекции рождаются из воздуха, приходят из ниоткуда; хрен знает откуда они приходят, но из-за них я кажусь в сто раз умнее, чем я есть на самом деле, ясно? А во-вторых, именно эти слова сказала один раз моя жена, когда мы с ней только познакомились, и многое годы ушли у нее

на то, чтобы понять, как она ошибалась; так что давай мы с тобой без этой мутотени как-нибудь обойдемся, ладно?

— Мне кажется, ты очень устал, Майкл, — сказала Ирен.

— Истинная правда, девочка. Я устал как черт, и это еще только начало. Слушай. Слушай, Ирен. Только не пугайся. Мне кажется, я схожу с ума.

— Что тебе кажется?

— Что я схожу с ума. Подожди, послушай меня: ничего такого в этом нет, просто надо кое-что тебе объяснить. Один раз я уже сходил с ума — и ничего, оклемался, это еще не конец света. К тому же мне кажется, что на этот раз я раньше спохватился. Может даже, я вовремя спохватился, если ты понимаешь, о чем речь. Пока что все более-менее под контролем. Может, еще удастся проскочить, если буду вести себя крайне осторожно — с выпивкой, с лекциями и со всем остальным. Да и осталось всего каких-то три или четыре дня, да?

— До конца еще шесть дней, — сказала она.

— Ну шесть. Но как бы то ни было, Ирен, мне очень нужна твоя помощь.

Она довольно долго молчала и только потом спросила:

— Какая помощь?

И по этому ее молчанию, и по робкому, осторожному тону, каким она задала свой вопрос, он сразу же понял, что на эту девушку он рассчитывал совершенно напрасно. Если не считать того, что они неделю пыхтели и толкались в этой кровати, ничего общего между ними не было. Пока он был вменяемым, его можно было идеализировать, но ждать, что она поймет, что нужно с ним делать в состоянии безумия, было бы слишком. Если ему требовалась помощь, ей для начала нужно было убедиться, что она понимает, о какой помощи идет речь.

— Ну хрен его знает, девочка, — сказал он. — Не надо мне было этого говорить. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Чтобы ты была моей девушкой или чтобы ты делала вид, что ты моя девушка, пока это все не кончится. Потом у нас с тобой еще все будет, я обещаю.

Но и этого тоже не надо было говорить. Когда все кончится, она вернется к себе в аспирантуру в Университет Джонса Хопкинса[65] — слишком далеко от Нью-Йорка, чтобы часто видеться, если, конечно, ей вообще захочется часто с ним видеться. И разумеется, нельзя было просить ее «делать

[65] Примечания: 65

Университет Джонса Хопкинса, один из лучших в Америке, находится в Балтиморе, штат Мэриленд.

вид, что она его девушка», потому что ни одной девушке в мире такой план не понравится.

— Ты бы постарался сейчас заснуть, — сказала она.

— Ладно, — сказал он. — Только сначала иди ко мне поближе, чтобы я мог… вот так. Вот так. О боже, какая же ты красивая! Только не уходи. Не уходи, Ирен…

На следующее утро, когда он шел, пошатываясь, к лекционному залу, его догнал Чарльз Тобин.

— Не надо, Майк, — сказал он и взял его за руку.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, я просто говорю, что сегодня тебе не надо будет стоять перед всей этой толпой; кто-нибудь тебя подменит.

Тобин остановился, Майклу тоже пришлось встать, и они стояли друг напротив друга в слепящем солнечном свете.

— На самом деле, — сказал Тобин, — я уже договорился, чтобы тебя подменили.

— Так, а я, значит, уволен.

— Да ладно тебе, Майк; отсюда никого нельзя уволить. Я просто за тебя беспокоюсь.

— Откуда берется это «беспокоюсь»? Я что, по-твоему, с ума схожу?

— Мне кажется, ты у нас здесь перенапрягся; ты совершенно измотан. Наверное, надо было мне раньше обратить на это внимание, но после того, что произошло вчера ночью в Коттедже…

— А что произошло вчера ночью в Коттедже?

Тобин замер, всматриваясь Майклу в лицо:

— А ты не помнишь?

— Нет.

— Вот как! Слушай, давай зайдем к тебе и там поговорим. Здесь слишком много… посторонних.

И действительно, посторонних было многовато, хотя Майкл этого и не замечал: все кому не лень — от студентов до старушек с голубоватыми кудрями — останавливались на траве и даже прямо на дороге, чтобы не пропустить эту стычку.

Когда они пришли к нему в комнату, Майкла бросило в дрожь, и на кровать он сел с облегчением. Чарльз Тобин пододвинул единственный стул, сел, сгорбившись, напротив и стал рассказывать, что было вчера ночью:

— …А ты все подливал и подливал себе из этой бутылки Флетчера Кларка. Я так понимаю, ты сам не соображал, что делаешь, но проблема в том, что ты упорно продолжал наливать из этой бутылки, даже когда он попросил тебя этого не делать. А когда он уже взбесился, ты заорал, что

он хуесос, и полез драться. Пришлось нам вчетвером вас разнимать, в итоге сломали большой стол. И ты ничего этого не помнишь?

— Нет. О господи! Господи боже мой!

— Ну, Майк, что было, то прошло, не мучь себя понапрасну. Потом мы с Биллом Бродиганом повели тебя домой, но к этому времени ты совсем уже успокоился. Ты попросил нас не заходить в комнату, чтобы не расстраивать Ирен; мы подумали, что действительно не стоит, и просто постояли в коридоре, проследили, что ты зашел, — и все.

— Где она сейчас? Где Ирен?

— Скоро уже обед, так что, думаю, на работе, в столовой. Не волнуйся ты за Ирен. С Ирен все будет в порядке. Раздевайся лучше и ложись под одеяло. Я к тебе сегодня еще загляну.

И Майкл так никогда и не узнал, сколько он пролежал у себя в комнате, пока к нему снова не зашел Чарльз Тобин — на этот раз вместе еще с одним человеком, поменьше и помоложе, в дешевом летнем костюме.

— Майкл, это доктор Бреннер, — сказал Тобин. — Он сделает тебе укол, чтобы тебе лучше отдыхалось.

В одну из ягодиц вонзилась игла — острая, тон-

кая и куда менее унизительная, чем любая игла в Бельвю; в следующий момент он обнаружил себя полностью, хоть и несколько небрежно, одетым: он шел по коридору между Тобином и доктором, настойчиво отпихивая от себя их руки, чтобы доказать, что может идти самостоятельно. Они вышли на улицу и зашагали по яркой траве к четырехдверному кремовому седану, который поджидал их на дороге. Из задней дверцы вылез крепкий молодой человек весь в белом: он придерживал дверцу, пока они заботливо, как слабого больного старика, усаживали Майкла в машину. Все прошло как нельзя более гладко. Но когда они тронулись и за окнами замелькала залитая солнцем и погруженная в тень зелень лагеря, он стал быстро терять сознание; и то ли он увидел, то ли ему привиделось, что вдоль дороги собралось огромное количество самых разных людей в летней одежде и что все они с испугом и неловкостью смотрели, как их любимого преподавателя увозят в психушку.

В психиатрическом отделении городской больницы Конкорда, штат Нью-Хэмпшир, он пролежал неделю; но отделение было такое чистое, светлое и тихое, а персонал такой вежливый и предупредительный, что на психушку все это

было совсем не похоже.

Ему даже предоставили отдельную палату — и только через несколько дней он понял, что дверь в эту палату всегда оставляют приоткрытой и выходит она в закрытый снаружи коридор, из которого всегда доносится приглушенный шелест; и все же это была отдельная палата, так что пересекаться с другими больными не приходилось, а на удивление питательные обеды приносили прямо к кровати, причем всегда вовремя.

— Лекарства, которые вы сейчас получаете, должны вам помочь, мистер Дэвенпорт, — говорил аккуратненький молодой психиатр, — если дома вы будете продолжать их принимать. Но я бы не стал недооценивать то, что произошло с вами на этой… как ее… писательской конференции. У вас, судя по всему, второй психотический эпизод, из чего следует вероятность регулярного их повторения в будущем, так что на вашем месте я бы за собой последил. Я бы точно не налегал на алкоголь — это во-первых, и я бы старался избегать эмоционально напряженных ситуаций по ходу своей жизни, то есть вашей жизни, вы понимаете.

И, оставшись в одиночестве, он лежал, потихоньку стараясь разобраться в происшедшем.

Имеет ли теперь смысл делить жизнь на до и после Бельвю или уже нет? Быть может, этот новый эпизод открывает совершенно отдельную, самостоятельную эру? Или, может, он, на манер Корейской войны, случился лишь для того, чтобы показать: от истории не стоит ждать какой-то особой осмысленности?

Как-то вечером его навестила Ирен. Она уселась на стуле рядом с кроватью, положила ногу на ногу (ноги у нее были красивые) и стала рассказывать о своих планах на ближайший учебный год в Университете Джонса Хопкинса. Она то и дело повторяла, что было бы «классно» «пересекаться» время от времени в Нью-Йорке, и он сказал: «Ну конечно, Ирен, будем на связи», но все это произносилось с вежливым автоматизмом обещаний, которые дают вовсе не для того, чтобы их сдержать.

Когда время посещений закончилось, она поднялась и, наклонившись, поцеловала его в губы, и он сразу же понял, что она приходила сегодня не только чтобы попрощаться, но и чтобы посмотреть из чистого любопытства, что будет, если она ненадолго прикинется его девушкой.

Один из санитаров принес ему блокнот и ручку, и он часами придумывал письмо Чарльзу Тобину.

Очень длинным оно быть не должно; важнее всего выдержать правильный тон, а его надо было еще найти. В этом тоне должно быть смирение, просьба о прощении и благодарность, но при этом важно было не удариться в раскаяние, и было бы здорово, если бы ему удалось закончить послание с насмешливой, самоуничижительной отвагой, характерной для стиля самого Тобина.

Он все еще сочинял это письмо, когда его выписали, и, даже когда его самолет взял курс на Нью-Йорк, он продолжал проговаривать про себя отдельные фразы.

Когда он зашел в квартиру на Лерой-стрит с полным чемоданом грязного белья, все в ней показалось ему до убожества унылым; к тому же она оказалась меньше, чем он думал. Он закончил письмо и сразу же его отправил. Пора было снова приниматься за работу.

Быть может, жизнь и не сводилась к одной только работе, но больше Майкл Дэвенпорт все равно ни во что не верил. Если он сейчас же не бросится в нее с головой, если он позволит себе отвлечься, с ним может случиться третий эпизод — а третий эпизод здесь, в Нью-Йорке, мог с легкостью привести его обратно в Бельвю.

В последующие несколько лет он понимал, что

стареет, когда встречал на вокзале поезд из Тонапака: каждый следующий раз Лаура выглядела не так, как в предыдущий.

Лет до тринадцати он всегда мог мгновенно отыскать ее в толпе, выходившей с десятой платформы, потому что это была девочка, которую он знал с самого рождения: худая, бойкая, в косо сидящем нарядном платье и белых носках, непослушно съезжавших на пятках. Лицо ее всегда светилось ожиданием, когда она бросалась бегом в его объятия: «Папочка!» — и он долго не отпускал ее и говорил, как рад снова ее видеть.

Но потом непослушные носки уступили место нейлоновым колготкам, и примерно тогда же начало меняться и все остальное. Она стала медлительнее и тяжелее и уже не столь открыто выражала при встрече свою радость; улыбки ее были теперь исключительно данью вежливости, и порой она, похоже, думала: «Ну не тупость ли? Почему я должна ездить в гости к отцу, если мы только и делаем, что действуем друг другу на нервы?»

Когда в пятнадцать лет она едва ли не мгновенно набрала сразу сорок фунтов, Майкл почти уже жалел, что ему до сих пор приходится встречать эти поезда. Какое удовольствие от того, что эта

глыба тащится за тобой, вжав голову в плечи, с лицом угрюмым и скрытным?

— Привет, девочка, — говорил он.

— Привет.

— Симпатичное платье.

— А, спасибо. Это мама купила в «Калдоре»[66].

— Сначала пообедаем, а потом пойдем в город или наоборот? Как ты хочешь?

— Мне все равно.

Но к семнадцати весь этот лишний вес исчез без следа, и от этого она стала более спокойной и разговорчивой. Он так и не привык к тому, что она проходит через турникет с зажженной сигаретой в руке, но было приятно, что она снова начала разговаривать, а особенно приятно было то, что ее речь состояла не только из банальностей.

Как-то вечером, когда он сидел дома в полном одиночестве, ему — впервые за много лет — позвонила Люси и после нескольких довольно неловких предварительных любезностей перешла к делу: она беспокоилась за Лауру.

— Я, конечно, знаю, что подростковый период всегда трудный, — сказала она, — и я прекрасно

---

[66] Примечания: 66

«Калдор» — крупная сеть дешевых супермаркетов, работавшая в штате Нью-Йорк и на Восточном побережье. Прекратила свое существование в 1999 г.

понимаю, что для нее он гораздо труднее, чем для многих. И я не меньше других читала, с каким сумасшедшим миром детям сейчас приходится сталкиваться — все эти хиппи и прочее, но дело даже не в этом. Я ничего не имею против ее интересов и занятий, понимаешь. Я говорю о более серьезных вещах: она врет. Она постоянно врет… Приведу только один пример. На выходные ко мне приезжали гости, машину они поставили у меня в гараже, и ночью Лаура как-то ее открыла и уехала на ней. Не знаю, где она была и что делала, это вопрос второстепенный. Машину она поставила назад, но главное, что она сразу же стала врать. Мы нашли довольно серьезную царапину на крыле, и, когда я спросила ее, не знает ли она, откуда царапина, она начала меня стыдить. Она сказала: «Ну, мам, ты что, действительно думаешь, что я могу взять чужую машину?» Но когда мы открыли водительскую дверь, то обнаружили на сиденье ее сумочку… Понимаешь, о чем я говорю, Майкл? Я не выношу это туманное, идиотическое выражение, которое появляется у нее на лице каждый раз, когда ловишь ее за руку на чем-то подобном. Такое безропотное выражение, как у преступников. Меня это пугает.

— Да, — сказал он. — Я знаю, о чем ты гово-

ришь.

— И это далеко не все, чего я не понимаю.

Здесь Люси остановилась, чтобы набрать воздуху или, может быть, просто от удивления, что она с такой непринужденностью разговаривает с человеком, уже столько лет совершенно для нее чужим.

— Ты, наверное, об этом не знаешь, Майкл, если она, конечно, тебе не проговорилась, но она приезжает в Нью-Йорк вовсе не только когда встречается с тобой: она довольно часто бывает в городе, и я никак не могу это контролировать. Она один раз проговорилась мне, когда мы вели очередной бессмысленный разговор про «ценности», что знает одного прекрасного парня на Бликер-стрит, Ларри его зовут, — ну и вряд ли стоит говорить, что от того, как она объясняет, в чем же состоит его прекрасность, волосы на голове встают дыбом: у него «прекрасная душа» и так далее и тому подобное. И я ей говорю: «А почему бы тебе не пригласить его сюда как-нибудь на выходные? Может, ему захочется провести несколько дней в деревне?» Она, конечно, страшно удивилась, но, что самое забавное, согласилась. У нее на лице было написано, что она думает: если привезти сюда Ларри с Бликер-стрит и продемон-

стрировать его во всей красе одноклассникам, то разговоров будет на целый год.

Потом как-то выглядываю в окно, и что я вижу: стоят они вдвоем во дворе — парень с хвостом, в грязной кожаной жилетке, без рубашки. Ну то есть, если не считать бесцветных глаз, ничего дурного в нем не было, просто неплохо бы принять ванну, и все. Выхожу во двор и говорю: «Привет, вы, должно быть, Ларри?» — и он тут же убегает. Сначала по дороге и потом прямо через поле, к тому заброшенному гнилому сараю, ярдах в двухстах от нашего дома. Я спрашиваю:

«Что с ним такое?»

И Лаура мне отвечает:

«Он просто очень стеснительный».

«И давно он там живет?»

«Ну, дня три уже. Он остановился в этом сарае. Там много старой соломы, мы там устроили приятное местечко».

«А что он ест?»

«Ну, я ему кое-что приношу, он не голодает».

— Это все, наверное, смешно звучит, — продолжала Люси, — да это и в самом деле смешно, но я ухожу от сути. Проблема с этими ее интересами и увлечениями наверняка сама собой разрешится — и со всей этой богемной ерундой она, наверное,

рано или поздно расстанется, — но ложь — это совсем другое дело.

И Майкл сказал, что совершенно с ней согласен.

— Она уже слишком большая, чтобы ее наказывать, — продолжала Люси, — да и как накажешь ребенка, если единственное, в чем он провинился, — это ложь? Стоит наврать по одному поводу, как тут же приходится врать по другому поводу, и в конце концов образуется целая сеть вранья и ребенок начинает жить в нереальном мире.

— Да, — сказал он. — Думаю, ты правильно делаешь, что беспокоишься. Я тоже обеспокоен.

— Ну вот в том-то и дело. Поэтому я и звоню. Единственный терапевт, которого я здесь знаю, — это доктор Файн, но в последнее время у меня к нему смешанные чувства; ну то есть я бы не стала обращаться к нему с этой проблемой. И я подумала, что, может быть, ты знаешь кого-нибудь в Нью-Йорке, кого ты мог бы порекомендовать. Собственно, ради этого я и позвонила.

— Нет, я никого не знаю, — сказал он. — И я все равно в это не верю, Люси; никогда не верил. Я правда считаю, что вся эта терапия — чистой воды вымогательство.

И он мог бы еще долго продолжать в том же

духе и добавить что-нибудь о «Зигмунде, мать его, Фрейде», но он решил, что лучше не надо. С ее стороны логично было предположить, что после двух попаданий в психушку он будет «знать» какого-нибудь психоаналитика, а кроме того, если они сейчас начнут спорить, все удовольствие от этого приятного и неожиданного звонка будет испорчено.

— Так что вряд ли я смогу быть чем-нибудь полезен в этом отношении, — сказал он. — Но слушай: скоро она поступит в колледж и там ей не будет скучно до полусмерти, как сейчас. Там ей придется над чем-то думать, она будет все время занята. Думаю, мы увидим, что все дело только в этом.

— Да, но до колледжа еще целый год, — сказала Люси. — Я надеялась, что можно начать что-то такое уже прямо сейчас. Ну ладно тогда, — сказала она, давая понять, что разговор подходит к концу. Она, наверное, покажет Лауру доктору Файну, несмотря на свои смешанные чувства. — И кстати, про колледж, Майкл, — вспомнила она. — Я говорила с девушкой, с новым… как их там называют… с новым консультантом в школе, и она сказала, что выбор колледжей у Лауры довольно широкий. Она сказала, что тебе она тоже будет по

этому поводу звонить, — такая у них политика.

— Политика?

— Ну ты понимаешь: когда родители в разводе, мнением отца тоже всегда интересуются. Она милая — слишком молодая для такой работы, на мой взгляд, но действует вполне профессионально.

И школьный консультант действительно позвонила ему через несколько дней, желая узнать, какого числа ему было бы удобно подъехать к двум часам в школу. Ее звали Сара Гарви.

— Так, завтра у меня не получится, — сказал он. — Как насчет послезавтра, мисс Гарви?

— Хорошо, — сказала она. — Отлично.

Поездку пришлось отложить на послезавтра, потому что завтрашний день уйдет на то, чтобы почистить и выгладить его единственный костюм. Сразу после развода он резко сократил количество ежемесячных заказов, которые брал в «Мире торговых сетей», чтобы как можно больше времени оставалось для собственной работы. Правда, обнаружив не так давно, что у него остался только один костюм и что вся прочая его разрозненная одежда едва не разваливается на части, он начал жалеть, что, в отличие от всех прочих поэтов, не работает в каком-нибудь университете. Жить в Гринвич-Виллидж ему тоже до

чертиков надоело: потрепанная молодежь там еще как-то смотрелась, но потрепанный мужчина средних лет несколько выходил за рамки, а Майклу было уже сорок три.

И все же он всегда знал, что если побриться и предварительно почистить все то, что он собирался надеть, то выглядеть он будет нормально. Иногда, всматриваясь на ходу в свое отражение в витринах, он с удивлением замечал, что выглядит сейчас лучше, чем десять или двадцать лет назад.

Ему было весело ехать в Тонапак на поезде, и хорошее настроение не покинуло его, даже когда он пробирался в школьных коридорах сквозь толпу орущих детей, хотя он никогда не мог без отвращения думать, что его дочь учится в этой тупой школе для работяг. Потом он обнаружил дверь с табличкой «Сара Гарви» и постучал в нее.

Мамы учеников старшей школы Тонапака могли вести в кабинете Сары Гарви деловые беседы, задавать вежливые вопросы и получать вежливые ответы, то и дело поглядывая на часы, чтобы не просидеть дольше положенного, но все без исключения отцы в этой крохотной комнате должны были чувствовать себя сраженными, сокрушенно пытаясь представить, как Сара Гар-

ви будет выглядеть без одежды, что будет, если ее обнять, каким будет запах и вкус ее кожи и как — в момент любовного исступления — будет звучать ее голос.

Стены в ее кабинете были отделаны белыми перфорированными панелями, и простота этого фона моментально убеждала тебя, что перед тобой сидит самая прекрасная девушка на свете. Она была стройная и гибкая, с темными волосами до плеч, с ясными карими глазами и большими губами. Пока она сидела за столом, судить о чем-либо ниже грудной клетки было трудно, но долго ждать не приходилось. В течение разговора она дважды вставала из-за стола и шла к высокому шкафу с документами — в эти моменты ее можно было рассмотреть полностью: безупречные ноги и лодыжки под прямой юбкой и небольшая аккуратная попка — достаточно, впрочем, округлая, чтобы тут же ее возжаждать. Первый порыв состоял в том, чтобы закрыть дверь и овладеть ею тут же, на полу, но достаточно было некоторой доли самообладания, чтобы составить более разумный план: забрать ее отсюда, привезти куда-нибудь и овладеть ею там. И как можно быстрее.

Догадывалась ли Сара Гарви, о чем он думал? Если и догадывалась, то никак этого не показывала.

Все это время она говорила про Вассар, Уэллсли[67] и Барнард[68] и, кажется, даже упомянула Маунт-Хольок[69]; теперь она начала подробно и с некоторым даже энтузиазмом рассказывать о колледже Уоррингтон[70] в штате Вермонт.

— Вы имеете в виду это богемное местечко с претензией на художественность? — спросил он. — Но туда же вроде как берут только вундеркиндов — ну то есть девочка уже должна что-то уметь в том или ином виде искусства?

— Наверное, у них действительно такая репутация, — сказала она, — хотя на самом деле там очень открытая, творческая среда, и, мне кажется, Лауре это пойдет на пользу. Вы же знаете, она человек яркий и впечатлительный.

— Ну разумеется, яркий, но делать-то она

---

[67] Примечания: 67

Уэллсли — частный женский гуманитарный колледж, расположенный в 20 километрах от Бостона.

[68] Примечания: 68

Барнард — частный гуманитарный колледж для женщин, является частью Колумбийского университета, расположен на Манхэттене, рядом с кампусом Колумбийского университета. Среди женских колледжей США Барнард предъявляет наиболее жесткие требования к абитуриенткам.

[69] Примечания: 69

Маунт-Хольок — один из старейших женских гуманитарных колледжей в США, основан в 1837 г., располагается в штате Массачусетс.

[70] Примечания: 70

Вымышленное название.

ничего не умеет. Она не рисует, не пишет, не занимается театром, не играет на музыкальных инструментах, не поет и не танцует. Так уж ее воспитывали. Трико в нашем доме никогда не носили, если вы понимаете, о чем я говорю.

И прекрасные глаза, и губы Сары Гарви вознаградили эту его реплику скромной, сдержанной улыбкой.

— То есть я имею в виду, мисс Гарви, — продолжал он, — что все эти талантливые девочки ее просто напугают. А я как раз не хочу, чтобы ей было страшно — ни в колледже, ни где-либо еще.

— Что ж, это понятно, — ответила она. — И все же если вам захочется присмотреться к Уоррингтону повнимательнее, то вот вам каталог. Видите ли, тут есть еще один фактор: ее мать, похоже, думает, что Лауре лучше всего подходит именно это место.

— Ах вот оно что! Тогда, видимо, мне придется обсудить этот вопрос с ее матерью.

Разговор был, судя по всему, окончен — Сара Гарви собирала бумаги и папки и складывала их обратно в ящик, — и Майкл пытался понять, следует ли ему уйти, даже не попытавшись вытащить ее отсюда. Но тут она посмотрела на него, пожалуй даже слишком смущенно для такой

красивой девушки.

— Приятно было с вами познакомиться, мистер Дэвенпорт, — сказала она. — Мне очень нравятся ваши книги.

— Да? Но откуда вы о них знаете?

— Лаура приносила мне почитать. Она очень вами гордится.

— Правда?

Для одного разговора сюрпризов было, пожалуй, многовато, но, разобравшись в них, он решил, что самый приятный — то, что Лаура им гордится. Сам бы он никогда об этом не догадался.

В коридорах повсюду загремели железные шкафчики — школьный день подошел к концу, и в такой ситуации пригласить ее выпить труда не составило. Она снова смутилась на какой-то миг, но потом сказала, что с удовольствием.

И пока она вела его к учительской стоянке, он решил, что, даже если в толпе смотревших им вслед детей окажется вдруг Лаура, ничего страшного в этом не будет: она решит, что они просто перебираются в более удобное место, чтобы продолжить обсуждение ее дальнейшего образования.

— А как становятся школьными консультан-

тами? — спросил он, когда Сара Гарви вырулила на дорогу.

— Ничего особенного, — сказала она. — Берешь несколько курсов по социологии в колледже, потом пишешь магистерскую работу и начинаешь подыскивать себе место.

— По вам не скажешь, что вы уже окончили магистратуру.

— Мне почти двадцать три; я окончила чуть раньше, чем обычно оканчивают, но ненамного.

Значит, разница в возрасте у них двадцать лет — Майклу было так хорошо, что эти двадцать лет показались ему приличной и очень даже приятной разницей.

Через Тонапак они ехали по местам, которых он не узнавал, и это тоже было хорошо: ему бы не хотелось проезжать сейчас мимо почтового ящика с надписью «Донарэнн» или чего-нибудь в этом роде. Бросив взгляд на пол, он заметил, что она сняла туфли и работает педалями почти босиком, в одних только тонких чулках, — и он подумал, что никогда еще не видел такой прелести.

Ресторан, в который она его привезла, тоже был ему незнаком — с тех пор как он отсюда уехал, в городке появилась куча новых заведений, — и, когда он сказал, что место симпатичное, она

бросила на него удивленный взгляд, чтобы убедиться, что это не шутка.

— Ничего особенного, конечно, — сказала она, когда они уселись рядом в полукруглой нише, отделанной искусственной кожей, — но я сюда часто хожу, потому что это удобно; я живу тут рядом, за углом.

— Вы одна живете? — осведомился он. — Или…

И пока она открывала рот, чтобы ответить, он боялся, что она скажет: «Нет, с мужчиной», что считалось теперь особым шиком даже у самых молодых и красивых девушек, причем они всегда произносили эту фразу с каким-то хвастливым видом.

— Нет, снимаю квартиру с двумя девочками, но мне это не нравится; хотелось бы жить отдельно. — Она выпрямилась, подняла покрывшийся уже испариной бокал с сухим мартини и сказала: — Ну что ж, на счастье!

И в самом деле, на счастье. Похоже, этот вечер мог оказаться для Майкла Дэвенпорта самым ярким и счастливым за многие-многие годы.

Ему с трудом верилось, что такая молодая девушка будет поддерживать столь умеренный образ жизни. К тому же никакой особенной жизни в этой захудалой части округа Патнем для

нее и не было — работа могла ее интересовать лишь время от времени, соседки по квартире ей не нравились, обедать приходилось в самом заурядном ресторане. Все это выглядело неубедительно, если не предполагать, что на выходные она сбегает в Нью-Йорк — в объятия человека, благодаря которому знает себе цену.

— Вы часто бываете в городе? — спросил он.

— Почти не бываю. Денег на это не остается, да мне там и не нравится.

И он снова вздохнул с облегчением.

А поскольку теперь он сидел гораздо ближе к ней, чем в кабинете, и уже не так стеснялся, как в машине, он ясно видел то, о чем раньше мог только догадываться: все дело было в коже — именно из-за кожи ему захотелось сорвать с нее одежду, как только он ее увидел. Кожа у нее была как у свежего персика или нектарина; она светилась; ее хотелось тут же взять и съесть. В удлиненном вырезе ее платья проглядывал краешек белого кружева — он поднимался с каждым ее вдохом и слегка подрагивал, когда она смеялась, — и от этого легкого, безотчетного намека на флирт его сковало от вожделения.

На втором бокале они плавно перешли на «ты», и она сказала:

— Наверное, лучше мне сразу признаться, Майкл, если ты сам уже не догадался. Никакой необходимости в том, чтобы ты сюда приезжал, не было. Все, о чем мы говорили у меня в кабинете, легко можно было обсудить по телефону. Мне просто хотелось с тобой познакомиться.

За это он поцеловал ее в губы — и, хоть ему и хотелось, чтобы порыв этот был по-мальчишески страстным, он постарался не доводить дело до поцелуя, за который мужчину вышвыривают из семейного ресторана.

— Наверное, классно, — сказала она чуть позже, — уметь писать стихи, которые не распадаются на куски — просто не способны распасться. Я долго пыталась — нет, сейчас уже больше не пытаюсь; в основном в колледже — и они всегда разваливались на части раньше, чем я успевала их закончить.

— Мои обычно тоже распадаются, — сказал он. — Поэтому я так мало печатаю.

— Зато уж если оно у тебя получилось, — сказала она, — то получилось. И ничто его уже не разрушит. Они у тебя как башни. Когда я дошла до последних строк «Если начистоту», у меня мурашки побежали по коже. И я расплакалась. Не помню другого современного стихотворения,

которое довело бы меня до слез.

Лучше бы она, конечно, вспомнила какое-нибудь другое стихотворение — «Если начистоту» нравилось всем без исключения, — ну да и фиг с ним. Так тоже вышло неплохо.

Когда официантка разложила перед ними меню, обоим было ясно, что про обед можно было даже не думать.

— К тебе пойти можно? — прошептал он, вдыхая аромат ее волос.

— Нет, — сказала она. — Там сейчас никакого покоя не будет. Они будут болтаться по всей квартире, бегать туда-сюда с феном, печь свои шоколадные печенья, или чем там еще они вечно заняты. Но здесь недалеко… — и он навсегда запомнил, как она отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза, когда она заканчивала фразу, — здесь недалеко есть мотель.

Поскольку он весь вечер занимался только тем, что мысленно раздевал Сару Гарви, то, когда он освободил ее от одежды в мертвой тиши просторного, запертого изнутри номера, ничего особенно неожиданного ему не открылось. Он знал, какая она будет красивая. И стоило ему дотронуться до ее источавшей свет кожи, как он понял, что остатки смутных мыслей о Мэри Фонтане, годами

не дававшие ему покоя с другими девушками, можно забыть навсегда. Сегодня ничего такого случиться просто не могло.

Казалось, и он, и Сара Гарви достигали полноты, только когда сливались воедино. По отдельности существовать они уже не могли: обоим нечем было дышать; разгоряченную кровь было не остановить ничем. Только в совокуплении обретали они полноту жизни и силу — не спеша они подводили друг друга к созданному им хрупкому гребню, вдвоем взбирались на него и вдвоем спускались; и когда они наконец отпускали друг друга, это делалось лишь ради того, чтобы дождаться, когда они смогут соединиться снова, — и даже разговаривать в промежутках было не обязательно.

Когда сквозь голубые жалюзи стало проглядывать солнце, было понятно, что они постараются проводить друг с другом как можно больше ночей и выходных. Никакого другого плана им было пока не нужно; засыпая, они знали, что у них будет еще много времени, чтобы определить свои дальнейшие судьбы.

Глава третья

Билл Брок ушел из «Мира торговых сетей» в пиар, с которым он, по его словам, справлялся за нефиг делать. Попытки написать роман он тоже давно оставил: теперь он считал себя драматургом.

— Только слушай, Майк, — сказал он как-то вечером в «Белой лошади» и тут же поднял руку, чтобы отгородиться от зависти Майкла. — Слушай, я знаю, что ты много лет писал пьесы и у тебя даже с места ничего не сдвинулось, но я всегда думал, что это потому, что по сути своей ты поэт. И вот теперь ты в этом качестве вполне сложился, и все это знают. Я бы даже под дулом пистолета стихотворение не написал, а ты можешь. Ты пишешь. Ты нашел свое, я нашел свое… Во-первых, я знаю, что у меня всегда получались диалоги. Когда мне возвращают рассказы и романы, даже в самом гадостном письме обязательно встретится что-нибудь типа «мистер Брок прекрасно справляется с диалогами». И я подумал: ну и хуй с ним. Если сила моя в диалогах, пойду в драматурги.

Недавно он закончил трехактную пьесу под

названием «Негры» («Кто бы спорил, название пустое, но, собственно, этой пустоты я и добивался»), и у него сложилось впечатление, что прирожденный дар к диалогу сослужил ему неплохую службу при демонстрации художественных достоинств, присущих речи американских негров.

— Например, — продолжал он, — у меня на протяжении всей пьесы персонажи говорят «мля…» — я так и писал «мля». Понятно, что имеется в виду «блядь», но бывает, что, когда пишешь, как слышишь, начинаешь проникать внутрь материала. Что бы там ни было, Майк, мне кажется, пьеса получилась достойная, и момент для нее сейчас как раз самый правильный.

Пьесу нужно было ставить, и первым делом он отправил ее в сопровождении краткого дружелюбного письма Ральфу Морину из Филадельфийской театральной труппы.

— Господи, — сказал Майкл, — почему именно ему?

— Ну а почему нет? — И Билл мгновенно приготовился к спору. — Почему нет? Разумнее ведь так поставить вопрос, а, Майк? Мы же все взрослые люди; что бы там ни было у нас с Дианой, это много лет назад закончилось; какие еще могут быть недоразумения? Ну а кроме того… — тут

он глотнул пива, — кроме того, — повторил он, вытирая пену со рта, — парень он пробивной. Про него уже даже сраная «Санди таймс» пишет в воскресном выпуске. Этот его филадельфийский проект прославился практически на всю страну. Стоит ему получить хорошую в коммерческом отношении пьесу — я имею в виду действительно хорошую пьесу, хоть и коммерческую, — и он распрощается навсегда с этой Филадельфией, привезет пьесу сюда и станет одним из главных режиссеров на Бродвее.

— Ладно.

— Ну так вот, он мне ответил — прислал очень милое, приятное письмо. Написал, что миссис Хендерсон в курсе, что ему очень понравилась моя пьеса, и она за выходные ее прочитает.

— Что это за миссис такая?

— Ну, собственно, это она все там спонсирует, дает гарантии под все их постановки, поэтому без ее одобрения они ничего не могут сделать. И я так понимаю, что «Негры» мои ей тоже дико понравились, потому что дальше Ральф мне позвонил и спросил, когда я смогу подъехать, чтобы все это обсудить. Ну и я все на хрен бросил и прилетел туда на следующий же день.

— Видел Диану?

— Ну конечно видел, было очень приятно, но это все было уже потом. Давай уж я расскажу все по порядку, ладно? — И он откинулся с довольным видом на спинку деревянного стула. — Ну, во-первых, он мне очень понравился. С этим ничего не поделать, он всем нравится. Ну то есть сразу видно, что он чуткий, понимающий и все такое, но он не пытается этим удивить: общается спокойно, прямо, очень по-простому. Ну и он мне говорит: «Буду с вами откровенен, Билл. Все персонажи у вас — негры, и понятно, что так и должно быть, — собственно, в этом ваша задача и состояла. Вы ухватили их подавленность, их гнев, их жуткую беспомощность, пьеса получилась сильная. Но вот какая трудность: у нас уже есть другая пьеса по расовой тематике, тоже начинающий драматург, только там межрасовая любовная история».

Билл склонился вперед, тяжело опершись обоими локтями о мокрый от пива стол, и, уныло улыбнувшись, покачал головой. Майкл вспомнил, как он давным-давно пытался объяснить Люси, что Билл Брок еще и потому такой симпатичный, что умеет посмеяться над собственными неудачами. «Боюсь, мне этого не понять, — сказала она тогда. — Почему бы ему не добиться в

чем-нибудь успеха и за счет этого привлекать к себе людей?»

— Ну и к этому времени, — говорил Билл, — я уже понял, что ничего не выгорит. Потом он стал мне рассказывать про эту пьесу. Называется она «Блюз в ночи» — несколько слащаво на мой вкус, ну да и фиг с ним, чем черт не шутит. Там, значит, молоденькая героиня, аристократка-южанка, влюбляется в негра, и первый ее порыв — убежать с ним куда-нибудь подальше, за границу, но парня с места не сдвинуть: он хочет жить дома — и хоть трава не расти. Дальше отец девчонки чует неладное, начинаются неприятности, и все в итоге оборачивается трагедией. Ну, я, бля, немножко подсократил по сравнению с тем, что он мне рассказывал, но, Майк, ты же понимаешь, как мощно все это можно дать на сцене. А потом он мне рассказывает, с какими проблемами они столкнулись, когда стали искать актрису на главную роль. Сказал, что она-де должна быть дико юная, притом что просто хорошая актриса тут не годится — она должна быть гениальная. Ну и понятно было, что он хотел этим сказать: тут требуется блестящая игра, иначе сразу же появятся вопросы к самой пьесе, потому что качество-то, в общем, сомнительное. И потом он

говорит: «Ну и допустим даже, что идеальную актрису мы найдем, — и что тогда? Какие у нас возможности? Премьеру на Бродвее мы ей предложить не сможем, ну и дико было бы ожидать, что она согласится работать в Филадельфии за эти жалкие гроши, правильно?» Видишь, Майк, что он пытался до меня донести? Что если с этой другой пьесой ничего не срастется и актеров так и не найдут, то они с миссис Хендерсон, возможно, заменят ее моей — поэтому, собственно, ему и захотелось со мной встретиться. И я решил, что, в общем, он повел себя достойно: сразу раскрыл все карты. Очень достойно.

— Все равно не очень понимаю, — сказал Майкл. — Почему он не мог сказать тебе все это по телефону? Ну или письмо мог бы написать.

— Наверное, хотел со мной познакомиться, — ответил Билл. — Ну и нормально — я тоже хотел с ним встретиться. Я уже собирался уходить, а он вдруг говорит: «Билл, я надеюсь, вы не очень спешите. Я сказал Диане, что вы сегодня придете, и она обещала заглянуть». И тут — бах! — как по команде, распахивается дверь и входит Диана и все трое сыновей в придачу. Диана Мэйтленд. Бог мой! Не видел ее с пятьдесят четвертого года.

И Билл встал из-за стола, чтобы разыграть

сцену.

— Вот примерно так она вошла, — сказал он, изображая, как она прислоняется к стене, стоит некоторое время в нерешительности, потом берет себя в руки и подается вперед. И надо сказать, — продолжал он, усевшись обратно, и на лице у него появилась та же улыбочка, с которой он обычно рассказывал о собственных неудачах, — все это действительно кое о чем мне напомнило. Потому что вот именно это мне в ней никогда и не нравилось. Вот эта ее неловкость. Помню, я часто думал: «Ну да, конечно, она красивая, конечно, милая, конечно, я ее люблю — ну или, по крайней мере, думаю, что люблю, — но почему она не может быть изящной, как другие девушки?»

На пару секунд Майклом овладело желание наклониться через стол и вылить все свое пиво Броку на голову. Ему хотелось посмотреть, как оно будет стекать по волосам на рубашку, хотелось увидеть потрясенное, полное недоумения лицо Брока; потом бы он встал и, положив на стол несколько долларов, сказал бы: «Мудак ты, Брок. Как был мудаком, так и остался». И это избавило бы его от Билла Брока на всю оставшуюся жизнь.

Но он вместо этого сдержался и, овладев собой, сказал:

— Мне она всегда казалась изящной.

— Ну да, только тебе никогда не приходилось с ней жить. Тебе никогда не приходилось… ладно, забей; хрен с ним. Ну его нахуй. Забудь. Ну так вот, — сказал Билл, откидываясь назад и с явным облегчением возвращаясь к тому, что произошло в Филадельфии. — Я чмокнул ее в щечку, мы присели, немного поболтали, все было очень приятно; потом я предложил пойти куда-нибудь выпить, но Диана сказала, что мальчики устали или что-то в этом роде, так что мы все вместе пошли вниз и попрощались уже на улице. Вот и все. Нет, вернулся я, в сущности, с хорошим чувством. Я рад, что отправил пьесу Морину, и рад был с ним познакомиться. Установил полезный деловой контакт и завел хорошего друга, мне так кажется.

«Ага, — подумал про себя Майкл, — ага. Ты ведь и жопу ему готов до блеска вылизать, правда ведь?»

Домой из «Белой лошади» он шел очень быстро: его распирало от гнева, и только на полдороге он понял, что ему нет больше нужды ненавидеть Брока за то, что тот жил когда-то с Дианой; и еще он понял, что ему больше никогда не придется тосковать по Диане Мэйтленд, отделенной от

него немыслимыми расстояниями в пространстве и времени.

Сегодня он только потому и пошел выпить с Броком, что в первый раз за последние шесть недель остался дома один: все остальные вечера с ним была Сара; завтра она снова вернется, а Сара Гарви была девушкой такой же прекрасной, такой же интересной и такой же свежей, какой могла некогда стать для него Диана Мэйтленд.

Дома он обнаружил незаконченное резюме, которое он так и оставил в машинке, когда позвонил Брок, и просидел над ним до поздней ночи. Завтра он отдаст его Саре, она размножит его на школьном ксероксе, а он потом разошлет копии на адреса английских факультетов всех американских колледжей, какие только найдет в публичной библиотеке.

Многие годы он клялся, что преподаватель английского — последняя работа, на которую он согласится, но теперь он был к этому готов. И ему было все равно, в какую часть страны занесет его эта работа, потому что Сара сказала, что ей тоже все равно; работу школьного консультанта она, наверное, сможет найти где угодно, если появится в этом нужда, а если не появится, то и ладно. Им обоим важно было начать новую жизнь.

— Сара, — спросил он ее через несколько дней, когда они обедали в его любимом ресторане «Синяя мельница»[71], — я тебе рассказывал про Тома Нельсона из Кингсли? Который художник?

— Думаю, да. Это который еще и плотник?

— Нет, другой. Ничего общего между ними нет. Нельсон — совсем другая история. — После чего он довольно долго объяснял, что эта другая история собой представляет.

— Такое впечатление, что ты ему здорово завидуешь, — сказала она, когда он закончил.

— Пожалуй что да; наверное, я всегда ему завидовал. Мы довольно долго с ним не общались после одной неудачной поездки в Монреаль, я на него тогда дико разозлился, и мы с тех пор виделись только пару раз у него на вернисажах, — впрочем, туда я тоже ходил в надежде познакомиться с какой-нибудь девушкой. Но не суть — сегодня он мне ни с того ни с сего позвонил — скромный такой, милый — и пригласил к себе на вечеринку в пятницу. Такое впечатление, что он снова намерен дружить. Ну и я бы с удовольствием пошел, Сара, но только если ты

---

[71] Примечания: 71

Этот ресторан в западной части Гринвич-Виллидж существует до сих пор и считается одним из лучших заведений, сохранивших атмосферу старого Нью-Йорка.

согласишься поехать туда со мной.

— Не скажу, что это самое изысканное предложение из тех, что я в последнее время получаю, — сказала она, — но так и быть. Почему нет?

Когда они подъехали, у дома Нельсонов стояло совсем немного машин. Несколько мужчин, которые приехали пораньше, нервно расхаживали по гостиной — и пока не начали наливать, один только вид этой комнаты, с тысячами книг, устрашающе глядящих с полок, мог довести, на трезвую-то голову, до нервного срыва. Женщины, судя по всему, шли в большинстве своем на кухню, чтобы помочь Пэт или, точнее, сделать вид, что помогают, потому что Пэт всегда справлялась со всем сама; и Майкл с гордостью повел туда Сару знакомиться.

— Рада вас видеть, Сара, — сказала Пэт, и ей, похоже, действительно приятно было видеть, что у Майкла такая милая молодая девушка, но в глазах ее мелькнула и тень изумления, как будто Майклу было уже за пятьдесят, а вовсе не за сорок, и это ему не понравилось.

Когда он спросил, где Том, она не скрывала своего раздражения:

— Во дворе со своими игрушками — целый день уже играет. Сходи за ним, Майкл, скажи, что

мама велела идти домой.

Двор был широкий и длинный, как и все в доме у Нельсонов, и первое, что Майкл заметил в дальнем его конце, была женская фигура: руки сложены на груди, волосы слегка развеваются на ветру; он направился к ней и через несколько секунд узнал Пегги Мэйтленд. Потом он заметил Тома Нельсона: тот сидел рядом на корточках, спиной к ней, и копался в куче грязи с напряженностью мальчишки, занятого игрой в шарики[72]. И только потом он разглядел третью фигуру: метрах в десяти-пятнадцати от Тома на боку, подперев рукой голову, лежал человек, одетый во все джинсовое, — это был Пол.

Все боевые расчеты на искусно созданном поле боя были мертвы. Все допустимые правилами боеприпасы полевая артиллерия уже использовала: два пластмассовых пистолета валялись, разряженные, на траве — пора было заключать мир и поминать павших.

Том Нельсон приветствовал Майкла вполне

---

[72] Примечания: 72

Игра в шарики (marbles) — детская игра, чрезвычайно популярная в США в дотелевизионную эпоху. Шарики могли быть стеклянные, глиняные, металлические. Общая идея состояла в том, чтобы выбить своим шариком шарик противника с определенной территории или загнать его в какое-то определенное место. Правила варьировались от компании к компании.

сердечно — сказал, что рад его видеть, но сразу же бросился объяснять, почти не сдерживая ликования, что только что провел самую прекрасную в своей жизни битву.

— С этим чуваком шутки плохи, — сказал он восхищенно. — Он знает, как прикрыть фланги. — Потом он сказал: — Подожди здесь, Пол, только ничего не трогай. Я схожу за фотоаппаратом, мы напустим немножко дыма и поснимаем.

И побежал к дому.

— Черт возьми, Пол, — сказал Майкл, когда Мэйтленд поднялся и протянул ему руку. — Я бы в жизни не подумал, что ты можешь здесь оказаться.

— Ну, все меняется, — сказал Мэйтленд. — Мы с Томом в последние пару лет очень сдружились. У нас же с ним теперь один галерист; так и познакомились.

— Вот как! Не знал, что у тебя теперь есть галерист, Пол. Это здорово. Поздравляю.

— Ну, я бы не сказал, что они сильно много продали и выставку пока еще тоже не сделали; но это все равно лучше, чем вообще без галереи.

— Ну разумеется, — сказал Майкл. — Отличные новости.

Пол Мэйтленд покрутился туда-сюда, чтобы

размять позвоночник, морщась при каждом движении, изгонявшем из его мышц перегибы военных действий, в то время как руки его поправляли повязанный вокруг шеи синий платок.

— Нет, я правда поражен, насколько мне нравится Том, — сказал он. — И как мне нравятся его работы. Я раньше думал, что он какой-то легковесный, что ли. Иллюстратор и все такое. Но чем больше смотришь на его картины, тем больше они на тебя действуют. Знаешь, что он делает в лучших своих работах? У него получается сделать так, что сложные вещи оказываются простыми.

— Ага, — сказал Майкл. — Все так, я тоже часто об этом думал.

Но тут они увидели, как Том Нельсон, с фотоаппаратом в руках, несется вприпрыжку через весь двор, и Пегги Мэйтленд, как девчонка, захлопала от восторга в ладоши.

Час или два спустя, когда вечеринка наконец оживилась — в доме собралось, наверное, человек пятьдесят, — Майкл спросил Сару, все ли у нее хорошо.

— Ну да, — сказала она. — Только, сам понимаешь, тут все настолько старше меня, что я не очень знаю, что должна делать и что говорить.

— Да просто будь самой собой, — сказал он. —

Стой тут в образе самой прекрасной девушки на свете, и все остальное приложится. Обещаю.

Среди гостей был историк искусства, работающий над монографией о Нельсоне, был стареющий заслуженный поэт, чья следующая книга должна была выйти ограниченным тиражом по двести долларов экземпляр, с иллюстрациями Тома Нельсона на каждом развороте. Была еще знаменитая актриса с Бродвея, которая говорила, что прилетела в дом Нельсона «как мотылек на пламя», — настолько «растрогана» она была выставкой его живописи в музее Уитни. И был там романист, которого недавно провозгласили автором, не допустившим ни одной художественной ошибки ни в одной из девяти своих книг, — до сегодняшнего дня он не был знаком с Нельсоном, но теперь стал ходить за ним из комнаты в комнату, хлопал его по облаченной в парашютную куртку спине и приговаривал: «Вот именно, солдатик. Вот именно».

После того как Сара «спряталась» на кухне с несколькими другими молодыми людьми, а Майкл начал ощущать воздействие всего того, что он выпил, к нему подгреб Пол Мэйтленд и спросил, что Майкл сейчас поделывает.

— Ищу преподавательскую работу, — ответил

он.

— Надо же, и я на это решился, — сказал Пол. — Осенью мы уезжаем в Иллинойс — Том тебе не говорил? — Иллинойский университет в Шампейн-Урбана, или как он там называется[73]. Забавно. — И Пол пригладил усы. — Я всю жизнь клялся, что никогда не стану преподавать, как и ты, наверное; и вот теперь преподавание оказалось единственным приличным занятием в нашем возрасте.

— Точно. Так оно и есть.

— Представляю, как ты рад будешь избавиться от своих рыболовных сетей.

— Торговых.

— В каком смысле?

— Он называется «Мир торговых сетей», — сказал Майкл. — Журнал посвящен торговым компаниям, которые открывают сразу целые сети магазинов, понимаешь? — И потом, покачивая головой от изумления, добавил: — Ни черта себе! И все эти годы, когда мы с Броком рассказывали тебе, чем мы занимаемся, ты думал, что речь идет про какие-то ебаные рыболовецкие снасти?

---

[73] Примечания: 73

На самом деле называется он наоборот: Иллинойский университет в Урбана-Шампейн — в этих двух теперь уже слившихся воедино городах располагается самый большой кампус Иллинойского университета.

— Ну теперь-то я понял, — сказал Пол. — Но в общем, да. У меня действительно сложилось впечатление, что вы занимаетесь рекламой рыболовных сетей или что-то в этом духе.

— Ну да, в твоем случае, я полагаю, эту ошибку легко объяснить. Потому что ты ведь, Пол, на самом деле никогда никого не слушаешь, верно? Ты ведь только к себе относишься дико внимательно — на фига тебе кто-то еще?

Пол отступил на пару шагов назад, недоуменно моргая и улыбаясь, как будто пытался понять, серьезно ли Майкл все это говорит.

А Майкл со всей серьезностью продолжал:

— Вот что я тебе скажу, Мэйтленд. Давным-давно, когда мы с Люси только познакомились с тобой и с твоей сестрой, мы считали вас обоих необыкновенными. Какими-то неземными существами. Мы готовы были наизнанку вывернуться, лишь бы сделаться хоть немного на вас похожими или стать ближе к вам, — понимаешь, бля? Мы думали, что в вас есть какая-то охуительная магия.

— Слушай, старина, — сказал Пол. — Я, похоже, чем-то сильно тебя обидел. Я не хотел. Не понял, в чем дело, но ты меня прости, ладно?

— Конечно, — сказал Майкл. — Забудь. Никто

никого не хотел обидеть, никто ни на кого не обиделся. — Но он сгорал от стыда за предельную откровенность своей вспышки: фраза «Мы думали, что в вас есть какая-то охуительная магия» все еще висела в воздухе, и окружающие явно ее смаковали; слава богу, что хоть Сара была на кухне и не могла ее слышать. — Что ж, пожмем тогда руки, что ли? — предложил он.

— Ну конечно, — ответил Пол, и они были уже достаточно пьяные, чтобы превратить рукопожатие в процесс до чрезвычайности торжественный.

Потом Майкл сказал:

— Отлично. А теперь давай с тобой сыграем. Первый ход предоставляю тебе. — Он расстегнул пиджак своего единственного костюма и ткнул себе в рубашку. — Бей меня со всей силы. Сюда.

Пол смутился лишь на какую-то секунду, а потом, похоже, понял. Быть может, в Амхерсте тоже играли в такую игру; в любом случае сил у него было много — сказывались годы физической работы. Удар получился быстрый и довольно крепкий — Майкл отскочил и попятился, всеми силами стараясь удержаться на ногах и не упасть навзничь.

— Здорово, — сказал Майкл, как только к нему

вернулся дар речи, и снова встал на линию. — Здорово у тебя получилось. Теперь моя очередь.

Сам он торопиться не стал. Он внимательно изучил лицо Мэйтленда: умные глаза, иронический рот, усы бесстрашного бунтаря. Потом переступил с ноги на ногу, собрался с силами и вложил все, что у него было, в правую руку.

Поразительно, но Пол упал не сразу. С остекленевшими глазами он отступил, поморщившись, назад; он даже смог сказать «неплохо», хотя его было почти не слышно; потом обернулся, как будто высматривая, с кем бы еще поговорить, сделал три или четыре неуверенных шага, упал на антикварный деревянный стул, но тут же сполз с него на пол и потерял сознание.

Из тех, кто стоял рядом и наблюдал за происходящим, одна женщина закричала, а другая отпрянула и закрыла лицо ладонями; какой-то мужчина твердо взял Майкла за руку и сказал:

— Лучше бы тебе отсюда убраться, приятель.

Но Майкл пронзил его взглядом и ответил:

— Отъебись, милый. Я никуда не пойду. Это игра такая.

Пегги Мэйтленд метнулась к мужу и обхватила руками его голову — Майкл испугался, что сейчас она бросит на него тот же полный жуткого упрека

взгляд, какой он увидел когда-то в глазах миссис Деймон, но она не стала.

Вдвоем они приподняли Пола и поставили его сначала на трясущееся колено, а потом и на ноги; дальше они вели его с такой осторожностью, что некоторые, наверное, даже не заметили, что ему было больно.

Пол сдерживал рвоту, пока они не вышли на улицу и не дошли до того места, где ничего нельзя было испортить; там его вырвало, и, когда спазмы кончились, к нему вроде бы стали возвращаться силы.

Среди машин, стоявших рядком в лунном свете, найти автомобиль Мэйтлендов было несложно: это была единственная высокая, уныло-тупоносая машина, единственная, произведенная до 1950 года. Когда Майкл открыл правую дверцу и усадил туда Пола, на него пахнуло бензином и затхлостью подгнившей обшивки. Скоро у Мэйтлендов будет новенькая блестящая машинка для среднего класса — как только он станет профессором в Иллинойсе. А это была машина так и не примкнувшего к профсоюзам плотника, много лет пытавшегося заниматься живописью в свободное от работы время.

— Пол, — сказал Майкл, — слушай, я не имел в

виду сделать тебе больно; ты понимаешь?

— Ну конечно. Само собой разумеется.

— Слушай, Пегги, мне очень жаль, прости меня.

— Поздновато уже извиняться, — сказала она. — Но так и быть. То есть я понимаю, что это игра, Майкл. Я просто думаю, что это очень тупая игра, вот и все.

И Майкл повернулся лицом к большому сияющему дому Нельсонов. Ему ничего не оставалось, как обойти его по газону, зайти через черный ход на кухню, вытащить оттуда Сару и уехать.

На заявку Майкла откликнулось совсем немного колледжей, а единственное заслуживавшее внимания предложение о работе поступило от учреждения, носившего название Государственный университет Биллингса, штат Канзас.

— Канзас — это как-то мрачновато, — сказала Сара. — Излишне мрачно, я имею в виду. А ты как думаешь?

Но наверняка ни ей, ни ему ничего не было известно. Он вырос в Нью-Джерси, а она в Пенсильвании, и вся остальная страна оставалась для них почти совершенно чуждой. Он подождал немного в надежде на более заманчивые предложения, а потом принял приглашение из Канзаса,

опасаясь, что, если он потянет еще, работа достанется кому-нибудь другому.

И теперь им оставалось только решить, как провести долгие недели положенного Саре летнего отпуска. Они выбрали Монток на Лонг-Айленде, потому что там со всех сторон был океанский пляж, но из-за удаленности от более модных мест, от Хэмптонов[74], цены там были не такие высокие. Их летний домик был такой маленький и узкий, что одинокому человеку находиться там было бы, наверное, невыносимо; но это была крыша над головой, стены тоже имелись, а в окна проникали свет и воздух; больше им ничего и не требовалось, потому что единственное, чем они там занимались каждый вечер, а потом еще раз каждую ночь, был секс.

В детстве он думал, что мужчины за сорок, такие как папа, начинают терять эту энергию, но это только доказывало, что дети с легкостью верят во всякие глупости. Еще одно его детское убеждение состояло в том, что мужчины за сорок интересуются обычно женщинами своего

[74] Примечания: 74

Хэмптоны — курортная местность на восточной оконечности Лонг-Айленда, состоящая из многих поселков и городков Ист-Хэмптон и Саутхэмптон. Один из самых дорогих курортов в окрестностях Нью-Йорка.

возраста, такими как мама, тогда как молодые девушки всегда предпочитают совокупляться с молодыми парнями, — но и это убеждение тоже пришлось послать куда подальше. Когда они возвращались с открытого всем ветрам пляжа, с соленой от купания кожей, молоденькой Саре Гарви достаточно было позвать его шепотом, чтобы он убедился: никакого молодого парня она не хочет; она хотела его.

Однажды, когда они шагали вместе по твердому от влаги песку, у самой кромки, она в каком-то порыве сжала обеими ладонями его руку и сказала: «Мы, наверное, были созданы друг для друга, правда?»

И потом, когда он оглядывался в прошлое, ему всегда казалось, что именно в этот момент они и решили пожениться.

На конец лета оставались сущие мелочи: они проведут несколько дней с семьей Сары в Пенсильвании и там же сыграют скромную свадьбу, а потом они уедут вместе в Канзас — что бы этот Канзас ни значил.

Глава четвертая

Дом, который они сняли в Биллингсе, штат Канзас, когда поженились, был первым в жизни Майкла удобным и современным жильем — и Сара сказала, что она тоже раньше в таких домах никогда не жила. Он был одноэтажный — «дом-ранчо» — и с дороги ничего особенного не представлял: нужно было оказаться внутри, чтобы понять всю щедрость его размеров — в длину, ширину и высоту — и увидеть, каким светлым коридором соединялись несколько просторных комнат. Над окном в каждой комнате располагался кондиционер, в конце августа прекрасно справлявшийся с жарой, а соединенные с новенькими радиаторами термостаты обещали надежную защиту от зимних холодов. Все работало.

Расхаживая по этим прочным полам, он вспоминал с презрением дурацкий домик в Тонапаке и досадовал, что подвергал Люси и Лауру стольким повседневным неудобствам, причем, как теперь казалось, совершенно безосновательно. Но надо быть идиотом, чтобы изводить себя сожалениями; и каждый раз, когда он задумывался

о будущем, глядя на Сару, он не переставал изумляться, что жизнь, похоже, готова была дать ему еще один шанс.

Хотя как минимум в одном важном вопросе Сара оказалась права: Канзас и вправду оказался излишне мрачным. Земля была слишком плоской, небо — слишком большим, и, окажись ты на улице в ясный день, скрыться от испепеляющего солнца было невозможно, пока оно само наконец величественно не закатывалось за горизонт. Милях в двух от университета располагались скотоводческие фермы и бойня, и когда послеполуденный ветер дул с той стороны, он приносил с собой слабую, но едкую вонь.

Первые недели они с легкостью скрывались от всего этого дома — Майклу удалось даже написать короткое стихотворение под названием «Канзас», на первый взгляд неплохое, так что он решил его сохранить, хотя потом все равно выбросил, — но дальше начались занятия.

За исключением небольшого цикла лекций в Нью-Хэмпшире, волнения от которого хватило на то, чтобы довести его до психушки, никакого опыта подобной работы у него не было. Как ни противно было все эти годы зарабатывать на жизнь в «Мире торговых сетей», бояться там было

нечего; теперь же его бросало в холодный пот от страха каждый раз, когда он заходил в аудиторию. Эти незнакомые молодые лица ничего для него не значили, он не мог понять, томятся ли они от скуки, мечтают о чем-то своем или внимательно слушают, и времени, отведенного на каждое занятие, всегда оказывалось слишком много.

Но он вполне достойно выдерживал лекции и «поэтический семинар», стыдиться было нечего; индивидуальные консультации давались ему легче, и, высидев положенные часы, он возвращался домой и склонялся с карандашом в руках над их беспомощно хромыми стихотворениями или над серьезными, но всегда упускающими самое главное «работами» о поэзии, — и у него сложилось убеждение, что зарплату свою он отрабатывает честно.

— Ну да, только почему ты тратишь на это столько времени? — спросила как-то Сара. — Я думала, весь смысл этой работы в том, что она даст тебе возможность заниматься собственным делом.

— Так оно и будет, — сказал он. — Как только я с этим освоюсь, все это будет делаться левой ногой. Вот увидишь.

Воскресный выпуск «Нью-Йорк таймс» прода-

вали в университетском городке только в одном месте, и Майкл покупал его каждую неделю, чтобы часок-другой просидеть с хмурым видом над разделом рецензий, наблюдая, как к молодым поэтам, которых он презирал, приходит слава и как поэты постарше, некоторые из которых ему нравились, постепенно сдают свои позиции.

Время от времени, устав от терзаний, он проглядывал и театральные страницы; так он узнал, что «Блюз в ночи» стал в этом сезоне сенсацией номер один на Бродвее.

> …Неизбежный трагизм отношений двух людей разного цвета кожи вряд ли когда-то изображался на американской сцене с таким достоинством, тактом и потрясающей смелостью, как в этой великолепной постановке Ральфа Морина по выдающейся пьесе Роя Кидда.
>
> Смотреть эту пьесу нелегко — и было бы еще тяжелее, если бы не исключительное актерское мастерство Эмили Уокер, исполняющей роль юной аристократки-южанки, и Кингсли Джексона, играющего ее дерзкого и упрямого чернокожего возлюбленного. В прошлый четверг эти

удивительные молодые люди вышли на сцену театра Шуберта дебютантами и сошли с нее звездами. Как минимум один рецензент считает, что постановка должна остаться в репертуаре театра навечно.

Майкл пропустил пару абзацев, посвященных автору пьесы, потому что не хотел знать, какой этот сукин сын молодой, и не желал видеть, как его называют «драматургом», а потом чуть ниже прочитал следующее:

…И все же наибольших почестей в связи с этим волнующим вечером заслуживает Ральф Морин. Проработав несколько лет с Филадельфийской театральной трупной, он поставил целый ряд спектаклей, принесших ему заслуженную репутацию умелого и тонкого режиссера. Но Филадельфия не Нью-Йорк, и даже такая сильная пьеса, как «Блюз в ночи», могла бы долго томиться в безвестности, если бы не чутье мистера Морина. Все без исключения он сделал верно: подобрал почти безупречный актерский состав, на репетициях употребил свое непревзойденное мастерство, чтобы каждый звук и

каждая пауза полностью удовлетворяли его вкусу, а потом привез постановку на Бродвей.

Во вчерашнем интервью, которое он давал у себя в гостиничном номере в пижаме и халате, хотя разговор происходил уже после полудня, мистер Морин сказал, что он «все еще в трансе» после вчерашнего оглушительного успеха пьесы.

«Я еще сам не могу поверить во все это, — сказал он с обезоруживающе детской улыбкой, — но надеюсь, что дальше все будет идти в том же духе».

Теперь этого сорокадвухлетнего человека, по специфически театральной красоте которого легко догадаться, что он и сам когда-то стремился стать актером, можно без преувеличения назвать режиссером, честно заработавшим свой успех.

Его жена Диана приезжала на премьеру из Филадельфии, но на следующий же день вынуждена была вернуться домой, где ее ждут трое маленьких сыновей. «Так что как только театральные дела устроятся, — сказал он, — мне нужно будет подыскать приличное жилье для

всей семьи».

Пожалуй, ни Диане, ни мальчикам тревожиться не стоит: Ральф Морин знает, как устраивать театральные дела.

— Что ты читаешь? — спросила Сара.

— Да чушь всякую. В воскресном номере заказной панегирик про человека, которого я один раз видел, — он женат на моей старой знакомой. Теперь вот у него дикий успех на Бродвее.

— Этот, что ли… как его там… «Блюз в ночи»? Откуда ты его знаешь?

— Ну, это долгая история, детка. Ты заскучаешь, если я начну рассказывать.

Но он все равно рассказал, стараясь не особенно зацикливаться на своей долгой влюбленности в Диану и описав Пола так, что упоминать недавний обмен ударами не потребовалось; потом он попытался завершить историю уничижительным рассказом о том, как Билл Брок ездил в Филадельфию, но понял, что она уже его не слушает, потому что Билла Брока она никогда не видела и ничего про него не читала.

— Понятно, — сказала она, когда он закончил. — Ну то есть теперь я понимаю, как это все для тебя связано. Такое впечатление, правда, что

пьеса какая-то желтоватая. Ну то есть с претензиями, «актуальная» и все прочее, но все равно отдает желтизной. В кино это называют эксплуатацией темы[75].

— Точно, — ответил он.

И ему было очень приятно, что она сама это сказала.

Как-то вечером приехав с работы, он обнаружил около гаража два новеньких велосипеда — сюрприз от Сары — и побежал в дом ее поблагодарить.

— Я подумала, что небольшая физическая нагрузка нам не помешает, — сказала она.

— Гениально! — сказал он. — Идея просто гениальная.

И он действительно так думал. Можно будет каждый вечер кататься по дорогам среди бесконечных прерий; он будет со всей силы жать на педали, изгоняя из организма скопившиеся на работе яды, хватая ртом свежий воздух. И когда они вернутся домой, чтобы принять душ и пе-

---

[75] Примечания: 75

Эксплуатационное кино (exploitation movies) — жанровые фильмы категории «Б», эксплуатирующие какую-нибудь популярную тему в целях быстрого заработка. Самыми распространенными в этой категории считаются малобюджетные фильмы на тему секса, но сюда же относятся картины про байкеров, наркоманов, фильмы про зомби, криминальные триллеры и проч.

реодеться во все чистое и мягкое, ему будет так хорошо от притока свежей крови и успокоенных нервов, что больше одного-двух стаканов виски перед обедом ему, быть может, и не потребуется.

Но первая же велосипедная прогулка не принесла ни малейшего удовольствия. Сара унеслась от него как птица — откуда столько силы в этом хрупком теле и в этих тонких ножках? — тогда как все его силы уходили на то, чтобы не вилять и не съезжать с асфальта. Он, конечно, все еще мог отправить кого угодно в нокаут в гостиной Тома Нельсона, но ноги его уже никуда не годились; это было первое крайне неприятное открытие. Второе состояло в том, что легкие его тоже никуда не годились.

Он знал, что догнать ее можно, только если встать на педали и жать, опершись на руль, пока сердце не выскочит из груди, — и он жал, невзирая на жгучую боль в коленях и то и дело хватая разинутым ртом воздух; и хотя он почти ничего не видел из-за лившего на глаза пота, он почувствовал, как поравнялся с ее велосипедом и в конце концов обогнал его.

— Как дела? — крикнула она.

Потом ему пришлось снова пропустить ее вперед, поскольку не надо было быть тренером по

легкой атлетике, чтобы понять: ему нужен отдых. Он дождался, когда велосипед остановится, присел около него на корточки и с силой опорожнил обе ноздри на дорогу; не сделай он этого, он кашлял бы до рвоты, чтобы восстановить дыхание.

Отдышавшись, он вгляделся в мерцающую даль и понял, что Сару ему уже никогда не догнать, так далеко она унеслась; потом он увидел, как она сделала широкий разворот и, оказавшись на другой стороне дороги, начала долгий путь домой. Поравнявшись с ним и пронесшись с ветерком мимо, она улыбнулась и махнула рукой, вероятно имея в виду, что не будет возражать, если он поедет домой прямо отсюда; он развернул велосипед и отправился вслед за ней, отставая по ходу дела все дальше и дальше. Теперь главная беда состояла в том, что он то и дело скатывался к самой кромке асфальта, изъеденной беспорядочными трещинами и усыпанной отколовшимися кусками, которые били по колесам и отдавали в позвоночник; при этом высокая желтая трава цеплялась за спицы, и ему приходилось вступать в отчаянную схватку с рулем, чтобы снова выехать на твердую дорогу.

Он увидел, как Сара поднялась и встала на педалях, чтобы быстро преодолеть небольшой подъем

на ведущей к дому дорожке, а потом легко скатилась и исчезла в тени гаража; и он пообещал себе приберечь силы, чтобы выполнить финальный отрезок пути с той же уверенностью и легкостью; но как только он сам подъехал к подножию пригорка, стало ясно, что об этом не может быть и речи. Пришлось слезть с этого чертова велика и пешком завезти его в гараж, повесив голову и сжав зубы, чтобы, не дай бог, не обратиться к жене с вопросом типа: «Ну что, бля, ты тут самая молодая, да?»

Потом, отмокнув в душе и натянув чистую рубашку и брюки, он уселся в гостиной и, уставившись в стакан, сказал, что ничего с этими велосипедами не получится.

— На это я уже не способен, девочка, — объяснил он. — Не хватает меня на эту ерунду. Просто не могу.

— Ну слушай, это же только первый раз, — начала она, и он похолодел, настолько сильно эти слова и тон, каким они были сказаны, напомнили ему Мэри Фонтану, хотя, быть может, именно так пытаются утешить бессильных мужчин все славные девушки. — Я знаю, что все вернется, причем довольно быстро, — продолжала она. — В конце концов, тут все зависит от сноровки. Главное, тут

не должно быть никакой борьбы, не надо ничего форсировать; просто попытайся расслабиться. Ну и в следующий раз я не стану так выделываться, не буду больше так далеко от тебя отрываться. Поезжу в твоем темпе, пока ты не привыкнешь, ладно?

Ладно. И как любой импотент, которого тронула бы доброта прекрасной, славной девушки, — пусть он и знал, что она и половины всего этого не понимает, и боялся, что ничего уже, наверное, не поправишь, — он согласился, что они продолжат свои ежедневные «велотренировки».

В Биллингсе преподаватели по нескольку раз в месяц устраивали вечеринки, и Дэвенпорты ходили почти на все, пока Майкл не начал жаловаться, что они ничем друг от друга не отличаются.

На стенах у большинства преподавателей красовались гигантские черно-белые фотографии старых кинозвезд — У. К. Филдса[76], Ширли

[76] Примечания: 76

Уильям Клод Филдс (1880–1946) — американский комик, жонглер и писатель. Персонаж, которого он представлял в течение всей своей актерской карьеры — мизантроп-алкоголик, с особенным презрением относящийся к женщинам, детям и собакам. Множество фраз Филдса приобрели статус крылатых выражений, например: «Завтра я протрезвею, а вы так и останетесь идиотами».

Темпл[77], Кларка Гейбла, — потому что такие украшения считались теперь признаками кэмпа[78], кое у кого целая стена отводилась под американский флаг, повешенный вверх ногами в знак резкого и однозначного неприятия войны во Вьетнаме. В одном из таких домов Майкл наткнулся в поисках туалета на сатирический вербовочный плакат:

> Записывайся в армию,
> Поезжай на край света
> убивать людей.

— Ну что за бред, а? — спросил он Сару по дороге домой. — С каких это пор ответственность за войну стали перекладывать у нас на солдат?

— Да уж, плакат не сильно удачный, — сказала она, — но вряд ли здесь имелось в виду то, что ты говоришь. Смысл, скорее, в том, что все связанное

---

[77] Примечания: 77

Ширли Темпл (р. 1928) — американская актриса, получившая известность своими детскими ролями в фильмах 1930-х гг. В 1960-е гг. неудачно баллотировалась в сенат США, после чего была назначена послом США в Гану, а в 1989 г. — в Чехословакию.

[78] Примечания: 78

Понятие «кэмп» как художественного стиля и стиля жизнеустройства приобрело особенную популярность в США после публикации эссе Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» (1964). Под кэмпом понимается осознанное использование китча для создания художественного эффекта.

с войной плохо.

— Но тогда почему бы так и не сказать? Бог мой, ведь ребята, которые сейчас служат в армии, либо попали туда по призыву, либо потому, что другой работы было не найти. Солдаты — жертвы войны, это же ясно. — Потом, промолчав несколько миль, он добавил: — Наверное, все эти вечеринки были бы даже не такие противные, если бы не бесконечные разговоры о политике. Такое впечатление, что, если отнять у этих людей антивоенное движение, у них в жизни совсем ничего не останется. А может, я просто хочу сказать, что не возражал бы против этих вечеринок, если бы там можно было хотя бы как следует выпить. Вино, господи ты боже мой! Вино и вино. К тому же теплое, как моча.

И они без труда уклонялись от большинства этих сборищ, пока в один прекрасный день декан факультета английского языка не остановил Майкла в коридоре и не сообщил в полушутливом тоне, хлопнув его дружески по плечу, что неплохо бы Дэвенпортам как-нибудь устроить у себя вечеринку.

— Вот как! — сказала Сара вечером. — Не думала, что это все обязательно.

— Ну, может, не так уж и обязательно, — сказал

он, — но мы до сих пор держались немного особняком, а в таком маленьком городе это, наверное, не самое правильное.

Она, казалось, задумалась над его словами, а потом наконец сказала:

— Ладно. Только если уж делать, то давай делать правильно. Чтобы был настоящий виски, много льда, чтобы на столе был настоящий хлеб с мясом, а не крекеры с этими бессмысленными соусами.

Днем перед самой вечеринкой зазвонил телефон, и молодой голос проговорил нерешительно:

— Майк? Не знаю, помните ли вы меня, — я Терри Райан.

Голос был определенно знакомый, но фамилия не сказала бы ему ни о чем, если бы непосредственно за ней не последовало объяснение:

— Я раньше был официантом в «Синей мельнице» в Нью-Йорке.

— Черт, ну конечно я тебя помню, Терри, — сказал Майкл. — Вот это да! Как у тебя дела? Откуда ты звонишь?

— Ну, суть в том, что я оказался в Биллингсе на пару дней и…

— В Биллингсе, штат Канзас?

И Терри Райан коротко, застенчиво рассмеялся,

и лицо его мгновенно ожило в памяти Майкла.

— Ну конечно, — сказал Терри. — Почему нет? В конце концов, здесь моя альма-матер, точнее, была бы здесь, если бы я не провалил экзамены по иностранному языку. Это все было еще до того, как я уехал в Нью-Йорк.

— Так и что же теперь, Терри? Чем ты занимаешься?

— В этом-то и смех. Меня замели в армию, и там, судя по всему, меня умудрились чему-то обучить, и вот завтра к вечеру я должен явиться в Сан-Франциско.

— Бог мой! То есть они отправляют тебя во Вьетнам?

— Говорят, так и есть.

— В каких ты войсках?

— В пехоте. Ничего интересного.

— Черт, Терри, это очень плохо. Просто паршиво.

— Ну и я заехал сюда, в Биллингс, чтобы проститься с друзьями, и, когда мне сказали, что вы здесь преподаете, я решил позвонить. Подумал, что, может, выпьем с вами где-нибудь пива.

— Отлично, — сказал Майкл. — Только я вот что предлагаю. У меня дома сегодня вечеринка, будем рады, если ты тоже придешь. Приводи девушку.

— Девушку не обещаю, — ответил он, — а в остальном спасибо. Во сколько?

И, не закончив еще разговор, Майкл почувствовал себя избранным и добрым.

По сравнению с другими официантами в «Синей мельнице» Терри Райан казался моложе, меньше, сухощавее; кроме того, он был явно умнее всех. По его живому, нервному лицу всегда можно было понять, что у него готова сегодня шутка; и, произнеся ее — чаще всего это происходило, пока он расставлял на столе тарелки, — он моментально исчезал на кухне или за барной стойкой, чтобы его невозможно было заподозрить ни в малейшем посягательстве на твою уединенность. Иногда по вечерам, после того как у него заканчивалась смена, они с Майклом садились вместе у бара и пили до самого закрытия. Терри хотел стать комедийным актером — и, судя по его намекам, ему не раз говорили, что у него есть для этого все данные, — но больше всего он боялся закончить свои дни приживалой при каком-нибудь театре, как он выражался.

«Терри, ты слишком еще молод, чтобы думать, чем ты закончишь, разве нет?»

«Я понимаю, что вы имеете в виду, но все равно ведь каждому придется в один прекрасный день

так или иначе закончить, верно?»

Верно.

— Сара! — крикнул Майкл и ринулся на звук пылесоса. — Сегодня у нас будет особенный гость.

Декан с женой, Джон и Грейс Говард, приехали одними из первых. Обоим было за пятьдесят, и их часто называли прекрасной парой. Он был высокий, прямой, с коротко стриженными усами; она, несмотря на седину, сохранила ямочки на щеках и внешность симпатичной женщины много моложе своих лет; обычно она носила широкие юбки — достаточно короткие, чтобы подчеркнуть, какие красивые у нее ноги. На одной из недавних вечеринок Говарды двадцать минут вальсировали на опустевшем паркете, Грейс лежала, откинувшись, на руке Джона, заглядываясь на него с девичьим восторгом в глазах, и большинство наблюдавших пришли к выводу, что ничего милее они никогда не видели.

— Тебя следует поздравить, Майкл, — сказал Джон Говард. — В этом городе должен был появиться человек, осмелившийся предложить настоящую выпивку.

И это мнение тут же повторили другие гости — люди, ходившие на все эти вечеринки вне за-

висимости от того, нравились они друг другу или нет, потому что в Биллингсе, штат Канзас, заняться было, в общем-то, нечем. В основном это были преподаватели, хотя аспиранты с женами или подругами тоже попадались — одни улыбались с неуверенностью детей, попавших на взрослое мероприятие, а другие стояли прислонившись к стене и с плохо скрываемым презрением оглядывали окружающих.

Когда в комнате появился Терри Райан, он оказался еще меньше, чем Майкл его запомнил, — с таким ростом могли и в армию не взять. Форму он надевать не стал: на нем были джинсы и серый пуловер, слегка ему великоватый.

— Проходи, Терри, — сказал Майкл. — Сейчас мы нальем тебе выпить и найдем, где тебе сесть. Познакомиться можно будет потом. Для меня ты сегодня почетный гость. Хотя подожди, ты помнишь Сару?

— Нет, не думаю.

— Наверное, я стал водить ее в «Синюю мельницу» уже после того, как ты уволился. В любом случае мы теперь женаты, и она хочет с тобой познакомиться. Видишь, вон она стоит у окна? Темноволосая?

— Красивая, — сказал Терри. — Очень красивая.

У тебя хороший вкус, Майк.

— Ну так фиг ли жениться на обычной девушке, если можно найти красивую? — И по собственному тону Майкл понял, что выпил слишком много и слишком быстро; впрочем, он знал, что был еще достаточно трезв, чтобы исправить ситуацию, если воздержится от виски как минимум на час. — Подожди здесь, — сказал он Терри, который сидел на принесенном с кухни высоком деревянном стуле и потягивал бурбон с водой. — Сейчас я ее приведу. — Малышка, — обратился он к жене, — не хочешь пойти познакомиться с солдатом?

— С удовольствием.

И он оставил их вдвоем, поскольку был абсолютно уверен, что они поладят. Он пошел на кухню и выпил воды. Потом встал у раковины и начал мыть стаканы, чтобы убить как можно больше времени до того момента, когда ему снова можно будет подойти к столику с выпивкой. В кухню заглянули двое или трое студентов, и он побеседовал с ними — скромно, с юмором, как подобает хорошему хозяину, что вроде бы подтверждало, что он постепенно трезвеет, хотя, судя по часам, ждать оставалось еще как минимум полчаса. Он вернулся в гостиную, чтобы не

обделять своим присутствием оставшихся там гостей, и едва не столкнулся с Джоном Говардом — вид у того был усталый и нездоровый.

— Прошу прощения, — сказал Говард. — Вечеринка абсолютно классная, но я, боюсь, отвык от крепкого, а может, возраст уже не тот. Мы, наверное, поедем.

Но Грейс уезжать не собиралась.

— Поезжай тогда, Джон, — сказала она, не вставая с дивана, на котором ее окружили друзья. — Бери машину и поезжай, если хочешь. Я всегда найду на ком подъехать.

И Майкл подумал, что это чистая правда: всю свою жизнь Грейс Говард знала наверняка, что всегда найдет на ком подъехать.

Когда час, который он себе назначил, слава богу, истек, он с ощущением внутренней правоты налил себе изрядную порцию. И это странное, бодрящее чувство внутренней правоты не покинуло его и когда он пошел общаться с гостями; казалось, благодаря этому чувству он в порыве общительности привлек к себе самых угрюмых студентов, простоявших весь вечер у стены, заставив их улыбнуться и даже, ко всеобщему удовольствию, рассмеяться. Вечеринка и вправду получилась и становилась чем дальше, тем луч-

ше. Оглядев комнату, он увидел людей, которых считал обыкновенно идиотами, занудами или даже хуже, но сейчас по отношению к ним и к их красиво одетым женщинам он чувствовал товарищеское расположение. Вот он, старый гребаный факультет английского, и вот он сам, его старый гребаный преподаватель, — и, если бы они вдруг затянули «Старую дружбу»[79], он прослезился бы и стал подпевать.

Скоро он потерял счет своим подходам к столику, чтобы наполнить стакан, но это уже не имело значения, потому что вечеринка давно преодолела всю напряженность первого момента. И приятнее всего было смотреть, как грациозно движется по комнате Сара, переходя от одной группы гостей к другой, — безупречная молодая хозяйка. Никто бы не догадался, с какой неохотой она устраивала этот вечер.

Потом он обернулся и увидел, что Терри Райан так и сидит на своем высоком деревянном стуле, ни с кем не разговаривая. Наверное, Сара провела

---

[79] Примечания: 79

«Auld Lang Syne» (англ.) — шотландское стихотворение Р. Бёрнса, положенное на шотландскую народную мелодию. Поется обычно сразу после наступления нового года и часто при других торжественных обстоятельствах. На русском известно в переводе С. Маршака: «Забыть ли старую любовь // И не грустить о ней? // Забыть ли старую любовь // И дружбу прежних дней?»

его по комнате, чтобы познакомить с другими гостями, и он вернулся на место, исчерпав весь набор вежливостей, но могло оказаться, что он так и сидел в этом углу, глядя, как испаряется у него на глазах его последний свободный вечер в Соединенных Штатах.

— Принести тебе что-нибудь, Терри?

— Спасибо, Майк, ничего не нужно.

— Ты с кем-нибудь познакомился?

— Конечно. Познакомился с целой кучей людей.

— Что ж, — сказал Майкл, — думаю, тут еще есть над чем поработать.

Он обошел Терри и встал рядом, твердо взяв его за плечо, худоба которого чувствовалась даже через пуловер.

— Этот молодой человек… — объявил он достаточно громко, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что он обращается сразу ко всем гостям, — и разговоры в комнате почти прекратились, — этот молодой человек может показаться вам студентом, и когда-то он им и был, но теперь он больше не студент. Он военный пехотинец, которого отправляют во Вьетнам, и там, насколько я понимаю, проблем у него будет куда больше, чем у нас с вами, вместе взятых. Поэтому давайте

хоть на минутку забудем про колледж и поддержим Терри Райана.

В комнате раздались аплодисменты, хотя далеко не такие бурные, как он ожидал, но не успели они утихнуть, как Терри сказал:

— Лучше бы ты этого не делал, Майк.

— Почему?

— Не знаю. Просто не надо было.

Потом Майкл заметил, что с другого конца комнаты с разочарованием или неодобрением на него смотрит Сара. Как будто он только что отправил кого-то в нокаут в доме у Нельсонов или ему только что сказали, что на писательской конференции он обозвал Флетчера Кларка хуесосом.

— Господи, Терри, я вовсе не хотел тебя смущать, — сказал он. — Я просто думал, что им следует знать, кто ты такой, вот и все.

— Да я знаю; все нормально. Забудь.

Но забыть об этом было невозможно.

Грейс Говард уже поднялась с дивана и, приблизившись к ним сквозь пелену сигаретного дыма, набросилась на Терри Райана, тыча ему в грудь скрюченным указательным пальцем.

— Позвольте задать вам один вопрос, — начала она. — Почему вам так хочется убивать людей?

И он застенчиво улыбнулся.

— Да ладно вам, — сказал он. — Я сроду никого не убивал.

— Но теперь у вас будет шанс, не так ли? Вам ведь дадут пулемет и ручные гранаты?

— Прекрати, Грейс, — сказал Майкл. — Ты не к тому полезла — парня загребли в армию по призыву.

— И рацию вам, наверное, тоже дадут, — продолжала она. — Чтобы вы могли направлять артиллерийский огонь, бомбы и напалм на женщин и детей. Так вот послушайте…

— Прекратите немедленно! — закричала Сара и бросилась к Терри, как будто хотела загородить его собой.

— Послушайте, — продолжала Грейс Говард, — вы никого здесь не обманете. Я знаю, почему вам хочется убивать людей. Вам хочется их убивать, потому что вы такой маленький.

К этому моменту приятелям удалось скрутить Грейс: ее развернули на сто восемьдесят градусов, провели через комнату и, хлопнув дверью, вывели наружу.

— Терри, мне дико стыдно, — сказал Майкл. — Я знал, что она пьяная, но не думал, что сумасшедшая.

— Слушай, пошла она на хрен, ладно? — сказал

он. — Хуй с ней. Хватит об этом говорить, потому что дальше только хуже будет.

— Точно, — тихо проговорила Сара.

Когда все наконец разошлись, Сара постлала Терри в свободной комнате. Но спать оставалось недолго: утром они встали рано, чтобы отвезти Терри к его друзьям. Там он переоделся в форму — Сара сказала, что она «очень ему идет», — взял свой вещмешок, и они повезли его в аэропорт в двадцати милях от города. В машине завязался спокойный, приятный разговор — все трое пришли в добродушное смешливое состояние, какое бывает порой после почти бессонной ночи, — но Грейс Говард никто упомянуть не решался.

Когда пришло время прощаться у выхода на посадку, Майкл пожал Терри руку с несколько преувеличенной сердечностью старого солдата: «Ну что, Терри. Сильно там не пугайся, держи хвост пистолетом».

Потом они обнялись с Сарой. Она была выше Терри, но их объятий это совсем не испортило. Хоть и ненадолго, но она прижала его к груди так, как подобает прижимать к груди мужчину, уходящего на войну, которая никому на свете не понятна.

На обратном пути они почти всю дорогу молча-

ли, но в конце концов Майкл сказал:

— Ну хорошо, хрен с ним, я во всем этом кошмаре виноват, я понял. Эта моя дурацкая речь была ни к чему. — И добавил: — Но дело вот в чем, девочка: когда я уходил в армию, было принято, чтобы накануне отъезда тебя провожали. Было здорово, если гражданские устраивали вокруг тебя суету, а они устраивали, если все шло как надо.

— Знаю, — сказала Сара. — Но это раньше так было. Когда я еще не родилась. И Терри тогда тоже еще не родился.

И когда Майкл снова оторвался от дороги, он увидел, что она тихо плачет.

Очутившись дома, она сразу же ушла спать, и он получил возможность сесть на кухне, выпить пару бутылок холодного пива и попытаться собраться с мыслями.

Потом зазвонил телефон:

— Майкл? Это Джон Говард. Слушай, что это за парень был у тебя вчера на вечеринке?

— Просто один мой приятель из Нью-Йорка, был тут проездом. А что?

— Я так понял, что, после того как я уехал, он нагрубил Грейс и чем-то ее оскорбил.

— Вот как!

И Майкл вдруг понял, что разгребать всю эту грязь смысла уже не имеет. Терри Райан был где-то в небе за тысячу миль отсюда, навеки избавленный от Биллингса, штат Канзас, и, сколько ни говори теперь правды в лицо, она его уже не защитит.

— Что ж, в таком случае прошу прощения за неприятности, Джон, — сказал он в надежде, что сарказм этой реплики будет услышан, и положил трубку раньше, чем Джон успел что-то сказать.

Если бы Говард перезвонил и стал настаивать на своих дутых обидах, Майклу ничего не оставалось бы, как рассказать, что на самом деле учинила вчера Грейс. Но телефон больше не зазвонил.

Он пожалел, что Сара спит и не может заверить его, что он поступил правильно. Но может, это и к лучшему; хотя бы не надо к этому возвращаться — и больше никогда не придется.

Как-то вечером, в июне, в самом конце учебного года, Майклу позвонила Люси Дэвенпорт — сообщить, что их дочь исчезла.

— Что значит «исчезла»?

— Предположительно она направляется в Калифорнию, — сказала Люси, — но, по-моему, никакого четкого представления о том, куда она

хочет попасть, у нее нет. Ей, видишь ли, захотелось побродяжничать. Ей хочется болтаться по дорогам в компании таких же грязных и вонючих бродяжек, как она, — по любым дорогам, где придется. Она ни за что не хочет отвечать, потакает любой своей прихоти и стремится, наверное, окончательно уничтожить себе мозг, перепробовав все галлюциногены, какие только под руку попадутся.

Первый курс в Уоррингтоне Лауру ничему, кроме дурных привычек, не научил, сообщила мать.

— Я так поняла, что в этом чертовом колледже наркотики на каждом углу.

Вчера она приехала оттуда домой, похоже «чокнутая», и привезла с собой троих друзей, видимо на выходные: одну девочку из Уоррингтона, которая тоже вела себя как чокнутая, и двоих парней, описать которых Люси затруднилась.

— Я хочу сказать, что это шпана какая-то, Майкл. Пролетариат, дети каких-то текстильщиков. Они ни на что не способны — только ворчат и мямлят что-то себе под нос на манер Марлона Брандо; правда, если мне память не изменяет, Марлон Брандо волосы себе до пупа никогда не отращивал. Примерно понятно, о чем я говорю?

— Ага, — сказал Майкл. — В общих чертах яс-

но.

— И потом, суток не прошло, как Лаура объявила, что они едут в Калифорнию. Переубеждать ее было бесполезно, с ней вообще невозможно разговаривать, а наутро обнаружила, что ее нет. Они все уехали.

— Бог мой! — сказал Майкл. — Не знаю, что и сказать.

— Вот и я не знаю. Я вообще ничего не понимаю. Я просто позвонила, потому что подумала, что, в общем, тебе следует об этом знать.

— Верно. Хорошо, что позвонила, Люси.

Сара сказала, что волноваться, скорее всего, не о чем.

— Лауре уже девятнадцать, — сказала она. — Практически взрослый человек. Она уже может позволить себе такую авантюру без всякого для себя риска. Наркотики, конечно, несколько тревожат, но мне кажется, тут ее мать преувеличивает, как ты думаешь? Хотя сейчас все поголовно подростки чем-нибудь балуются, и все эти наркотики по большей части не страшнее алкоголя или никотина. Главное, Майкл, не забывай, что, если с ней что-то случится, она тебе позвонит. Она же знает, где тебя найти.

— Она-то знает, верно, — сказал Майкл. — Но

видишь, в чем проблема: впервые с тех пор, как она родилась, я не знаю, где искать ее.

Глава пятая

Быть на двадцать лет старше своей жены удобно как минимум потому, что можно позволить себе оставаться спокойным и любящим мужем, когда жена начинает выказывать интересы, ничего общего с твоими не имеющие.

Много лет назад Майкл встревожился и даже испугался, когда Люси притащила домой книгу Дерека Фара «Как любить», но, когда в Канзасе у него на кофейном столике стал, том за томом, скапливаться устрашающий ассортимент продукции новейших авторов — Кейт Миллет[80], Жермен Грир[81], Элдриджа Кливера[82] — он едва ли испытал даже мимолетное раздражение.

---

[80] Примечания: 80

Кейт Миллет (р. 1934) — американская активистка и феминистка, прославившаяся книгой «Сексуальная политика» (1970). Книга представляет собой литературоведческое исследование, анализирующее с феминистских позиций романы Д. Г. Лоуренса, Генри Миллера и Нормана Мейлера.

[81] Примечания: 81

Жермен Грир (р. 1939) — австралийская писательница-феминистка, прославившаяся книгой «Женщина-евнух» (1970). Это важное для феминистской традиции исследование женской сексуальности исходит из тезиса о том, что мужчины ненавидят женщин, а женщины этого не осознают, наученные ненавидеть самих себя.

[82] Примечания: 82

Элдридж Кливер (1935–1998) — американский политик, литературная карьера которого началась в тюрьме (к тюремному сроку он был приговорен за серию изнасилований). В 1968 г. вышел его сборник эссе «Душа во льду», в котором он прослеживает свою эволюцию от «супермаскулинного лакея» до радикального борца за права черных.

Он не встревожился, даже когда Сара вступила в крайне серьезную организацию под названием «Международная лига женщин за мир и свободу»[83], хотя должен был признать, что, глядя, как она уезжает на машине на эти собрания, он пару раз вспомнил Люси, исчезавшую в таинственные сферы своих сеансов с доктором Файном.

Ну да и черт с ним; женщин все равно не понять. Важнее то, что эта конкретная женщина все равно предпочитала проводить большую часть времени дома — и в часы, свободные от поглощения пропагандистской литературы, бывала интересным и живым собеседником.

К этому времени она успела рассказать ему множество взаимосвязанных эпизодов из своей короткой, но полноценной жизни — колледж; старшая школа и младшая школа; дом, семья, родители, — и у него даже возникло ощущение, что он знает ее почти так же хорошо, как только можно знать самого себя. В этих рассказах-воспоминаниях его всегда покоряли честность, юмор и точный подбор деталей; она могла перескаки-

[83] Примечания: 83

Women's International League for Peace and Freedom — старейшая в мире женская миротворческая организация, основанная в 1915 г. Штаб организации располагается в Швейцарии, имеется представительство при ООН.

вать с одной темы на другую и уходить далеко в сторону, но она ничего не передергивала, чтобы выставить себя в более выгодном свете или в более жалком, если уж на то пошло, и рассказы эти в принципе не могли наскучить.

Что за девушка! Бывали вечера, когда Майкл, глядя, как она говорит о чем-то, сидя под лампой на их подержанном диване, не мог нарадоваться удаче, благодаря которой он ее нашел, и нынешней абсолютной надежности полного ею обладания. Он знал, что она не стала бы рассказывать ему так много интимных, разоблачительных подробностей, если бы не любила его всем сердцем и если бы она не рассчитывала, что он будет хранить эти страшные мелкие тайны до конца своих дней.

Как-то ночью, в постели, она с особенной нежностью сказала, что хочет ребенка.

— Сразу? — спросил он и тут же понял, что выдал этим вопросом собственный страх.

Он даже вздрогнул в темноте. Слишком стар он был для этого; бог мой, слишком стар.

— Я имею в виду в ближайшие пару лет, — сказала она. — Например, через год. Что скажешь?

И чем больше он об этом думал, тем более логичным казалось ему это предложение. Понятно,

что любая здоровая девушка хочет ребенка. В конце концов, зачем бы она стала выходить замуж, если бы не надеялась завести детей? Имелось и еще одно соображение: ему тоже было бы неплохо вырастить еще одного ребенка, чтобы иметь возможность загладить ошибки, которые он наделал, пока росла Лаура.

— Что ж, давай, — сказал он через некоторое время. — Только до чего же старым отцом я буду. Знаешь, я только сейчас сообразил: когда этому ребенку исполнится двадцать один, мне будет семьдесят.

— Да? — сказала она, как будто ей никогда это в голову не приходило. — Ну тогда мне, наверное, придется быть молодой сразу за двоих, верно?

Оператор спросил, готов ли он оплатить звонок от Лауры из Сан-Франциско, он сказал: «Да, конечно», но, когда в трубке послышался ее голос: «Папа?» — он оказался настолько тихим, что Майкл решил, что со связью наверняка что-то не то.

— Алло! Лаура! — закричал он в трубку, как будто это могло чем-то помочь.

— Папа?

И на этот раз он ясно ее расслышал.

— Ты в порядке, девочка?

— Не знаю. Я как бы… я как бы все еще здесь,

в Сан-Франциско и так далее, я просто не очень хорошо себя чувствую. Все как-то сжимается. То есть пока я была во внешних пределах, все было нормально, но как только мы… как только я вернулась, я как-то… сама не знаю.

— Это клуб, что ли, там такой? «Внешние пределы»?

— Нет, это типа состояние сознания.

— Вот как.

— Понимаешь, у меня осталось всего доллар тридцать центов, так что я сама мало что могу устроить, хотя смотря что под этим понимать, конечно. И смотря как ты понимаешь, что я под этим понимаю.

— Подожди, послушай. Наверное, лучше мне побыстрее к тебе приехать, не возражаешь?

— Ну, я как бы, наверное, на это и надеялась, да.

— Ладно. Если прямо сейчас выехать, я буду у тебя часа через три с половиной или, может, через четыре. Только мне нужен твой адрес.

И он замахал Саре рукой, чтобы она быстрее дала ему карандаш.

— Дом двести девяносто седьмой, — стала диктовать Лаура, — нет, подожди; двести девяносто третий, а улица Южное что-то…

— Нет, так не пойдет, — сказал он. — Так не пойдет, девочка. Южное — что? Постарайся вспомнить.

И когда она наконец продиктовала название улицы и номер дома — оставалось только надеяться, что правильный, — он продолжил:

— Так. Теперь давай телефон.

— А там нет телефона, пап. Ни одного телефона во всем здании. Я звоню из автомата, откуда-то с улицы.

— О господи! Тогда слушай: немедленно иди назад и жди меня там. Никуда не уходи, даже если меня долго не будет. Обещай. Сегодня из дома больше ни шагу. Ни под каким предлогом, договорились?

— Договорились.

Сара привезла его в аэропорт, несколько раз чуть не попав в аварию при обгонах. Когда он кинулся к кассе, на рейс до Сан-Франциско уже объявили посадку, но, задыхаясь, он успел добежать до выхода, быть может до того самого, у которого они простились с Терри Райаном. А уж долететь до Сан-Франциско труда не составило, как наверняка не составило труда и для Терри Райана.

— Вы точно знаете, что это правильный ад-

рес? — переспрашивал его таксист даже после того, как остановился посовещаться с двумя другими водителями, которые тоже долго хмурились, пытаясь понять, где это может быть. Потом, убедившись, что везет пассажира в правильном направлении, он сказал: — Ну, не знаю; вам нужны эти старые заброшенные кварталы, это все равно что на тот свет ехать. Меня туда никаким хреном не заманишь. Там даже черные жить не станут — вы только не подумайте, я против черных ничего не имею.

В Америке теперь все стали говорить «черные» вместо «негры»; еще немного, и все, наверное, начнут называть девушек «женщинами».

На дверных звонках дома никаких имен не значилось, и, позвонив в три или четыре квартиры, Майкл понял, что вся эта система, скорее всего, не работает: некоторые кнопки выпали из гнезд и болтались на собственных обесточенных проводах. Потом он обнаружил, что оба замка на большой входной двери разбиты: чтобы попасть внутрь, нужно было просто повернуть ручку и навалиться плечом на дверь.

— Есть тут кто-нибудь? — спросил он, войдя в фойе первого этажа, и три или четыре головы высунулись из приоткрытых дверей — все молодые,

в основном парни, и все с настолько безумными прическами, что несколько лет назад никто просто не поверил бы, что такие бывают. — Так, парни, — сказал Майкл без особенной боязни уподобиться персонажу Джеймса Кэгни[84]. — Я отец Лауры Дэвенпорт. Где она?

Часть голов исчезла в дверных проемах, оставшиеся же уставились на него с тупым выражением — от страха? или просто от наркотиков? — но потом откуда-то из далекой тьмы коридора донесся звучный мужской голос:

— Верхний этаж, направо и до упора.

Неизвестно, сколько в этом доме было этажей — четыре, пять или шесть; Майкл их не считал. Преодолев один пролет этой замусоренной, воняющей отбросами и мочой лестницы, он останавливался отдышаться, дожидался, когда к нему вернутся силы, после чего начинал штурмовать следующий пролет. Он понял, что добрался до последнего этажа, когда вдруг обнаружил, что дальше лестницы просто нет.

В самом конце правого коридора была грязная белая дверь. Он остановился перевести дыхание

---

[84] Примечания: 84

Джеймс Кэгни (1899–1986) — американский актер, наиболее успешно воплотивший в классическом Голливуде типаж «плохого парня» («Враг общества», «Ревущие двадцатые», «Ангелы с грязными лицами»).

— а может, даже помолиться — и затем постучал.

— Папа? — откликнулась Лаура. — Проходи, открыто.

Она лежала там на односпальной кровати, комната была такая маленькая, что даже стул поставить было негде; и первое, что его поразило, была ее красота. Она слишком исхудала — слишком уж тонкими были ее длинные ноги под лоснящимися от грязи джинсами, по-птичьи хрупкой казалась ее прикрытая засаленной робой грудь, — но изможденное бледное лицо с огромными голубыми глазами и нежным, тонким ртом придавало ей вид печальной светской барышни, какой, вероятно, всю жизнь хотела ее видеть мать.

— Ух! — сказал он, присаживаясь на край кровати в районе ее коленок. — Ух как я рад тебя видеть, девочка.

— Я тоже рада, — сказала она. — Пап, можно взять у тебя сигарету?

— Бери, конечно, вот. Но слушай, у меня такое впечатление, что ты в последнее время не слишком много ешь, а?

— Ну, я, наверное, уже недели две или больше совсем как-то…

— Значит, так. Первым делом надо будет тебя где-нибудь хорошенько накормить, потом мы переночуем в каком-нибудь отеле, а завтра я заберу тебя в Канзас. Как тебе такой план?

— Ну, я, наверное, не против, только я не знаю твою жену и вообще.

— Прекрасно ты ее знаешь.

— Ну, я просто имею в виду, что не знаю ее в качестве твоей жены.

— Глупости, Лаура. Вы с ней прекрасно поладите. Теперь. Ты хочешь что-нибудь отсюда взять? Сумка есть, куда все это складывать?

Расчищая узкую полоску пола, он обнаружил два галстука-бабочки на резинке, какие носят обычно официанты, — такой же был у Терри Райана, когда тот работал в «Синей мельнице», — и, когда он отставил от стены ее измызганный нейлоновый рюкзак, из-за него выпал третий. То есть сюда поднимались трое молодых официантов, спали с ней, а потом случайно оставили после себя такие вот сувениры? Нет; скорее всего, это был один официант, который приходил трижды — или пять раз, или десять, или даже больше.

(— Эдди, привет, где пропадаешь?

— Ходил к этой тощей, высокой, я про нее еще рассказывал: верхний этаж, направо и до упора.

Горячая девица, скажу я тебе.

— Ну это ладно, только, бля, Эдди, я бы на твоем месте держался от этого дома подальше; они там все ненормальные.

— Да ну? Ненормальные типа меня или ненормальные типа тебя? И запомни: кого хочу, того и трахаю, ясно?)

— Готова, девочка? — спросил Майкл.

— Наверное.

Но поймать такси на этой улице им не удалось; пришлось пройти пешком несколько кварталов, прежде чем они смогли остановить машину.

— Где в это время можно еще пообедать? — спросил Майкл у водителя.

— Ну, в это время, — ответил тот, — могу только подбросить вас в китайский квартал.

Потом Майкл часто поражался абсурдности этого момента: лучшим, что он мог предложить своему умирающему от голода ребенку, оказалась китайская еда. Омлет фу-юнг, жареный рис со свининой и креветки в омаровом соусе — вещи, которые американцы в большинстве своем едят лишь изредка, для разнообразия, когда и есть-то не сильно хочется, — и именно этой едой Лаура пыталась насытиться, размеренно и ритмично отправляя в рот вилку за вилкой; она не произ-

несла ни слова и даже не подняла головы, пока со стола не убрали последнюю пустую тарелку.

— Я возьму у тебя еще одну сигарету, пап?

— Конечно. Ну что, лучше тебе?

— Наверное.

Еще один таксист посоветовал им отель, и там, пока они стояли в очереди у стойки регистрации, Майкл начал бояться, что администратор легко может понять все неправильно: нервный, профессорского вида тип и сладкая юная хиппи, явно не в себе.

— Мы с дочерью хотели бы у вас остановиться, — осторожно начал он, глядя прямо в глаза администратору, и тут же понял, что ровно так трясущиеся старые развратники обычно и изъясняются. — Только на одну ночь, — добавил он, еще больше усугубляя ситуацию. — Думаю, нам идеально подошли бы две смежные комнаты.

— Нет, — категорично заявил администратор, и Майкл замер, приготовившись к тому, что ему предложат — или прикажут — немедленно покинуть помещение. Но когда его легкие опять заработали, оказалось, что бояться было нечего. — Нет, на сегодня смежных комнат у меня нет, — сказал администратор. — Лучшее, что я на сегодня могу предложить, — это двухместный

номер с двумя кроватями. Устроит вас это, сэр?

И когда они пошли к лифту через покрытый ковром вестибюль, наверное, не в последнюю очередь этот «сэр» сообщил его походке особую легкость. Жизнь была прожита уже больше чем на две трети, а Майклу все еще не казалось естественным, когда другой мужчина называл его сэром.

Лаура уснула так крепко, что за всю ночь ни разу не пошевелилась и не повернулась, зато ее отец лежал на другой кровати без сна. Ближе к утру Майкл, как он иногда делал, когда не мог заснуть, стал шепотом читать наизусть длинное заключительное стихотворение из своей первой книги, «Если начистоту», которое нравилось когда-то Диане Мэйтленд и Саре Гарви. Он шептал так тихо, что в нескольких сантиметрах от подушки ничего уже не было слышно, но читал ясно и четко, выжимая все, что можно, из каждого слога и каждой паузы, повышая и понижая голос в нужных местах, читал без единой ошибки, потому что всегда помнил это стихотворение наизусть.

Черт! Боже мой, боже, ничего лучше он так и не написал. И не все еще потеряно, хотя книга давно уже не переиздается и даже из библиотек

постепенно исчезает. Но все равно еще не все потеряно; все равно его еще могут найти и включить в какую-нибудь роскошную антологию, которую сделают потом обязательным чтением во всех университетах.

И он начал читать его снова — неторопливо, с самого начала.

— Пап? — окликнула его Лаура с другой кровати. — Ты не спишь?

— Не-а.

Он испугался, что она скажет, что слышала, как он шепчет, забеспокоился и моментально приготовил объяснение: наверное, кошмар какой-то приснился.

— Я просто немножко голодная, — сказала она. — Может, можно уже спуститься и позавтракать?

— Конечно. Иди первая в ванную, прими душ, если хочешь, а я пока оденусь.

Он с облегчением подумал, что она вроде бы не слышала, как он шепчет, но потом, когда он застегивал молнию на ширинке, ему пришло в голову, что, может, она и слышала, но подумала, что все это как-то странно и даже дико, но спрашивать ничего не стала. У хиппи, говорят, в чужие трипы вмешиваться не принято. Каждый занят своим.

Днем, когда их самолет парил над землей на какой-то невозможной высоте, Лаура оторвалась от своего окна и сказала:

— Пап, тут такое дело, я подумала, что, наверное, лучше тебе сказать. Я, наверное, беременна.

— Да? — И Майкл улыбнулся, чтобы показать, что новость его ничуть не ошеломила.

— Ну то есть, может, у меня пару раз не было месячных просто потому, что я… ну, не знаю… не очень хорошо себя чувствовала и все такое. И я не знаю, кто это, — в смысле, не знаю, от кого это. Я не очень четко помню, что было этим летом.

— Вот как! — сказал он. — Думаю, что теперь, милая, тебе уже не стоит об этом беспокоиться. Мы сходим с тобой в университетскую больницу, они там сделают тест, а потом, если это подтвердится, мы сразу же эту проблему решим. Ладно?

И он едва не растаял от собственной доброты. Он сказал, что в больнице у него есть знакомый врач, который может дать неофициальное направление в одну клинику в Миссури, где прерывание можно легко и быстро устроить; все будет хорошо, пообещал он.

Но как только необходимость в утешениях отпала и Лаура снова отвернулась к окошку, Майкл несся по небу с отчаянием на лице. Его дочь мо-

жет оказаться беременной в девятнадцать лет и так никогда и не узнает, кто отец ее ребенка.

В аэропорту Сара обняла Лауру и чмокнула ее в щечку, давая понять, что профориентацией она больше не занимается, они сели втроем в машину и поехали домой с обманчивым ощущением товарищества.

Лаура отметила, что пейзажи тут «дурацкие, если привык к городу». Потом она сказала:

— Мы, когда туда ехали, вообще не проезжали через Канзас, мы поехали через Небраску.

И теперь, когда она произнесла это «мы», Майкл едва сдержался, чтобы не задать вопрос, который не давал ему покоя с тех пор, как прошлой ночью он обнаружил ее одну в этом жутком доме: какая такая напасть приключилась с ее друзьями? После всех этих блеяний про «любовь» естественно предположить, что хиппи держатся вместе и заботятся друг о друге. Как же они могли оставить девушку одну в этом чужом и опасном месте?

Он ничего не сказал, но понял, что ему сегодня же нужно поговорить с Сарой, как только они останутся одни.

Лаура, как младенец, стала засыпать, как только ее покормили. Сара отвела ее в свободную комнату, а Майкл налил себе виски и поставил

стакан на каминную полку, потому что подумал, что, когда пытаешься во всем разобраться, лучше всего стоять именно там.

Вернувшись в гостиную, Сара села на диван напротив него и выслушала без видимого удивления все, что Лаура рассказала ему в самолете.

— Завтра свозим ее в больницу и сделаем тест на беременность, — сказала она. — Может, ничего и нет; а пока мы этого не знаем, какой смысл волноваться.

— Да понятно, — быстро проговорил он. — Именно это я ей и сказал. Я ей даже сказал, что аборт я ей тоже устрою. Но все равно мне тяжко об этом думать — особенно о том, что она не знает, кто отец. Это же черт знает что, разве нет?

Сара закурила. Она курила не больше четырех-пяти сигарет в неделю, в промежутках между разговорами, и он давно уже стал воспринимать ее курение как знак того, что она пытается его понять.

— Ну как тебе сказать, — начала она. — Насколько я понимаю, это вполне согласуется с хипповским образом жизни, разве нет? И еще я думаю, что девчонки успешно пользуются этой тактикой, чтобы шокировать своих отцов.

Он ушел, чтобы налить себе еще виски, но на

обратном пути расплакался, еще не дойдя до камина. Он быстро отвернулся, чтобы скрыть от нее слезы — молодая жена в принципе не должна видеть своего стареющего мужа в слезах, — но было уже поздно.

— Майкл, ты плачешь?

— Просто я вчера всю ночь не спал, — сказал он, закрывая лицо ладонями. — Но главное, я горд собой впервые… впервые за много лет. Бог мой, девочка, она была там совсем одна, ее бросили, она там пропадала, и, может, я за всю свою жизнь ничего хорошего не сделал, но я же, бля, поехал туда, нашел ее, забрал и привез домой, и теперь я горд собой как старый хрен — вот и все.

Но даже тогда он подозревал, что это не совсем все, а остального было не рассказать.

Он взял себя в руки, принялся извиняться, наигранно рассмеялся, чтобы доказать, что он и не плакал вовсе, и без всяких возражений отправился вслед за Сарой в спальню, но и тогда он знал, что до слез его довели заключительные строки «Если начистоту» — они гремели сегодня всю дорогу в герметичной кабине самолета и до сих пор со звоном прокручивались у него в голове, — и еще он вспомнил, что написал это стихотворение, когда Лауре было пять лет.

Тест на беременность оказался отрицательным — Лаура могла больше не интересоваться этим вопросом, пока не выйдет замуж за молодого человека, которого результаты этих тестов будут волновать ничуть не меньше, чем ее саму, — так что худшие беспокойства были позади.

Но следующий шаг, которого Майкл наверняка попытался бы избежать, если бы на нем не настаивала Сара, состоял в том, чтобы показать Лауру психиатру из университетской клиники.

Целый час он нервничал в одиночестве в зале ожидания, заставленном оранжевыми пластмассовыми стульями; потом доктор выпустил из кабинета Лауру и попросил ее подождать, пока он побеседует с ее отцом. И Майкл был благодарен судьбе хотя бы за то, что им не достался какой-нибудь молодой нахал; этот был учтивый, преисполненный собственного достоинства человек лет пятидесяти или больше; в своем старомодном костюме и до блеска начищенных коричневых ботинках он казался устроенным, очень семейным человеком; фамилия его была Макхейл.

— Что ж, мистер Дэвенпорт, — сказал он, когда они сели к столу за плотно закрытой дверью, — я полагаю, мы имеем дело с психозом в чистом

виде.

— Постойте-постойте, — сказал Майкл. — Где вы взяли этот «психоз»? Она перебрала с наркотиками, вот и все. Вам не кажется, что «психоз» — не то слово, которым стоит вот так вот разбрасываться?

— Мне кажется, это наиболее точное слово из тех, что имеются в нашем распоряжении. Видите ли, некоторые из этих наркотиков вызывают психотические состояния. Появляется серьезная дезориентация, взлеты и падения, галлюцинации, в результате чего складывается классическая картина острого психоза.

— Ну хорошо, ладно. Но разве вы не видите, доктор, что наркотики она больше не принимает. Она теперь ведет размеренную жизнь, живет вместе со мной и своей мачехой. Разве нельзя просто оставить ее в покое и дать ей шанс поправиться самостоятельно?

— В каких-то случаях я бы именно так и поступил, да, но ваша дочь находится в крайне тревожном и спутанном состоянии. Я не предлагаю укладывать ее в больницу, как минимум пока, но мне нужно будет дважды в неделю ее здесь видеть. Лучше бы, конечно, три раза, но начнем пока с двух.

— Господи, — сказал Майкл, — она, наверное, вела себя здесь с вами как-то более чокнуто, чем дома. — Но он уже знал, что в этом споре победа ему не светит: у него никогда не получалось переспорить этих скользких ублюдков и никогда, наверное, не получится. — То есть дома она, конечно, тоже ведет себя пока что не вполне нормально, — сказал он, — но главным образом это выражается в том, что она все время какая-то ленивая и медлительная.

— И не очень разговорчивая?

— Да, совсем неразговорчивая.

— Ну тогда… — сказал доктор с хитрым видом, в котором читалось какое-то неприятное подмигивание, — тогда вам просто не доводилось слышать о внешних пределах и прочих подобных вещах.

Как-то утром пришло напечатанное на хорошей машинке письмо из Уоррингтона — судя по почерку на конверте, его переправила им Люси; смысл был в том, что Лаура может вернуться на второй курс «с испытательным сроком».

— Прям охуеть как круто, — сказал Майкл. — Слушай, девочка, никогда в жизни не соглашайся ни на какой «испытательный срок». Шел бы этот Уоррингтон нахуй. А эти свои трико и прочую

дрянь пусть засунут себе в жопу.

И только в этот момент он вспомнил, что колледж Уоррингтон, вообще-то, порекомендовала молодой школьный консультант, спокойная и вдумчивая Сара, которая молча сидела сейчас с ним рядом за завтраком.

— Ладно, дорогая, извини, — сказал он.

В последнее время слова типа «дорогая», «девочка», «любимая» текли в этом доме таким мощным потоком, что он порой переставал понимать, с которой из двух девушек разговаривает, но на этот раз имелась в виду Сара.

— Ты не подумай: попробовали — и ладно. Я лично всегда считал, что Уоррингтон ей не подходит: наверное, даже в Биллингсе она научилась бы большему, чем в этом цветнике. А кроме того, если она будет учиться в Биллингсе, она сможет ходить на консультации к доктору как-его-там, сколько ему заблагорассудится, а потом, если появится у нее такое желание, переведется в какой-нибудь университет поприличнее.

И Сара согласилась, тщательно все обдумав, что этот план не лишен здравомыслия.

— Забавно, — сказала Лаура с другой стороны стола, и в глазах у нее появилась поволока, а в голосе мечтательность. — Я почти ничего уже

не помню про Уоррингтон — все как-то размыто. Помню, как мы после обеда всей толпой шли через поля к шоссе и там сидели и ждали, когда подъедет какая-то определенная машина. Машина съезжала на обочину и останавливалась, водитель опускал стекло, чтобы мы могли просунуть туда деньги, а потом вручал нам такие коричневые бумажные пакетики. Там были капсулы с кислотой, разные амфетамины, кокс, гашиш и просто старая добрая марихуана, и потом мы шли обратно в школу — там над этими полями бывали такие прекрасные закаты, — и у всех было чувство, что мы такие богатые и все у нас замечательно, потому что на следующую неделю нам теперь уж точно хватит.

— Ага, — сказал Майкл. — Ах, сколько ностальгии, любовь моя, прямо буколика какая-то. Только вот что я тебе скажу. Ты больше уже не хиппи, ясно? Кончилась твоя безответственность, никто больше твоим желаниям потакать не будет. Ты теперь психбольная, и мы с твоей мачехой сделаем все возможное, чтобы мозги у тебя встали наконец на место. Так что, если ты уже наелась, можешь идти к себе и заснуть еще часа на четыре или сделать что-нибудь столь же полезное.

— Тебе не кажется, что это уже чересчур? —

спросила Сара, когда Лаура ушла.

И он угрюмо уставился на желток своей остывшей яичницы. Не было еще и девяти, а он уже дважды вышел из себя.

В тот же день в приемном отделе университета ему сообщили, что на осенний семестр записываться уже поздно и что лучшее, что можно сделать, — это подать заявление о том, чтобы Лауру зачислили с февраля. Получается, что они еще на пять месяцев застрянут втроем в доме, который стал вдруг казаться слишком маленьким.

— Что ж, я думаю, мы это переживем, — сказала Сара. — Я, кстати, считаю, что ей все равно еще рано возвращаться в колледж. Тебе так не кажется? По-моему, она еще недостаточно сосредоточенна.

Вскоре пришло письмо от Люси. Очень короткий текст был аккуратно расположен по центру страницы, и по вниманию, уделенному форме и содержанию письма, было понятно, что Люси писала его несколько раз, прежде чем найти верный тон.

Дорогой Майкл,

очень признательна тебе, что ты вмешался и взял на себя ответственность за

Лауру этим летом. Ты оказался на месте, когда она в тебе нуждалась, и, судя по всему, поступил мудро и очень правильно.

Мои наилучшие пожелания Саре и благодарность за ее помощь.

Как всегда, всего доброго,

Л.

P.S. В скором времени перебираюсь поближе к Бостону, наверное в Кембридж. Адрес сообщу отдельно.

— Я, конечно, видела ее всего один раз, — сказала Сара, — но у меня сложилось впечатление, что она очень… достойная женщина.

— Ну конечно очень достойная, — сказал Майкл. — Все трое в нашей маленькой семье очень достойные люди; проблема только в том, что двое из нас чокнутые.

— Прекрати, Майкл. Опять ты начинаешь эту чушь про то, что ты чокнутый?

— Почему чушь? Будет лучше, если я начну выражаться как психиатр? «Психотик»? «Страдающий маниакально-депрессивным синдромом»? «Параноидальный шизофреник»? Слушай, попытайся меня понять. В детстве, когда ни одна живая душа в Морристауне еще не слышала про Зигмунда Фрейда, мы признавали три основные

категории: есть типа чокнутые, есть чокнутые и есть на все голову чокнутые. Этим терминам я доверяю. Я всегда думал, что не прочь стать типа чокнутым, потому что девушкам страшно это нравится, но врать не буду: под эту категорию я уже никак не подпадаю. Я чокнутый, и у меня есть бумажка, это подтверждающая. Лаура тоже чокнутая, как минимум сейчас, и, если мы с ней не приложим все усилия, чтобы выкрутиться, мы оба в конце концов станем на всю голову чокнутыми. Вот так все просто.

— Знаешь, что ты иногда делаешь? — спросила его Сара. — Ты идешь на поводу у собственной риторики и под конец уже сам не понимаешь, что говоришь. Например, пытаешься рассказать мне про Эдлая Стивенсона[85], и в конце концов он получается у тебя чуть ли не распятым Иисусом. Я очень надеюсь, что в лекциях ты до этого не

[85] Примечания: 85

Эдлай Стивенсон (1900–1965) — американский политик, всегда позиционировавший себя как интеллектуал. Отличался особым красноречием и поддержкой либеральных ценностей в рамках политики Демократической партии. Был губернатором штата Иллинойс, в 1952 и 1956 гг. выдвигался кандидатом в президенты от демократов, но оба раза проиграл выборы республиканцу Дуайту Эйзенхауэру. Третий раз пытался выдвинуться в президенты в 1960 г., но проиграл на предварительных выборах Джону Кеннеди. Ричард Йейтс оставался горячим сторонником Стивенсона даже и после этого и часто сравнивал его с древнегреческими политиками (клан Кеннеди он воспринимал как расслабленных римлян).

доходишь, а то можешь остаться в окружении толпы недоуменных студентов.

Он подумал некоторое время и, когда решил, что сердиться на нее не будет, сказал:

— Давай все-таки студентами и преподаванием буду заниматься я, договорились?

После чего скрылся у себя в кабинете в полной уверенности, что последнюю фразу ему удалось произнести с должным достоинством и смирением.

На этот раз она действительно перешла границу, поставив под сомнение его преподавательскую компетенцию. В кои-то веки она оказалась слегка не права в этих мелких, но постоянно учащающихся ссорах, и, скорее всего, она это признает. Сразу она, конечно, извиняться не будет — скорее всего, дождется, когда улягутся все дневные и вечерние треволнения, когда они окажутся наконец вместе в кровати, испещренной отсветами бледной канзасской луны; тогда, у него в объятиях, она, наверное, попросит прощения. А может, к тому времени в этом уже не будет никакой необходимости.

— Эй, Лаура, — обратился он к дочери как-то утром, — почему ты никогда не убираешь за собой постель по утрам?

— Не знаю. Что толку ее убирать, если скоро снова ложиться?

— Ну, в этом, наверное, есть своя логика, — сказал он. — Действительно, что толку расчесываться, если волосы все равно потом запутаются? Что толку принимать душ, если все равно потом замараешься? И в принципе можно договориться смывать за собой в туалете не чаще чем раз в месяц — как тебе такое предложение?

Он подошел к ней вплотную, едва не тыча указательным пальцем в ее сморщившееся, исказившееся от страха лицо:

— Слушай, детка, тут, я так полагаю, надо выбирать. Либо ты будешь жить как цивилизованный человек, либо ты будешь жить как свинья. Подумай хорошенько и реши. И решение твое мне бы хотелось услышать в ближайшие полминуты.

Таких сцен, наверное, было бы больше и они становились бы все хуже и хуже, если бы не успокаивающее присутствие Сары. Именно благодаря Саре — и он много раз пытался ей это сказать — они прожили эти месяцы более или менее сносно. Она была старше Лауры на каких-то пять лет, но все это время ответственность целиком лежала на ней. Каждый день она делала всю работу по дому и, казалось, не обращала особенного

внимания, помогает ли ей Лаура с уборкой и готовкой; она возила ее в город на прием к доктору Макхейлу и пару раз, дожидаясь, когда кончится отведенный психиатру час, прошлась по магазинам и купила Лауре несколько стильных, очень изящных вещей.

В школе, читая лекцию или сидя у себя в кабинете, Майкл мог испытывать теперь приятное чувство уверенности, что, когда он вернется домой, там все будет в порядке; и так оно обычно и было. В особо удачные дни поздно вечером, в часы покоя и размеренной алкоголизации, они сидели втроем в гостиной и приятно беседовали, как будто Лаура, потягивающая тем временем свою кока-колу, была дочерью каких-нибудь соседей — довольно «интересной», слишком еще юной, чтобы сказать что-то оригинальное, но почтительной и хорошо воспитанной. И все же эта благодать никого не обманывала; было понятно, что до выздоровления ей еще далеко.

Однажды придя с работы, он обнаружил, что она сидит в большом кресле в новом чистом пла-

тье, погрузившись в «Алую букву»[86] в издании «Современной библиотеки».

— Отлично, — сказал он. — Отлично, что ты снова читаешь, дорогая. И книга тоже отличная.

— Знаю, — сказала она, и он, проходя мимо, наклонился, чтобы посмотреть, на какой она странице: девяносто восемь.

Он ушел в кабинет и засел за студенческие работы и стихотворения — весь фокус преподавания сводился к тому, чтобы по возможности справиться с этой работой за день или два, — и, должно быть, часа через два он снова прошел мимо ее кресла и увидел, что она все еще была на странице девяносто восемь.

Черт, что вообще происходит с этим ребенком? Неужели этот мудак-психиатр совсем ей не помогает? О чем она вообще думает, когда смотрит на тебя своими большими печальными голубыми глазами?

На кухне Сара уже достала формочку со льдом, чтобы сделать для него виски, потому что было уже пять, и он только и смог сказать: «Бог мой, ну

---

[86] Примечания: 86

«Алая буква» (1850) — главный роман американского писателя Натаниела Готорна, драматическая история внебрачной любви в пуританском городке. Считается одним из краеугольных камней американской литературы.

какая же ты замечательная!»

Ему пришлось дождаться, пока они лягут, и, только убедившись, что его шепот заглушают две закрытые двери и длинный коридор, он рассказал ей про книгу.

— Ничего себе, — сказала Сара. — И ты уверен, что она была на той же самой странице?

— Ну конечно уверен. Стал бы я рассказывать такие гадости про собственного ребенка, если бы не был уверен?

Она ненадолго задумалась и потом сказала:

— Ну, я, положим, понимаю, что ты имеешь в виду под «гадостью», хотя было бы, наверное, лучше подобрать более уместное выражение. Но все равно это очень… тревожно, да? Потому что я думала, что ей уже намного лучше, а ты?

Ранней зимой, когда они решили, что Лауре пора бы уже чем-нибудь заняться, в городе открылись курсы машинописи — новое, чисто коммерческое предприятие. Сара сказала, что давно позабыла, как это делается, а Лаура вообще никогда толком не училась печатать; решили, что им обеим будет полезно записаться на эти курсы.

И они стали ездить на занятия почти каждый день, причем расписание было продумано так,

чтобы не пересекаться с приемами у психиатра, и Майкл с некоторой неохотой допустил, что из этого может выйти какой-то толк. Печатание — занятие бездумное, иногда оно действительно может отвлечь человека от проблем, если, конечно, ты не пытаешься перепечатать собственные стихотворения. И он вспомнил, как давным-давно, в Нью-Йорке, Ларчмонте и Тонапаке, просиживал дни и ночи за машинкой, как его передергивало от тупых ошибок, которые он делал в собственных строчках, как он проклинал за это машинку, как вырывал из нее листы, вставлял новые, отчего ошибки только множились и становились еще тупее, и как ему на смену приходила наконец Люси. У нее всегда получалось напечатать все стихотворения зараз, быстро и без единой ошибки, как у самой завидной секретарши.

С начала курса прошло уже несколько недель, когда Лаура влетела как-то вечером в дом и набросилась на него, пока Сара ставила машину в гараж.

— Слушай, пап, я на это не способна — понимаешь, не способна! — сказала она, и по налитым краской лицу и шее было понятно, что она сейчас разрыдается. — Есть же люди, не способные

выучить иностранный язык или овладеть музыкальным инструментом и так далее. А я вот не способна печатать. Я столько времени стучала двумя пальцами, что просто не понимаю эту ебаную клавиатуру, я на этих курсах чувствую себя абсолютно тупой. Такой тупой, что меня блевать тянет. — На слове «блевать» она не выдержала и, утирая слезы, побежала по коридору к себе в комнату.

В первый раз за многие годы он увидел, как она плачет.

Вернувшись из гаража, Сара успела застать последний выкрик и теперь пыталась все ему объяснить:

— Сегодня занятия прошли не очень удачно. Преподаватель то и дело раздражался, и дети начали над ней смеяться.

— Что за хуйня! — сказал он. — Я не хочу, чтобы над ней, в ее состоянии, кто-то смеялся. Я вообще не хочу, чтобы над ней смеялись, если уж на то пошло. Я всегда считал, что насмешки едва ли не самая противная в мире вещь.

Сара бросила на него быстрый, раздраженный взгляд:

— Тогда почему ты сам все время ее высмеиваешь?

И он мог бы сказать, что это другое дело, но вовремя поймал себя.

— Ну да, ты права. Я действительно позволяю себе насмешки, и надо бы мне за этим последить. И все же, признаться, я почувствовал облегчение, когда увидел, что она плачет. Она столько месяцев вела себя как зомби.

— А вот здесь мы с тобой расходимся, — сказала она. — Смеяться, значит, нельзя, а плакать, по-твоему, хорошо? Слезы, по-твоему, лечат? Я думала, от таких убеждений люди годам к шестнадцати обычно отходят.

И она решительно прошагала на кухню, хотя готовить обед было еще слишком рано, и он поостерегся идти за ней. Он привалился к окну, глядя на плоские поля, запестревшие белым и серым после вчерашнего легкого снегопада, и сердце его сжалось от предчувствий. Если Сара когда-нибудь решит его бросить («А вот здесь мы с тобой расходимся»), теперь он примерно знает, каково ему будет.

На курсах машинописи дела, похоже, налаживались. Девушки часто возвращались домой со смехом и шутками, а по окончании курса продемонстрировали ему с напускной гордостью и плохо скрываемым удовольствием два аляпова-

тых свидетельства об окончании.

— А как же ей удалось их окончить? — спросил Майкл, как только Лаура не могла их слышать.

— Да она в итоге ухватила, в чем суть, — сказала Сара. — Там ведь нужно просто понять принцип; собственно, об этом я ей с самого начала говорила, и учитель ей об этом говорил. Думаю, теперь она действительно готова к колледжу, а ты?

Развернулись и приготовления иного рода. Сара решила, что в университетском городке в магазинах выбор слишком «скудный», и начала возить Лауру в близлежащий город, в котором был аэропорт и в котором любой желающий мог найти целые улицы модных магазинов и супермаркетов; так у Лауры образовался обширный и довольно симпатичный гардероб на весну и зиму. Пожалуй, в Государственном университете Биллингса конкуренток в одежде у нее будет немного и никто никогда не догадается, как она выглядела в бродяжнический период своей жизни.

Как-то неожиданно теплым январским днем, вернувшись с Сарой после одной из таких поездок, Лаура просунула свою яркую, симпатичную голову во входную дверь и крикнула:

— Пап, ничего, если я возьму твой велик?

— Конечно, девочка! — крикнул он в ответ. —

Бери! — И встал у окна, чтобы посмотреть, как они уезжают.

В последние несколько лет Лаура сделала все возможное, чтобы подорвать здоровье, но, когда они с Сарой налегли на педали, было видно, что по силе она ей не уступает; обе мчались по дороге куда-то вдаль, и у обеих в распущенных волосах играл ветер.

Когда они перевезли Лауру со всеми ее вещами в четырехместные апартаменты в общежитии для второкурсников, долгих прощаний, объятий и поцелуев не последовало. Жить они будут всего в нескольких милях друг от друга, будут время от времени видеться, так что на прощание можно было пожелать разве что удачи — удачи, дорогая, — и до встречи.

Дом вдруг снова стал просторным. К нему вернулся облик и ощущение жилища, который так понравился им, когда они только приехали в Канзас, — лучшего в их жизни, удивительно хорошо устроенного современного дома, в котором все работает.

— Ну вот, девочка, — сказал он, — без тебя я эти месяцы не пережил бы. И она тоже.

Они стояли посреди гостиной, как гости, которых еще не пригласили сесть, и он наклонился и

взял ее за обе руки, чтобы она на него посмотрела. Теперь ему хотелось только провести ее по коридору в спальню, где можно было остаться вдвоем на весь вечер и еще на полночи, совершенно не переживая, что их вздохи и вскрики разносятся по всему дому, потому что теперь он наконец снова принадлежал только им одним.

— По-моему, ты совершенно прекрасная, — сказал он.

— Да ты и сам ничего, — ответила она.

Она не возражала, когда он повел ее из гостиной в коридор, и этот знак доверия его обнадежил. Какой бы холодной и жесткой ни казалась иногда эта девушка, это была все та же девушка, которая первой сообщила в ресторане неподалеку от своего чопорного школьного кабинета, что тут неподалеку есть мотель. О боже мой, боже; Сара, слава тебе господи, всегда любила трахаться.

И он ее получил. Она была его, и только его в этих канзасских прериях целый год, полгода и потом еще, пока не пришло время выполнять обещание, которое он ей дал.

«Например, через год. Что скажешь?» — спрашивала она его больше года назад — время никого не ждет, — так что, когда она объявила ему в декабре 1971-го, под Рождество, что она

беременна, ему не оставалось ничего другого, как преисполниться гордостью и счастьем.

Глава шестая

Пока Сара была беременна, они предприняли несколько автомобильных поездок по Среднему Западу — знай и имей свою родину, как объяснял Майкл, — и однажды, заехав глубоко в Иллинойс, решили разыскать Пола Мэйтленда.

Попытка была рисковая, но дело того стоило. Майкл давно изводил себя жуткими воспоминаниями того вечера у Нельсонов, и теперь один приятный вечер в компании Пола Мэйтленда мог с легкостью исправить положение.

Он стоял в телефонной будке на обочине шоссе и, обливаясь потом, кидал в автомат монетки и старался отвлечься от грохота и свиста проносившихся за стеклом громадных грузовиков, чтобы в конце концов расслышать в трубке голос Пола Мэйтленда.

— Майк! Рад тебя слышать!

— Ты уверен?

— Я — что?

— Я просто спросил, уверен ли ты, что рад меня слышать, сам понимаешь. Может, я у тебя прохожу теперь по разряду мудаков.

— Ну что за глупости, Майк! Мы оба были вду-

пель пьяные, обменялись ударами, и выяснилось, что твой посильнее будет.

— Да твой, бля, тоже был ничего, — сказал Майкл и вздохнул с облегчением. — Я неделю, наверное, не мог от него отойти.

Пол спросил, откуда он звонит, после чего последовали длинные и подробные объяснения, как к ним добраться. Выходя из будки, Майкл чувствовал такой прилив радости, что, вскинув над головой руку, изобразил в лучах солнца победный кружок из большого и указательного пальцев, и Сара улыбнулась ему из окна припаркованной рядом машины.

— …Да, далече же мы удалились от Деланси-стрит, старик, — говорил Майкл час спустя в гостиной у Мэйтлендов. — И от «Белой лошади» мы теперь далече.

Деланая задушевность этой реплики ему самому не понравилась, но преодолеть ее он, похоже, не мог — на самом деле он не мог даже замолчать, чтобы дать другим вставить в разговор хоть слово.

Пол ограничился приятным бормотанием и пару раз меланхолически улыбнулся, признав таким образом, что ностальгия не миновала и его; Пегги промолчала, впрочем, она всегда слави-

лась тем, что могла молчать часами, а у Сары не было еще возможности сказать что-либо, кроме дежурных любезностей.

У Мэйтлендов были уже две белокурые девчонки, которые родились после того, как Майкл уехал из округа Патнем: они робко вошли в гостиную из другой комнаты, чтобы познакомиться с гостями, но при первой же возможности снова исчезли. Мать поднялась и пошла за ними, и по длительности ее отсутствия можно было предположить, что компания дочерей ей куда интереснее, чем собравшееся в гостиной общество.

Майкл замолчал и только тогда заметил, что Пол одет теперь в белую рубашку и аккуратно выглаженные брюки цвета хаки, — старое джинсовое облачение исчезло; потом он откинулся в кресле и стал оглядываться вокруг, изучая ту небольшую часть дома, которая ему была видна. Он знал, что у входной двери уже не будет ящика с инструментами и заляпанных грязью ботинок; и все же он никогда бы не подумал, что Пол может оказаться в такой опрятной и чопорной, в такой откровенно буржуазной гостиной, и подумал, что Диана, вероятно, решила бы, что он здесь «гибнет».

— Ну что, Пол, как тебе преподавание? — спро-

сил Майкл, потому что ему снова показалось, что кто-то должен что-нибудь сказать.

— Трудно, если раньше никогда этим не занимался, но какое-то удовлетворение приносит, — сказал Пол. — Думаю, у тебя впечатления примерно такие же.

— Да, — сказал Майкл. — Примерно такие же. Остается время для работы?

— Меньше, чем хотелось бы, — сказал Пол. — Как выяснилось, нужно дико много читать, просто чтобы успевать подготовиться к лекциям. Когда сюда приехал, я, например, почти ничего не знал про африканское искусство, но оказалось, что многим студентам интересно именно это.

Только теперь, когда у него запершило в горле и пересохло во рту, Майкл наконец понял, что́ здесь было не так: им до сих пор не предложили ни виски, ни даже пива. «В чем идея? — хотелось ему сказать. — Ты, что ли, совсем завязал?» Но пересохший язык пришлось прикусить. Он знал, что значит завязать, и догадывался, что Пола лучше об этом не спрашивать. В такие вещи лучше не лезть.

Потом к ним снова присоединилась Пегги; она вкатила в гостиную тележку с кофейником и тарелкой больших печений с изюмом; четыре

чашки, блюдца и ложки позванивали на нижнем подносе.

— Очень красиво выглядят, — сказала Сара про пирожные. — Это вы сами пекли?

И Пегги скромно известила ее, что она все печет сама, даже хлеб.

— Правда? — сказала Сара. — Какая вы… предприимчивая.

Майкл отказался от пирожного — оно одно стоило целого обеда, — выпил почти весь свой кофе, которого на самом деле не хотел, и завел с хозяином новый разговор:

— Я смотрю, твой зять стал настоящей знаменитостью.

— А, ты об этом, — произнес Пол. — Забавно, что пьеса может оказаться такой успешной в коммерческом смысле. Она им всю жизнь изменила — в основном, конечно, к лучшему, потому что денег у них теперь столько, что за всю жизнь не потратить, но и хуже в каком-то смысле тоже стало.

И он рассказал, как в прошлом году они с Пегги на пару дней ездили к Моринам в Нью-Йорк. Диана казалась какой-то «потерянной в их роскошной квартире в небоскребе» — никогда он ее такой не видел, даже в детстве, и на мальчиках тоже лица не было. Ральф Морин почти беспре-

рывно обсуждал что-то по телефону, или его вообще не было: каждый день какие-то срочные совещания по поводу спектакля или переговоры о новых проектах.

— Все это было как-то… неловко, — заключил Пол. — Но со временем, наверное, все утрясется.

Майкл поставил пустую чашку на блюдце, и оно слегка звякнуло.

— А про Тома Нельсона что-нибудь слышно?

— Мы иногда переписываемся. Он пишет дико смешные письма, но ты, впрочем, наверняка об этом знаешь.

— Вообще-то, нет; он мне так ни разу и не написал. Раньше он вместо писем время от времени слал смешные рисунки с подписями.

Но даже и это было преувеличением: рисунок был всего один — карикатура, с которой Майкл, в профессорском берете и плаще, сурово взирал на зрителя. Подпись гласила: АРХИТЕКТОР МОЛОДЫХ УМОВ.

— Я очень жалею, что не познакомился с Томом сразу, когда ты только предложил, — сказал Пол. — Повел себя как дурак.

— Нет, я тогда прекрасно тебя понял, — заверил его Майкл. — Человек, который в двадцать шесть или в двадцать семь лет добился коммерческого

успеха, всегда вызывает страх. Если бы я случайно с ним не познакомился, то сам никогда не стал бы искать повода. Может, оно было бы даже лучше, на самом-то деле.

— Ну, ничего «коммерческого» в Томе как раз нет, — возразил Пол. — Может, про Морина, с его неожиданным успехом, и можно так сказать, но здесь совсем другой случай. Том профессионал. Он рано нашел себя и после этого никогда себе не изменял. Этим можно только восхищаться.

— Это, вероятно, достойно уважения, да, но не уверен, что здесь есть чем восхищаться.

Майклу не нравился оборот, который принял этот разговор. Не так уж много лет назад он пытался защищать Тома Нельсона перед Полом Мэйтлендом, но ни один из его защитных рубежей под напором Пола не устоял; теперь роли поменялись с точностью до наоборот, и у него возникло смутное предчувствие, что и на этот раз поражение неизбежно. Он решил, что это несправедливо — хотелось чуть большего постоянства от этого мира, — но, что хуже всего, этот разговор уже не имел ни для него, ни для Пола решительно никакого значения: они оба будут вынуждены до конца дней своих зарабатывать на хлеб преподаванием в глубоко провинциальных колледжах,

пока Том Нельсон безмятежно покачивается на гребне успеха.

— Он требует от себя ничуть не меньше, чем любой другой известный мне художник, — продолжал Пол, увлеченный спором, — и он не продал ни одной картины, в которую сам бы не верил. Не понимаю, чего еще можно требовать от художника.

— Ну, может, с профессиональной точки зрения ты и прав, — уступил Майкл с осмотрительностью стратега, сдающего одну позицию, ради того чтобы укрепить другую. — Но есть еще чисто человеческая сторона. И Нельсон, когда захочет, может быть полным мудаком. Ну, пусть не мудаком, но достать может реально.

И, едва соображая, куда его несет, он начал рассказывать, как они с Нельсоном ездили в Монреаль. История получилась длиннее, чем он думал, что само по себе было плохо, и ее невозможно было рассказать, не выставив себя так или иначе на посмешище.

Пока он рассказывал, Сара сидела с чашкой в руке, не спуская с него спокойных карих глаз. После его пьяной эскапады по поводу Терри Райана она молча плакала; с тех пор она не раз открыто выражала свое разочарование («А вот

здесь мы с тобой расходимся»); теперь ей ничего уже не оставалось, как обреченно ждать, пока он в очередной раз не опозорится.

— …Нет, суть в том, что Нельсон знал, что девушка, в общем, была готова, — донеслись до него собственные попытки объяснить и спасти историю, когда он ее уже рассказал. — Он чуть не умирал от зависти, по нему видно было, но в то же время он знал, что ему просто надо сидеть на месте и мешаться, причем без всяких для себя последствий, потому что никто из друзей этого не видит, и тогда у меня уж точно ничего не получится. Вот так этот гаденыш решил сыграть, и физиономия у него сразу стала хитрая. Нахальная. Самодовольная. А что касается этой его реплики в машине — по поводу того, что девушка подумала, что мы с ним пидоры, — то самое смешное здесь то, что Нельсон всю жизнь боялся, как бы его не приняли за пидора. Был абсолютно на этом зациклен. Помню, говорил целыми днями только об этом, и я всегда думал, что этим, наверное, можно объяснить его стремление одеваться все время по-военному.

Но ни сама история, ни ее объяснение особого успеха у этих конкретных слушателей не имели: все трое смотрели на него с недоумением.

— И все-таки я не понимаю, Майкл, — сказала Сара. — Если ты действительно так хотел эту девушку, почему ты не остался в Монреале еще на несколько дней?

— Хороший вопрос, — сказал он ей. — Я и сам его все время себе задаю. Наверное, единственно возможный ответ состоит в том, что меня от Нельсона так плющило, что я готов был сделать все, что ему понравится.

— Забавное выражение — «плющило», — задумчиво сказал Пол. — Когда я познакомился с Томом, он меня, конечно, восхитил, но я бы не сказал, что меня от него «плющит».

— Ну да, в этом разница между тобой и мной, — сказал Майкл. — Наверное, поэтому тебе он шлет письма, а мне только блядские карикатуры.

После этого, слава богу, тему удалось сменить; разговор зашел о летних каникулах.

В этом году у Мэйтлендов на большую поездку не хватило денег, но Пол сказал, что следующее лето они собираются полностью провести на Кейп-Коде.

— Звучит прекрасно, — сказала Сара.

— А мне на Кейпе в мертвый сезон даже больше нравится, — отметила Пегги. — Раньше мы ездили туда зимой, у нас там были замечательные

знакомые. Артисты из балаганчика. Цыгане.

И Майкл понял, что сейчас она расскажет тот же анекдот про шпагоглотателя, что рассказывала еще в округе Патнем десять с лишним лет назад. Тогда он вызвал у молодого энтузиаста театрального искусства Ральфа Морина раскаты деланого смеха, на фоне которых он провозгласил его выражением духа фокусничества. Последнюю фразу она, конечно же, воспроизвела дословно;

— И я тогда спрашиваю: «А это не больно?» А он в ответ: «Так я тебе и сказал!»

Сара от души рассмеялась, и Майклу тоже удалось ухмыльнуться, а Пол Мэйтленд только пригладил усы, словно бы желая скрыть, что уже слишком много раз слышал эту историю раньше.

Через полчаса Мэйтленды стояли на улице около дома, улыбались и махали им вслед — несколько картинно, как будто позировали для фотографии: довольный жизнью преподаватель живописи из Иллинойса и его супруга, добрые люди, которые хоть и не могут позволить себе длительных путешествий, но зато пребывают в уверенности, что их никогда ни от кого не «плющило», благоразумные люди, далекие от Деланси-стрит и готовые довольствоваться, наряду

с африканским искусством и домашним хлебом, совсем не тем, о чем они мечтают.

— Пол, конечно, очень приятный, — сказала Сара, когда они выехали на шоссе и настроились на долгое возвращение в Канзас, — только ничего необыкновенного я в нем не заметила. Не могу понять, почему ты все эти годы так его идеализировал.

— Что ты имеешь в виду? Никогда я его не идеализировал.

— Конечно идеализировал. Перестань, Майкл. Перед тем как отправить его в нокаут на той вечеринке, ты говорил, что всегда думал, что в нем есть какая-то «магия».

— Бог мой! — сказал он. — Я думал, ты все это время была на кухне.

— Ну, я действительно была на кухне, но потом вышла. А когда ты его ударил, я вернулась обратно, потому что знала, что ты придешь туда за мной.

— Черт подери! А почему ты так ни разу мне об этом и не сказала?

— Ну, наверное, потому, что я знала, что ты мне все объяснишь, — сказала она, — и потому, что не хотела эти объяснения слушать.

В июне 1972 года у них родился сын, Джеймс

Гарви Дэвенпорт. Мальчик был здоровый и симпатичный. Сара восстановилась в разумные, как выразился один из врачей, сроки, хотя сами роды были крайне сложные.

Как Майкл потом узнал, ребенок начал выходить ногами вперед и какой-то идиот-акушер безуспешно пытался развернуть его щипцами. Потом в родильную палату созвали других врачей, которые брюзжали с недовольным видом по поводу происходящего, и в конце концов им пришлось закатывать потерявшую сознание Сару в лифт, спускать на другой этаж, где ей в итоге экстренно сделали кесарево сечение, причем, судя по всему, едва-едва успели.

— Канзас! — сказал Майкл, подойдя к кровати, в которой она лежала без сил, потягивая через соломинку имбирный эль из бумажного стаканчика. — Такая дикая некомпетентность возможна только в этом вонючем Канзасе.

— Глупости, — сказала она. — Все равно он, по-моему, ужасно милый.

И он решил, что она имеет в виду какого-нибудь врача, какого-нибудь по-отечески нежного канзасского засранца, который мог шепнуть ей несколько приятных слов, пока она отходила от анестезии.

— Кто? — спросил он с вызовом. — Кто ужасно милый?

— Ребенок, — сказала она. — Тебе разве не показалось, что он ужасно милый и симпатичный мальчик?

Через стеклянную дверь он увидел только сморщенную трясущуюся голову размером, как ему показалось, ненамного больше грецкого ореха, с растянутым от крика ртом, причем отличить этот крик от плача других новорожденных по обеим сторонам палаты было совершенно невозможно.

— Ну, поначалу он и вправду был немножко синий, — доверительно сообщила ему пожилая медсестра в коридоре рядом с палатой новорожденных (стерильная маска висела у нее под подбородком в знак того, что смена ее окончена). — Получили мы его синюшным, но потом мы положили его в инкубатор, и там он у нас быстренько порозовел.

Вечером, пытаясь переживать и проглотить перегретый гамбургер в ресторане, где даже пива не подавали, он не выдержал и стал раздумывать о той разновидности детей, которые родились «синюшными». Наверное, у них потом по глазам видно, что они идиоты? Наверное, говорить они так и не научатся, а только улыбаются, пускают

слюни и бормочут что-то невнятное? Наверное, они ходят, слегка склонившись вперед, под строгим наблюдением в группах, твердо наученные браться за руки перед любым перекрестком? Наверное, плетение корзин — это максимум, чего от них можно ожидать в плане приобретения знаний и навыков?

Но тогда медсестра наверняка не стала бы с таким радостным видом сообщать ему, что конкретно этот синюшный ребенок «быстренько порозовел», — она, скорее всего, вообще не стала бы говорить про синюшные подробности, если бы порозовение не было обнадеживающим фактором.

Но даже и при таком раскладе — на этом этапе размышлений он заплатил по счету, вышел из этого мерзкого ресторана и направился домой — он был склонен признать, что лучше бы родилась девочка. Говорят, конечно, что это так замечательно, когда у тебя рождается сын, — есть даже мужчины, не скрывающие разочарования, когда у них рождаются дочери, и готовые приберечь дикарское ликование для будущих сыновей, — но Майкл к этому ветхозаветному фуфлу был сегодня не готов.

Девочки… как-то приятнее мальчиков; все это

знают. С девочкой и делать-то ничего не надо — только подбросить ее в воздух, обнять, поцеловать и сказать, какая она красивая. Даже когда она вырастает из возраста катания на плечах, ее можно сводить в зоопарк, купить ей коробку «Крекерджека»[87] и воздушный шарик (ниточку нужно всегда привязать к запястью, чтобы он не улетел) или можно повести ее на дневной сеанс «Музыкального человека» и увидеть, как на ее печальном личике не остается ничего, кроме чистого восторга от происходящих на сцене чудес. Потом приходит болезненно деликатное время: когда Лауре было тринадцать, она, вероятно по совету матери, позвонила из Тонапака, чтобы сообщить: «Папочка! Представляешь, у меня менструация!»

Ну да, потом, конечно, могут быть проблемы: у девочки может обнаружиться острый, почти убийственный талант шокировать отца; она может месяцами томно болтаться по дому; заставить ее убирать за собой постель можно будет только угрозами, и она окажется неспособной — по одному только Богу известным причинам

[87] Примечания: 87

«Крекерджек» — марка детских кукурузных хлопьев в карамельной оболочке, с добавлением арахиса. Внутри коробки помещали обычно какой-нибудь сюрприз.

— преодолеть девяносто восьмую страницу той ерунды, которую якобы читает. Но даже и в самые худшие времена вроде этих что-то всегда подсказывает, что все в итоге наладится. Девочка способна преодолеть едва ли не любое падение, потому что девочки поразительно выносливы. Они изящные; они проворные и сообразительные.

А мальчик! Бог мой, с мальчиком может быть настоящий геморрой. Стоит только понарошку разыграть с ним боксерский поединок, пока он бегает перед сном в своей сплошной пижаме-комбинезоне с пуговицей на попе, и он станет требовать, чтобы все кругом называли его теперь слаггером, а когда забудешь так к нему обратиться, скуксится и заплачет. Лет в девять или десять он будет доставать тебя просьбами пойти с ним во двор и поучить его бросать мяч — не важно, знаешь ты, как его бросать или нет; потом начнется бурный активный отдых в компании других отцов и сыновей с бесчисленными мероприятиями, организованными пожарной частью или ветеранскими комитетами, во время которых может оказаться, что ты понятия не имеешь, о чем следует разговаривать с другими отцами и их вонючими отпрысками.

Лет в шестнадцать, а то и раньше, если он начнет обнаруживать признаки умника, начисто лишенного чувства юмора, ему захочется, чтобы ты часами вел с ним серьезные разговоры про честь, порядочность и силу духа, пока голова не пойдет кругом от этих абстракций, или, хуже того, превратится в неловкого и угрюмого, фыркающего по любому поводу переростка, который если и не молчит, то выражается исключительно односложными словами и которого ничего, кроме машин, в этом мире не интересует.

Но в любом случае, когда он дорастет до колледжа, он, можно не сомневаться, встанет в дверях твоей комнаты, где ты пытаешься хоть немного поработать, и скажет: «Пап, ты вообще представляешь, сколько алкоголя у тебя сегодня в крови? Знаешь, сколько пачек ты сегодня выкурил? Ты меня послушай: ты же так подохнешь. И я тебе вот что скажу: если ты и вправду хочешь подохнуть, то лучше бы ты поторопился. Потому что, честно, я не о тебе пекусь. Мне маму жалко».

Блядь, а ведь может быть еще и такое, что вообще представить страшно. Что, если, увидев вещь, которая кажется ему смешной, сын начнет говорить: «Обожаю!» или «Какая прелесть!»? Что, если он станет разгуливать по кухне, положив

руку себе на бедро и рассказывая мамочке, как замечательно они с друзьями провели вчера вечер в этом новом дико приятном месте под названием «Ар-деко»?

Было уже почти три часа ночи, когда Майкл улегся наконец спать — слишком пьяный, чтобы сообразить: ему же в первый раз приходится спать в этом доме одному. Единственное, в чем он был абсолютно уверен, пока пытался небрежными движениями натянуть на себя одеяло, была несправедливость происходящего: нельзя от него ждать, что он все это вынесет, потому что слишком он уже старый. Ему, блядь, уже сорок девять.

Многие месяцы ему казалось, что дом едва не дрожит от хрупкости, ласки и подолгу непрерываемой тишины. Несмотря на слабость после родов, Сара была идеальной молодой матерью. Она гордилась, как девочка, тем, что кормит грудью; взяв сына на руки, она медленно ходила туда-сюда по коридору под убаюкивающую мелодию музыкальной шкатулки, которую прислал в подарок кто-то из коллег; уложив ребенка в кроватку и тихо закрыв дверь, она всегда прикладывала указательный палец ко рту и говорила мужу «ш-ш-ш».

И Майкл решил, что с этим поклонением он го-

тов согласиться, оно ему даже нравилось — хотя бы потому, что показывало Сару в восхитительном новом свете, и не лелеять этот образ в своем сердце мог только идиот, — вот только с тех пор, как он единственный раз переживал нечто подобное, прошло уже больше двадцати лет. Он готов был поклясться, что в младенчестве Лаура никогда так мерзко не воняла, никогда не пачкала такое количество подгузников, никогда так долго и громко не плакала, никогда так часто не срыгивала и вообще не действовала круглосуточно на нервы.

«Давай-давай, гаденыш, — говорил он еле слышно, когда наступала его очередь укачивать ребенка под слащавый звон музыкальной шкатулки, пока Сара спит. — Давай-давай, сукин сын, можешь упрямиться — смотри только потом не разочаровывай. Точно, бля, тебе говорю, потом докажешь, что все это говно не зря. Иначе я тебя никогда не прощу. Ясно?»

Вероятно, именно потому, что времени постоянно не хватало, Майклу в этот год на удивление хорошо писалось. Новые стихотворения стали приходить с легкостью, равно как и соображения о том, как довести до ума старые, некогда им забракованные. Когда Джимми Дэвенпорт начал

вставать на ноги и делать первые неуверенные шаги, держась за край кофейного столика, на письменном столе его отца скопилось достаточно законченных рукописей, чтобы собрать новую книгу.

Майкл готов был признать, что особенным блеском его четвертый сборник не отличался, но он знал, что стыдиться ему тоже нечего: все, чему он научился за многие годы в своей профессии, чувствовалось на каждой странице.

— Мне кажется, книга вполне… приличная, — сказала Сара как-то вечером, когда ей удалось наконец прочитать рукопись целиком. — Все стихотворения интересные и сделаны замечательно. Они все… крепкие. Не смогла найти ни одного слабого места.

Она сидела под яркой лампой на диване в гостиной, такая же молодая и красивая, как и раньше, и, слегка нахмурившись, перебирала страницы, словно бы пыталась найти слабые места, которые могли ускользнуть от ее внимания при первом прочтении.

— Есть такие, которые тебе особенно понравились?

— Нет, не думаю. По-моему, все одинаково хороши.

И, отправившись на кухню, чтобы налить еще по стаканчику виски, он вынужден был признать, что надеялся на более высокую похвалу. Он писал эту книгу с тех пор, как они познакомились, эта книга будет посвящена ей. Наверное, было бы правильно, если бы она проявила по этому поводу хоть какой-то энтузиазм, пусть даже и не слишком искренний. Но он знал, что показать ей свое разочарование было бы ошибкой.

— Видишь ли, дорогая, — сказал он, вернувшись в комнату с двумя стаканами, — я воспринимаю эту книгу как в своем роде переходную — как попытку закрепиться на достигнутой высоте, если ты понимаешь, о чем я. Мне кажется, я еще способен на большие вещи, могу рискнуть по-крупному и оправдать этот риск, но с этим придется подождать до следующей книги. До пятой. Есть у меня одна задумка… Можно сделать вещь смелую и вдохновенную, каких у меня не было с тех пор, как я написал «Если начистоту». Теперь только нужно время.

— Что ж, замечательно, — сказала Сара.

— А пока что, я думаю, можно напечатать этот сборник, и мне будет очень приятно, если ты тоже так думаешь.

— Ну да, — сказала Сара. — Я с тобой согласна.

— Хотя вот что я решил, — продолжал он, расхаживая по ковру. — Я решил, что сразу отсылать его не стоит. Пусть немножко отлежится: может, то, над чем я сейчас работаю, как-то скажется и на этих стихотворениях. Ну то есть сейчас кажется, что это вполне завершенная книга, но какие-то вещи могут еще сломаться, и потребуется доработка.

И он надеялся, что она станет возражать, — ему хотелось, чтобы она сказала: «Нет, Майка, книга готова; на твоем месте я сразу отправила бы ее издателю», но она так не сказала.

— Ну, наверное, в таких вещах лучше полагаться на собственное суждение.

И, отложив рукопись на диван, она сказала, что виски ей на самом деле не хочется, потому что она совсем уже засыпает.

Когда на улице снова потеплело, они стали частенько обедать во дворе, разостлав на траве одеяло. Майклу нравились эти пикники. Он любил прилечь, опершись на локоть, с банкой холодного пива в руке, пока красавица-жена раскладывала по бумажным тарелкам сэндвичи и фаршированные яйца, любил смотреть, как его сынишка топчется на траве, перебираясь из тени на солнце с таким серьезным видом, как будто

открывает для себя целый мир.

«Ну да, в общем, так и есть, малыш, — хотелось ему сказать. — Есть свет, и есть тьма, а вон те большие штуки — это деревья, и здесь тебе абсолютно ничего не грозит. Надо только помнить, что за ограду выходить нельзя, потому что за оградой сплошь скользкие камни, грязь и колючки, там можно наткнуться на змею и от страха в штаны наложить».

— Как ты думаешь, дети в этом возрасте боятся змей? — спросил он Сару.

— Нет, наверное; думаю, они вообще ничего не боятся, пока старшие не скажут им, что страшно, а что нет. — И через секунду спросила: — Почему тебя интересуют именно змеи?

— Наверное, потому, что мне кажется, что я их с рождения боялся. И еще потому, что в этой сложной большой вещи, с которой я пытаюсь разобраться, фигурируют змеи.

И с задумчивым видом сорвал травинку и стал ее разглядывать. Раньше было очень полезно обсуждать с Сарой новые замыслы — ясность ее вопросов и комментариев порой помогала пробиться сквозь самые путаные его соображения, — но он не был уверен, что этот конкретный замысел вообще стоит обсуждать. Слишком он

сложный и грандиозный, а кроме того, он знал, что ему жалко будет его раскрывать: этот материал предназначался для стихотворения, не уступающего по смелости и вдохновению «Если начистоту».

Но Сара сидела рядом и готова была слушать; небесная синева доставляла ему чувство глубокого удовлетворения, пиво было прекрасное, и он в скором времени решился.

— Суть в том, что я хочу написать про Бельвю, — сказал он, — и мне хочется связать это с разными другими событиями, которые произошли со мной до того, как я туда попал, и после этого. В каких-то случаях эти связи несложно будет провести, какие-то будут труднее и тоньше, но, думаю, у меня получится свести все в единый рисунок.

Потом он начал рассказывать ей, как проходит день в психиатрической больнице: толпы босых, полураздетых мужчин, которых заставляют ходить от стены до стены; он был краток, потому что раньше уже все это ей рассказывал.

— И стоит тебе отклониться от этого общего порядка, как тебя тут же хватают санитары, насильно колют тебе успокоительное, от которого сразу вырубает, бросают в мягкую камеру,

запирают, и ты там долго лежишь в полном одиночестве.

Об этом он ей тоже уже рассказывал, но решил, что важно проговорить это еще раз, чтобы перед глазами предстала как можно более живая картина.

— Попытайся представить себе эту камеру; там дико душно, со всех сторон тебя окружают эти матрасы, они все пружинят, даже притяжение не слишком чувствуется, потому что верха от низа почти не отличить. И вот я медленно прихожу в сознание — на полу, уткнувшись в один из этих матрасов; они, кстати, были жутко грязные, потому что их годами никто не менял, и в этот момент мне начинает казаться, что меня всего обвивают змеи. А иногда мне казалось, что только что где-то рядом взорвалось сразу несколько зенитных снарядов и что я погиб, только пока этого не понимаю.

Сара дожевывала свой сэндвич; вид у нее был внимательный, хотя часть этого внимания была все время обращена на ребенка.

— И потом, когда я уже вышел из Бельвю, то все время чего-то боялся. Боялся завернуть за угол. Змей больше не было, но с зенитками я еще долго не мог справиться. Мне тогда казалось, что если

пройти несколько кварталов по Седьмой авеню, то обязательно попадешь под обстрел, окажешься в самой гуще разрывающихся снарядов и что это будет конец. Либо меня убьет, либо полиция заберет меня обратно в Бельвю — и я не мог даже сказать, что хуже… Это, конечно, только часть; там еще много всего будет. Но основная идея как раз в неразрывности страха и безумия. Когда боишься, страх сводит тебя с ума, а когда ты безумен, то боишься всего подряд. Ну и там должен быть еще третий элемент, если у меня получится справиться с этими двумя.

Он замолчал, чтобы Сара могла спросить, что же это был за элемент, и, убедившись, что она ни о чем его не спрашивает, начал рассказывать сам:

— Третий элемент — импотенция. Невозможность потрахаться. У меня в этом смысле тоже был некоторый опыт.

— Да? — сказала она. — Когда?

— Давно. Много лет назад.

— Ну, это ведь нередко с мужчинами бывает, да?

— Наверное, так же часто, как и страх, — сказал он. — Или как безумие. Видишь, речь у меня пойдет о трех довольно распространенных вещах, об их взаимообусловленности, если не сказать — о

тождестве.

И он понял, что ему страшно хочется рассказать ей о Мэри Фонтане; может, только поэтому он и завел речь про третий элемент. Ему всегда было легко и приятно рассказывать Саре про других своих девушек — из истории с Джейн Прингл у него получилась настоящая комедия, да и другие эпизоды вышли неплохо, — но Мэри Фонтана все эти годы оставалась его тайной. Так почему бы сейчас не обсудить эту жалкую неделю на Лерой-стрит — прямо здесь, под канзасским солнцем? Быть может, у Сары найдутся слова, благодаря которым эта история утрясется и наконец забудется.

Но Сара была занята. Она собрала бумажные тарелки и сложила их в бумажный пакет, потом она поднялась и вытряхнула одеяло, чтобы избавиться от крошек, и теперь она аккуратно складывала его пополам и еще раз пополам, чтобы отнести в дом.

— Боюсь, я не очень внимательно тебя слушала, Майкл, — сказала она, — потому что все, что ты говорил, кажется мне отвратительным. С тех пор как я тебя знаю, ты беспрестанно говоришь о безумии и о том, как ты «сходил с ума», и сначала это было понятно, потому что нам обоим страш-

но хотелось рассказать друг другу как можно больше о себе, но с тех пор прошли годы, а ты так и не остановился. Ты не прекращал, даже когда с нами жила Лаура, хотя уж в тот момент мог бы и сжалиться. И я в итоге стала воспринимать все эти разговоры как одну из твоих слабостей. Забавным образом тут сплетаются жалость к себе и мания величия, и я не знаю, чем это может привлекать, даже и в виде стихотворения.

Она направилась к дому, и Майклу ничего не оставалось, как сидеть с теплой пустой банкой и смотреть, как она уходит. По дороге она остановилась в траве, наклонилась и подхватила на руки сына; вдвоем они казались абсолютно самодостаточными.

По мнению сразу нескольких американских журналов, матери-одиночки превращались в новый американский идеал. Они отважные, гордые, изобретательные; в строго традиционном обществе их особые «цели» и «потребности» могли бы осложнить им жизнь, но сегодня, когда времена меняются, они могут найти живые, более открытые сообщества. Например, округ Марин в Калифорнии уже приобрел широкую известность в качестве живого и привлекательного прибежища для недавно разведенных молодых женщин,

у многих из которых есть дети, как, впрочем, и для увлеченных, ухватистых и удивительно приятных молодых людей.

Сидя на одном из оранжевых стульев перед кабинетом доктора Макхейла, Майкл обнаружил, что у него потеют ладони. Он вытер их досуха о брюки, но через минуту они снова стали влажными.

— Мистер Дэвенпорт?

И, поднявшись, чтобы пройти в кабинет, Майкл удостоверился, что первое впечатление его не обмануло: Макхейл был все такой же учтивый и преисполненный собственного достоинства, все такой же устроенный и очень семейный человек.

— Я не по поводу своей дочери, доктор, — сказал он, когда они сели к столу за плотно закрытой дверью. — С дочерью уже все в порядке, — по крайней мере, я так думаю. Или, вернее, надеюсь. Я по другому поводу. По поводу самого себя.

— Да?

— И пока мы не начали, мне хотелось бы сказать, что я никогда не верил в вашу профессию. Мне кажется, Фрейд был дурак и зануда, а то, что вы называете «терапией», — тяжелый случай шантажа и жульничества. Я пришел только по-

тому, что мне нужно с кем-нибудь поговорить, и потому, что этот кто-то должен быть человеком, который будет держать язык за зубами.

— Что ж… — Лицо доктора выражало спокойствие и профессиональную готовность слушать. — В чем проблема?

И Майкл будто шагнул в пустоту.

— Проблема в том, — сказал он, — что мне кажется, жена собирается от меня уйти, и мне кажется, что от этого я сойду с ума.

Глава седьмая

Когда Майклу исполнилось пятьдесят два, его сознанием целиком завладела мысль об отъезде из Канзаса и возвращении домой; теперь она всплывала во всех его разговорах. При этом его представления о доме не имели ничего общего с Нью-Йорком; он постоянно это подчеркивал. Ему хотелось назад в Бостон и Кембридж, где все ожило для него после войны, и он чувствовал, что больше не в силах ждать перелома, после которого сможет уехать.

Сара часто говорила, что «было бы интересно» пожить в Бостоне, чем очень воодушевляла его, хотя иногда она произносила эти слова с каким-то отсутствующим видом.

— То есть это вовсе не обязательно должен быть Гарвард, — несколько раз объяснял он ей. — В другие места заявки я тоже разослал; кто-то обязательно должен откликнуться. Пойми меня правильно: я не прошу больше, чем я заслуживаю. Я заслужил этот переезд. Здесь у меня все получается, я хочу более интересную работу, и я достаточно уже пожил, чтобы знать, где мое место.

Пол Мэйтленд мог сколько угодно растрачивать свою жизнь и свой талант в посредственности Среднего Запада, но виноват в этом, как и в намеренной вялости, стоявшей за отказом от спиртного, был только сам Пол Мэйтленд. Другим для жизни и реализации таланта нужна живая среда, и потребность в этой живой среде подтверждалась в том числе и тем, что с тех пор, как Сара приглушила его интерес к стихотворению про Бельвю, он не написал вообще ничего.

И все же в глубине души он понимал причину всего этого ажиотажа: так это или не так, но у него возникло чувство, что если бы ему удалось увезти Сару в Бостон, у него было бы больше шансов удержать ее при себе.

Каждый день он затаив дыхание отправлялся за почтой к большому жестяному ящику, стоявшему у съезда с шоссе, и как-то утром он обнаружил в нем письмо, которое, похоже, все меняло.

Письмо было от декана факультета английской литературы Бостонского университета и содержало ясное и безусловное приглашение на работу. Впрочем, там имелось еще одно предложение, из-за которого Майкл запрыгал от радости и побежал домой, на кухню, где Сара мыла посуду после завтрака, — и, когда он поднес дрожавшее

в его руке письмо к ее удивленному лицу (быть может, поднес слишком близко), именно от этого предложения у него затряслись коленки и распрямилась спина:

> И совершенно отдельно от всех этих деловых вопросов позвольте мне сказать, что я всегда считал «Если начистоту» одним из лучших стихотворений, написанных в этой стране после Второй мировой войны.

— Что ж, — сказала она. — Это очень приятно… очень приятно, правда?

Конечно, это было приятно. Расхаживая по гостиной, он должен был прочитать это предложение еще раза три, прежде чем поверить, что это правда.

Потом в дверях появилась Сара с посудным полотенцем в руках.

— Я так понимаю, что теперь по поводу Бостона все уже решено, да? — сказала она.

Да, все решено.

Но ведь у этой именно девушки «мурашки побежали по коже» и она же расплакалась, дойдя до последних строк этого стихотворения; теперь она была абсолютно спокойна и ничем не отли-

чалась от любой другой хозяйки, обдумывающей практическую сторону переезда в другой город, и он не знал, как это превращение понимать.

— Что ж, хорошо, — сказал доктор Макхейл. — Иногда перемена места очень помогает. Возможно, после переезда вам удастся увидеть свою семейную ситуацию в новой перспективе.

— Да, — сказал Майкл. — Именно новой перспективы мне и хочется. И может, еще ощущения какого-то нового начала.

— Именно.

Но Майклу уже давно надоели эти еженедельные сессии. Он всегда чувствовал себя неловко и всегда ощущал их бесполезность. Все время было видно, что доктору совершенно на тебя насрать, — с чего тогда он должен был относиться к нему как-то иначе?

Чем занимался этот отдельно взятый канзасский семьянин, когда приходил вечером домой? Усаживался на диван перед телевизором — может, с детьми-подростками по бокам, с одним или двумя из тех, у кого не нашлось занятия поинтереснее, чем сидеть рядом с ним? Приносит ли жена попкорн? И он, наверное, загребает полную ладонь и жадно ест? А когда то, что он смотрит, полностью завладевает его вниманием, рот у

него, наверное, расслабляется и слегка приоткрывается в голубоватом мельтешении телевизора? И по подбородку стекает, наверное, ручеек растаявшего масла?

— Что ж, в любом случае, доктор, я очень вам благодарен за помощь и за время, которое вы мне уделили. Думаю, до отъезда консультации мне больше не понадобятся.

— Хорошо, — сказал доктор Макхейл. — Удачи.

В аэропорту в день его отъезда Сара была в смутном, слегка отрешенном настроении. Он уже видел ее такой — по утрам, после нескольких стаканов виски накануне; это было легкое похмелье, всегда исчезавшее после дневного сна, но для прощаний такое состояние едва ли можно считать подходящим.

Она гуляла по огромному залу с сыном, который шагал рядом, схватив ее за палец, и ушла от него очень далеко. Казалось, ей страшно интересно все вокруг, как будто раньше она никогда не была в аэропортах, и туда, где он стоял со своим билетом, она вернулась с такими словами:

— Знаешь, что прикольно? Расстояние больше не имеет никакого значения. Как будто географии вообще нет. Ты просто некоторое время дремлешь и паришь в герметичном салоне — не

важно даже сколько, потому что время тоже значения не имеет, — а потом вдруг понимаешь, что ты уже в Лос-Анджелесе, или в Лондоне, или в Токио. И потом, если тебе не нравится, где ты оказался, можно снова задремать и пуститься по воздуху, пока не окажешься где-нибудь еще.

— Ага, — сказал он. — Слушай, там, похоже, уже объявили посадку. Пока, дорогая. Как только смогу, позвоню, ладно?

— Ладно.

— Вероятно, вам эта книга покажется в своем роде переходной, Арнольд, — говорил Майкл своему издателю, когда они встретились за обедом в одном из нью-йоркских ресторанов. — Попыткой закрепиться на достигнутой высоте, если вы понимаете, о чем я.

И Арнольд Каплан кивнул терпеливо и вроде бы с пониманием, склонившись над вторым уже мартини. Его издательство печатало все предыдущие книги Майкла, все себе в убыток. Но поэтов, правда, печатают не совсем ради прибыли; если за этим и был какой-то мотив, то он состоял в том, что какое-нибудь коммерчески успешное издательство захочет выкупить его вместе со всеми его долгами. Это был несколько странный подход к делу; все это знали.

Теперь Майкл начал объяснять, что он еще способен на большие вещи, может рискнуть по-крупному и оправдать этот риск, но Арнольд Каплан уже не слушал.

Много лет назад, когда они вместе учились в колледже, Арнольд Каплан тоже был «от литературы». Арнольд Каплан не меньше других работал над тем, чтобы заговорить на бумаге собственным голосом и сказать этим голосом что-то важное. И сейчас в подвале его дома в Стэмфорде, штат Коннектикут, стояли на полу три наполненные старыми рукописями коробки: сборник стихов, роман и семь рассказов.

Причем их нельзя было назвать плохими. Это были вполне достойные вещи. Эти вещи любой прочитал бы с удовольствием. Почему тогда Арнольд Каплан не пустил в печать ни единого своего слова? В чем суть?

На работе его называли теперь старшим вице-президентом; денег он зарабатывал больше, чем мог мечтать в детстве, но цена этих денег состояла в том, что слишком много времени ему приходилось проводить вот так — разоряться на представительских расходах и делать вид, что слушаешь этих скучных, быстро стареющих трудяг типа Дэвенпорта.

— Но мне бы не хотелось, чтобы ты думал, что это некачественная книга, Арнольд, — продолжал Майкл. — В целом я ею доволен. Если бы я был недоволен, я не стал бы тебе ее показывать. Мне кажется, она очень… крепкая. Жене она тоже понравилась, а жена у меня строгий критик.

— Хорошо. И как у Люси дела?

— Нет, — сказал Майкл, нахмурившись. — Мы с Люси давно развелись. Я думал, ты об этом знаешь, Арнольд.

— Может, я знал, но просто забыл; такое иногда бывает. Значит, теперь у тебя другая жена.

— Да. Да, и она очень хорошая.

Ели они немного — на таких обедах особенно наедаться не принято, — и, когда официант унес их грязные тарелки, они оба замолчали, обмениваясь время от времени лишь вежливыми замечаниями.

— И как ты едешь в Бостон, Майк? Поездом или самолетом?

— Думаю, возьму напрокат машину, — сказал Майкл, — потому что по дороге хочу заехать к старым друзьям.

В прокате ему выдали большую желтую машину, которая шла по дороге с такой легкостью, что казалось, сама собой управляет, и по ходу этого

неземного путешествия он быстро обнаружил себя в округе Патнем.

— Нет, мы одни дома, — сказала по телефону Пэт Нельсон, — и мы будем очень рады тебя видеть.

— Классная тачка, папаша, — сказал Том Нельсон, когда Майкл подкатил на желтой машине к дому и вылез. — Шикарные колеса. — И только после этого подошел, чтобы пожать руку.

Он постарел, глаза сузились, на лице проступили морщины, но, наверное, именно так он всегда и хотел выглядеть. Давно, когда ему еще не было тридцати, какой-то поклонник снял его на улице в хмурую погоду — на этой фотографии в его молодом лице странным образом проявились черты зрелого возраста, и Том увеличил ее и повесил на стене у себя в студии.

— Что это? — спросил его тогда Майкл. — Зачем выставлять напоказ собственные изображения?

И Том сказал только, что она ему нравится; нравится, что она там висит.

Пока они шли к дому, Майкл заметил, что Том приобрел еще один маскарадный костюм: настоящую армейскую летную куртку, какие делали только в начале сороковых. Теперь он, должно быть, прошелся уже по всем родам войск.

Когда Пэт вошла, улыбаясь, в гостиную и направилась к нему с распростертыми руками («Ах, Майкл!»), он подумал, что она поразительно хорошо выглядит — лучше даже, чем выглядела в молодости. Немного везения, денег и в первую очередь хороший скелет — и женщина вообще не стареет.

С первым виски в руках они удобно расселись по диванам и креслам, и разговор завязался сам собой. Дела у сыновей Нельсонов шли «прекрасно», хотя все четверо уже выросли и уехали из дому. Отец особенно гордился старшим; тот стал профессиональным джазовым барабанщиком («У этого проблем с профессией вообще не было»), двое других тоже занимались чем-то достойным; когда Майкл спросил, как поживает ровесник Лауры Тед, родители опустили глаза и, казалось, не знали, что сказать.

— У Теда, — начала Пэт, — были проблемы. Не мог найти себя. Но сейчас все вроде бы устаканилось.

— Ну да, у Лауры тоже был трудный период, — сказал Майкл. — Уоррингтон ей не понравился, на какое-то время ее совсем далеко занесло, но потом довольно быстро все пошло на лад, и в Биллингсе дела у нее идут прекрасно.

Том уставился на него с добродушным недоумением:

— Где у нее дела идут прекрасно? В Биллингсе?

По его интонации можно было догадаться, что он решил, будто Биллингс, наряду с «расчетами с поставщиками», «обработкой данных» или «отделом кадров», был одним из отделов в чистеньком, хорошо отлаженном офисе какой-нибудь фирмы, которая дала заблудшей девочке тихую гавань торговой работы[88].

— В Государственном университете Биллингса, штат Канзас, — объяснил ему Майкл. — Высшее учебное заведение, между прочим. Можно даже сказать, что это нечто вроде Гарварда или Йеля, только с прериями и странным запахом, который каждый день приносит со скотоводческой фермы. В этих ебенях я зарабатываю себе на жизнь.

— Ага, теперь понятно. А Лаура там учится, так я понимаю?

— Так, — сказал Майкл, и ему стало стыдно.

В этом доме ему совершенно не хотелось разыгрывать из себя изгнанного к черту соседа-неудачника.

— Мы теперь совсем не встречаемся с Люси, —

---

[88] Примечания: 88
Billing (англ.) — выписывание счета-фактуры.

сказала Пэт. — Даже известий никаких от нее не получаем. Ты не знаешь, как она? И что она делает в этом своем Кембридже?

— Ну, не думаю, что она обязательно должна что-то «делать», — ответил он. — Ей никогда не нужно было зарабатывать, сама понимаешь. И никогда не нужно будет.

— Нет, это я знаю, конечно, — сказала Пэт с нетерпением, как будто его замечание показалось ей хамским. — Но здесь она все время чем-то занималась. Годами. Я никогда не видела такой энергии и целеустремленности или такого упорства. В любом случае обещай, что передашь ей от нас огромный привет, если ее увидишь.

И Майкл обещал. Потом Пэт ушла на кухню «приглядеть за ужином», и они с Томом пошли в студию — побродить и пообщаться.

— Люси едва ли не все перепробовала, — сказал Том и поднял облаченные в летную куртку плечи, чтобы на ходу засунуть руки в карманы брюк, как сделал бы, вероятно, настоящий летчик, обсуждая не слишком удачный боевой вылет. — Я имею в виду все, что касается искусства. Кроме музыки и танцев, но там, как я понимаю, надо начинать, когда ты совсем молодой. Пыталась играть на сцене, пыталась писать, пыталась за-

ниматься живописью. Отдавала этому всю себя, жутко старалась — только из-за этой ее живописи я оказался в несколько неловком положении.

— То есть как «в неловком положении»?

— Ну, потому что она попросила меня оценить ее работы и я ничего не смог о них сказать. По ходу дела я придумал, за что ее можно похвалить, но она на это не купилась. Было видно, как она разочарована, я чувствовал себя полным говном, но чем ей можно было помочь?.. И тогда я стал припоминать: если она не художник, то, может, и писательницы из нее не вышло? И актрисы тоже не получилось? И знаешь, Майк, может, это прозвучит жестко, но кругом дикое количество женщин, которые бросаются от одного к другому и пробуют, пробуют, пробуют. Мужики тоже такие попадаются, но у мужиков, похоже, больше возможностей в жизни, или они хотя бы не так серьезно к этому относятся. А женщин жаль до невозможности. И ведь они все в основном хорошие, живые, замечательные — вовсе не идиотки, — и они пытаются и пытаются, пока в голове у них все не перемешается или пока не устанут до такой степени, что готовы вообще все бросить. Иногда хочется обнять такую женщину и сказать: «Слушай, дорогая, да не усердствуй ты

так! Зачем тебе это надо? Никто же не говорит, что ты обязана всем этим заниматься». Ладно, ну его на фиг; не совсем то, что я имел в виду, но что-то вроде.

— По-моему, ты отлично сказал.

Все трое, как на вечеринке, старались как можно быстрее расправиться с легким ужином: им хотелось вернуться обратно в гостиную, где у них будет бренди и кофе и еще полтора-два часа разговоров, — а Пэг Нельсон, очевидно, хотелось говорить только о Люси.

— Чего я никогда не могла в ней понять, — сказала Пэт, снова усевшись на диване, — так это ее веры в психиатрию — то, как она ей доверяла, как на нее полагалась. Было такое впечатление, что психиатрия для нее почти как религия, было понятно, что любое пренебрежительное замечание или шутка будет воспринята как богохульство. Иногда мне страшно хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть и сказать: «Но ты же слишком умная для таких вещей, Люси. Ты же слишком живая и веселая, чтобы возиться со всей этой унылой фрейдистской канителью».

— Ага, — сказал Майкл.

— Нет, постой; постой. — Пэт повернулась к мужу. — Как звали этого халтурщика, поп-психо-

лога, — спросила она, — который разбогател на этом еще в пятидесятые?

— «Как любить» ты имеешь в виду? — спросил Том, пытаясь помочь, но подсказывать фамилию автора пришлось в итоге Майклу:

— Дерек Фар.

— Точно, Дерек Фар.

И Пэт еще глубже зарылась в диванные подушки. Казалось, то, что она собиралась сообщить о Люси, доставляет ей едва ли не чувственное наслаждение, и Майкл смотрел на нее с опаской. Но в то же время он ощутил уже приятную, отдающую привкусом бренди отчужденность — абсолютную невосприимчивость по отношению к этим двум старым друзьям, которые, быть может, никогда друзьями и не были, — так что он был готов.

— В общем, — начала Пэт, — приходит как-то вечером Люси, вся запыхавшаяся, вся сияющая, и сообщает, что она только что полчаса проговорила по телефону с Дереком Фаром. Она сказала, что долго, очень долго пыталась узнать его телефон и что, когда она позвонила, ей было так неловко, что поначалу она могла только извиняться, но он помог ей, сказав что-то очень приятное и обнадеживающее этим своим милым голосом. Как она

сказала, какой у него был голос, а, Том?

— Сочный, мне кажется.

— Точно. Очень сочным голосом. И потом он спросил, что у нее за проблема.

— Ну, ты знаешь Люси, — сказала Пэт с лукавой улыбкой старой подруги. — В это она нас посвящать не стала; это она пропустила. Она всегда была очень сдержанным, закрытым человеком. Но она сказала, что не может понять, каким образом ему удавалось реагировать на все, что она говорила, с таким «редким, интуитивным пониманием», — так и сказала. Ну, может, в моих устах все это звучит не слишком доброжелательно, — признала Пэт, — и ты должен понимать, что она, наверное, выпила пару виски, прежде чем прийти к нам, но все равно я никогда не забуду, к какому выводу она тогда пришла. Она сказала: «Дерек Фар за полчаса объяснил мне про меня саму больше, чем мой собственный психотерапевт за одиннадцать лет».

Майкл не мог понять, должен он на это улыбнуться, или нахмуриться, или печально покачать головой; впрочем, ни одна из этих реакций не была ему по душе, поэтому он слегка подался вперед в своем кресле и сосредоточенно приложился к стакану.

Пожалуй, пора было ехать дальше. Теперь он не сразу мог вспомнить, зачем он вообще решил сюда заехать. Наверное, ему хотелось, чтобы Том знал, что он все еще жив. И если бы разговор сегодня пошел чуть иначе, он воспользовался бы любой возможностью, чтобы сообщить Тому Нельсону, что сказал о его стихотворении человек из Бостонского университета.

— Ты уверен, что не хочешь переночевать? — спрашивала Пэт. — Места много, и нам бы очень хотелось, чтобы ты остался; потом бы поехал утром на свежую голову. Или мог бы еще остаться до вечера, если появится такое желание; познакомился бы с нашими новыми замечательными друзьями, которые живут здесь рядом. Они типа знаменитости, так что невозможно о них говорить, не создавая впечатления, что соришь именами. Ральф Морин с супругой, знаешь? «Блюз в ночи»?

— Вон оно что! Вообще-то, я их знаю. Его видел только один раз, а с ней был знаком много лет.

— Да что ты говоришь! Ну тогда ты просто должен остаться. Приятные люди, правда? Она совершенно чудесная. Поразительное создание.

— Это точно.

— Прозвучит, конечно, глупо, — сказала Пэт, —

но я правда думаю, что красивее лица, чем у нее, я никогда не видела. Да и вся ее манера в целом: то, как она держится, как подает себя, как завораживает всех вокруг, как только появляется в комнате.

— Ага, — сказал Майкл. — Совершенно согласен. И вот что забавно: стоило мне ее увидеть, я тут же понял, что погиб. Я знал, что буду всю жизнь ее любить — каким-то странным, совершенно бессмысленным образом.

— Да, и такая молодая, — сказала она. — Такая свежая и неиспорченная.

— Ну, — благодушно уточнил он, — не такая уж и молодая. Да вообще уже не молодая, Пэт; все мы уже не молоды.

И она посмотрела на него с таким недоумением, что он тоже пришел в замешательство. После чего она сказала:

— Нет-нет. Ты, наверное, имеешь в виду эту ненавистную первую жену. А я имею в виду Эмили Уокер, понимаешь? Актрису.

Секунды две или три Майкл пытался переварить эти сведения. Потом он спросил:

— И откуда взялось, что она «ненавистная»?

— Ну, Ральф не может вспоминать о ней без содрогания — а это само по себе много о чем го-

ворит, — и он пару раз рассказывал, какая она «унылая». Он говорит, что брак, по сути, развалился за много лет до того, как он… ну, до того, как он ее бросил; и теперь она ежемесячно вытягивает у него какие-то гигантские суммы. В общем, подарком ее никак не назовешь.

— Ну хорошо, ладно; а он случайно не говорил вам, что она сестра Пола Мэйтленда?

Ошарашенные, Нельсоны бессмысленно переглянулись и снова обратились к Майклу, и Том риторически воскликнул:

— Вот те раз!

— Мы страшно полюбили Мэйтлендов, — объясняла Пэт, — но ты же знаешь, что мы общались с ними только год или два, а потом они уехали, так что сейчас уже и не вспомнить, говорил ли Пол, что у него вообще есть сестра.

— Нет, он говорил, дорогая, — сказал Том. — Он довольно много о ней говорил. Он даже один раз приглашал нас с ней познакомиться, когда она приезжала к нему с детьми, но мы в тот день не смогли. Только, что самое смешное, у меня всегда было впечатление, что она замужем за каким-то упертым мелкотравчатым режиссером из Филадельфии. — И потом, задумавшись на секунду, пробормотал: — Сукин сын.

— Ну, — сказал Майкл, — иногда требуется некоторое время, чтобы по-настоящему познакомиться.

Пока он собирался, они только что не носили его на руках: достали из стенного шкафа его плащ, включили для него свет на веранде, пошли вместе с ним к машине ради ритуального рукопожатия и скромного ритуального поцелуя. Складывалось впечатление, что Нельсонам хотелось извиниться, только они не знали за что. По выражению их лиц было понятно, что они, скорее всего, так и не придут в себя, пока он не уедет.

Должно быть, через час, уже на бостонской магистрали, большая желтая машина тревожно вильнула на дороге. Орудуя рулем, чтобы выровнять ход, он услышал в пустоте собственный разъяренный голос:

— Да, и вот еще что. Еще одна вещь, Нельсон. Думаю, лучше тебе прямо сейчас снять эту куртку, понял? Потому что, если ты эту летную куртку не снимешь, я с тебя ее сам, бля, сорву. А потом еще съезжу для верности по морде.

Глава восьмая

Единственным неудобством, которое Майкл обнаружил в своем номере в отеле «Шератон коммандер» в Кембридже[89], оказалось большое, в полный его рост, зеркало. Хмурился он или улыбался, сутулился или держался прямо, изображение пятидесятитрехлетнего мужчины никуда не девалось. Когда он выходил голым из душа, оно все время застигало его врасплох — привет, старикан! — после чего он чувствовал острую необходимость поскорее одеться. Что сказать про ноги, которые не могут уже крутить педали велосипеда? Какая красота в этой развалине, которая когда-то выступала на ринге в среднем весе? Когда он говорил по телефону, то периодически не выдерживал и оборачивался к зеркалу, чтобы взглянуть на старика, который разговаривает по телефону.

Он звонил Саре каждый день, даже когда никаких новостей не было, и ждал этих звонков с

---

[89] Примечания: 89

Построен в 1927 г. в самом центре Кембриджа, на Гарвардской площади. Название объясняется тем, что рядом, в прилегающем к площади парке, 3 июля 1775 г. Джордж Вашингтон принял командование Американской континентальной армией.

таким волнением, как будто ее голос мог спасти ему жизнь.

На четвертый или пятый день он уже начал набирать канзасский номер, как вдруг вспомнил, что не должен звонить до пяти, когда начинают действовать сниженные междугородные тарифы: вчера он уже сделал эту ошибку, и Сара мягко отругала его за лишние фаты. И он стал ждать, сидя у кремового телефонного столика и от нечего делать то и дело оглядываясь через плечо на сгорбленного, томящегося ожиданием старика.

Немного погодя и вроде бы исключительно ради того, чтобы убить время, он снял с полочки местный телефонный справочник, пролистал до буквы «Д» и стал изучать список Дэвенпортов, пока не дошел до Люси.

Она приятно удивилась, услышав, что он в городе («Я думала, это ты из Канзаса»), но, когда он пригласил ее пообедать с ним вечером, она на пару секунд задумалась, потом сказала:

— Хорошо, почему бы нет? Может получиться неплохо. В семь?

И, уже повесив трубку, он порадовался, что поддался порыву и позвонил ей. Это действительно может выйти неплохо. Если у них получится вести себя обходительно и осторожно по отно-

шению друг к другу, быть может, он найдет, как заговорить о том, что ему уже многие годы хотелось о ней узнать.

Тут он посмотрел на часы: уже можно было звонить в Канзас, и через минуту он снова разговаривал с Сарой.

— Боюсь, по поводу квартиры мне по-прежнему нечего тебе сообщить, — сказал он.

— Я, в общем, ничего и не ждала, — ответила она. — Ты ведь пробыл там всего несколько дней.

— Я поговорил уже, наверное, с десятком агентов, и ни один не смог мне толком ничего предложить. Ну и помимо всего этого, у меня пока что много времени уходит на колледж — устраиваюсь на работу.

— Конечно. Все правильно. Никакой спешки нет.

— Я, кстати, познакомился сегодня с начальником. Ну, с тем, который написал это замечательное письмо. Забавно: я думал, он старше — мне всегда кажется, что люди, которые хвалят мои вещи, должны быть старше меня, — но этому не больше тридцати пяти. Впрочем, он очень приятный, очень радушный.

— Что ж, — сказала она, — прекрасно.

— Так что, наверное, большинство моих читателей будут теперь моложе меня самого, а может, они давно уже моложе меня. Если, конечно, у меня вообще остались какие-то читатели.

— Ну конечно остались, — сказала она, и по усталости, с которой прозвучала эта фраза, он понял, что он и раньше слишком часто требовал от нее такого рода заверений.

— Как бы то ни было, остаток этой недели я смогу полностью посвятить поискам квартиры, и следующую неделю тоже, потом, если в городе так ничего и не найдется, начну пробовать пригороды.

— Ладно. Вообще-то, никакой спешки нет. Ищи сколько нужно будет. Мне здесь очень удобно.

— Я знаю, что тебе удобно, — сказал он, и телефонная трубка в его руке стала влажной и скользкой. — Я знаю, что тебе удобно. Зато мне неудобно. Я на самом деле в отчаянии, Сара. Я хочу привезти тебя сюда, пока…

— Пока — что?

— Пока я тебя не потерял. Хотя, может, я тебя уже все равно потерял.

И он не мог поверить, как долго она молчала. Потом она заявила:

— Забавно ты это выразил, тебе не кажется?

Разве можно «потерять» другого человека? Разве так бывает?

— Именно так и бывает. Клянусь твоей сладкой попкой, что именно так и бывает.

— Начать с того, что это подразумевало бы право собственности на другого человека, что бред. Я бы, скорее, считала, что каждый человек, по существу, одинок, и поэтому в первую очередь мы ответственны перед самими собой. Мы должны сами устраивать собственную жизнь изо всех сил.

— Ну да, только ты меня послушай: не знаю, что за чушь ты все время читаешь, Сара, но я эту феминистскую дурь терпеть больше не собираюсь. Ясно? Хочешь общаться на этом жаргоне — найди себе парня своего возраста. Я для этого слишком стар. Я слишком много пожил и слишком много знаю. Слишком много знаю. Теперь. Мне хотелось бы поднять еще один вопрос в этом нашем милом разговорчике. Будешь слушать?

— Разумеется.

Но чтобы заговорить снова, ему пришлось дождаться, пока успокоится сердце и легкие снова начнут дышать.

— Не так уж и давно, — начал он тихо, в едва ли не театральной манере, — ты говорила, что мы,

по твоему мнению, созданы друг для друга.

— Да, я помню, как это сказала, — ответила она. — И когда я это сказала, я сразу же поняла, что рано или поздно ты мне об этом напомнишь.

В наступившем на этот раз молчании можно было утонуть — настолько оно было глубоким.

— Бля, — сказал он. — Ой бля.

— В любом случае с Бостоном придется некоторое время подождать, — сказала она, — потому что я хочу свозить Джимми в Пенсильванию и провести несколько недель с родителями.

— Бля. Сколько недель?

— Не знаю; две, может, три. Мне нужно побыть одной, Майкл; в этом все дело.

— Ну да, — сказал он. — Ладно, как тебе такой сценарий: проводишь три недели в Пенсильвании, потом снова садишься в самолет, засыпаешь и паришь, пока он несет тебя в округ Марин, штат Калифорния.

— В какой округ?

— Да ладно тебе. Ты знаешь. Все знают. Это самое сексуальное место в Америке. Там собираются матери-одиночки, чтобы встречаться с мужчинами. Тебе там понравится. Там ты сможешь каждую субботу ложиться под нового мужика. Там ты сможешь…

— Я не собираюсь это слушать, — сказала Сара, — и больше не хочу разговаривать. Майкл, мне не хотелось бы бросать трубку, но я брошу, если ты сам первый ее не повесишь.

— Ладно, прости меня. Прости.

Бог мой! Бог мой! Это было уже слишком.

Он снова молча сидел в одиночестве перед телефонным столиком, зная, что все, что он сказал, было неправильно. Неужели он так и будет всю жизнь ругаться? Неужели жизнь так ничему и не научила его за эти пятьдесят три гребаных года?

На столике лежала стопка чистой бумаги с логотипом «Шератона», рядом белая ручка с тем же логотипом, и эти простейшие орудия его ремесла были единственными доступными ему утешениями.

Иногда полезно записать собственные мысли, чтобы лучше в них разобраться. Он склонился над столом и со спокойствием и степенностью профессионала написал следующее:

> Не терзай меня, Сара. Либо ты приедешь сюда и будешь жить со мной, либо нет, и тебе нужно принять это решение.

Вроде бы все было правильно; вроде бы он нашел верный тон; может даже, это был тот случай,

когда первый же набросок получается настолько удачным, что дальнейшая редактура уже не требуется.

Люси Дэвенпорт, как выяснилось, жила в одном из старых деревянных домов, считавшихся сокровищами на рынке кембриджской недвижимости, как, в общем-то, и подобало женщине, у которой было не то три, не то четыре миллиона. Но когда она открыла ему дверь, он подумал сначала, что выглядит она совсем плохо: худая, седая и что-то не так у нее со ртом.

Правда, довольно скоро, когда они сели друг напротив друга в более ярком свете, он увидел, что со здоровьем у нее все, должно быть, прекрасно. Странные мелкие складки вокруг рта, которые он заметил в дверях, были вызваны, скорее всего, приступом застенчивости или тем, что она не знала, какую из нескольких своих улыбок она должна была продемонстрировать при встрече с ним (официальную? сдержанную? дружелюбную? ласковую?), и в итоге, в момент волнения, попыталась изобразить все разом. Но теперь рот, как и все остальное, был у нее под контролем, а все остальное — худоба членов, аккуратно уложенные седые волосы и тип лица, которое обычно называют «правильным», — легко объяс-

нялось тем, что ей было уже сорок девять лет.

— Очень хорошо выглядишь, Люси, — сказал он, и она ответила, что он тоже хорошо выглядит.

Неужели именно так пытаются избежать молчания давно разведенные супруги, начиная свой неуверенный обмен репликами?

— Боюсь, не могу предложить тебе выпить, Майкл, — сказала она. — Я уже много лет не держу в доме ничего крепкого; есть, правда, белое вино. Не откажешься?

— Нет, конечно. С удовольствием.

И пока она была на кухне, он стал осматриваться. Потолки были высокие, комната просторная, с изрядным количеством окон, как и должно быть в доме у богатой наследницы, только почти пустая: стол, диван и минимальное количество других мест для сидения. Потом он заметил, что все шторы разные. Все были подрублены на одну длину и все подвязаны лентами, сделанными из той же ткани, что и сама штора, но двух одинаковых среди них не было. Штора в красно-белую полоску на одной стороне окна сочеталась с синей в горошек на другой стороне; на следующем окне ситцевой занавеске в яркий цветочек была противопоставлена грубая ткань овсяного цвета — и так на каждом окне по всей комнате. Если

бы он был посторонним, особенно ребенком, подумал бы, что здесь, скорее всего, живет какая-то сумасшедшая.

— А в чем идея с этими занавесками? — спросил он, когда она вернулась в гостиную с двумя бокалами вина.

— А, ты об этом, — сказала она. — Я уже сама немного от них устала, но, когда я сюда только въехала, идея мне показалась интересной: чтобы все намеренно друг с другом конфликтовало. Понимаешь, идея была не в том, что я какая-то эксцентричная или что я веду богемный образ жизни. Это как бы пародия на подобные интерпретации.

— Пародия? Не понимаю.

— Ну, не знаю. Тут вовсе не обязательно что-либо понимать, — сказала она с каким-то нетерпением, как будто порицала туповатого собеседника, считающего, что в каждом рассказе обязательно должна быть мораль. — И все-таки мне кажется, что все это сделано из какой-то чрезмерной застенчивости. Так что я, вероятно, повешу в конце концов нормальные шторы.

Ей хотелось узнать, как поживает Лаура, и он рассказал, как замечательно они провели время в прошлом году, когда Лаура пришла в гости еще

с тремя девочками.

— …И под конец они уже сидели на полу, хихикали над какими-то своими шутками по поводу мальчиков и еще каких-то секретов, и я готов тебе поклясться, что среди них не было «крутых» или «прихиппованных» и никто особо не умничал. Просто девчонки, которые дурачатся вместе, потому что им так нравится, и ведут себя немного по-детски, потому что им надоело изображать из себя взрослых.

— Что ж, — сказала Люси, — это обнадеживает. Я, правда, не очень понимаю, в чем смысл магистратуры. И почему в Канзасе? И почему в такой странной области, как социология?

— Думаю, главным образом потому, что она очень интересуется одним парнем на этом факультете, — объяснил он. — Собственно, так обычно девочки и поступают: идут туда же, куда и мальчики.

— Да, так, вероятно, и есть.

Потом она ушла за плащом, повесила его себе на палец и беспечно закинула за плечо, и он узнал в ней милую девочку из Рэдклифа, которая когда-то именно так ходила по городу.

Они прошли несколько кварталов, к ресторану «У Фердинанда», и по царившей внутри полутьме

было сразу понятно, что это одно из тех мест, где ни одно из указанных в меню блюд не стоит и половины своей цены, и, судя по тому, что метрдотель обратился к ней с приветствием «Добрый вечер, Люси», она была здесь завсегдатаем.

— Раньше здесь всей этой голубизны не было, — сказал Майкл, когда ему принесли виски.

— Какой еще голубизны? — Судя по ее виду, она готова была поспорить.

— Да нет, — быстро проговорил он. — Я не имел в виду это конкретное место — просто теперь по всему Кембриджу атмосфера какая-то скользкая, ненатуральная. Всюду какой-то кэмп. Я то и дело натыкаюсь на кафе типа «Déjà Vu» или «Autre Chose». Как будто всему городу вдруг полюбились дурацкие идеи. И в Бостоне начинается то же самое.

— Стили меняются, — сказала она. — С этим ничего не поделаешь. Вечного сорок девятого нам тут не дадут.

— Ну конечно не дадут.

И он уже пожалел, что вообще завел этот разговор. Начало получилось не слишком приятное. Он опустил глаза и ни разу не взглянул на нее, пока она не заговорила первой:

— Как у тебя здоровье, Майкл?

— Душевное здоровье ты имеешь в виду? Или какое?

— И то и другое. Вообще.

— Ну, похоже, с легкими у меня не все в порядке, — сказал он, — но это уже не новость. А о том, чтобы сходить с ума, я даже и не думаю, потому что с ума тебя сводит страх, а потом в итоге сумасшествие не оставляет тебе ничего, кроме страха.

Ту же мысль он пытался донести до Сары во время их неудачного пикника, но на этот раз он, кажется, выразился яснее. А может, разница была в том, что по шторам у Люси в комнате он заподозрил, что она и сама, наверное, слегка сумасшедшая; или, может, — и это предположение было, наверное, ближе всего к истине — есть вещи, которые всегда проще обсуждать с человеком твоего возраста.

— Был момент, еще в Канзасе, — сказал он, — когда я думал, что из этого можно сделать стихотворение — высоколобое рассуждение по поводу безумия и страха, — но я эту идею забросил. Решил, что не буду. Очень уж отвратительным мне это все стало казаться. — И, только сказав «отвратительный», он понял, что это слово сказала тогда Сара. — И что самое смешное… — продол-

жал он, — самое смешное, что я, может, вообще не сходил с ума. Разве нельзя этого предположить? Может, Билл Брок той ночью был не просто немножко неадекватный; может, то, что он подписал эту бумагу, говорит больше о нем, чем обо мне? Не хочу на этом настаивать, но задуматься можно. И вот еще что: может быть, психиатры воображают о себе гораздо больше, чем следовало бы?

Люси, казалось, задумалась, но он не был уверен, что получит от нее какой-либо ответ, пока она не сказала;

— Думаю, я понимаю, что ты имеешь в виду. Я очень долго ходила к своему психотерапевту в Кингсли, а потом все это действительно показалось мне бессмысленным. Абсолютно бессмысленным.

— Отлично, — сказал он. — То есть я имею в виду, отлично, что ты меня понимаешь. — Потом он поднял над столом свой бокал. — Слушай… — и он подмигнул, чтобы она знала, что его предложение можно воспринимать как шутку, если ей так удобнее, — слушай, нахуй психиатрию, а?

Она очень недолго колебалась, а потом тоже подняла бокал и чокнулась с ним.

— Да, — сказала она без всякой улыбки. —

Нахуй психиатрию.

Уже лучше. Можно было даже сказать, что они друг с другом поладили.

Когда официант поставил перед ними тяжелые тарелки, Майкл решил, что теперь можно уже перейти к следующей теме:

— Что привело тебя сюда, Люси? Ничего, что я об этом спрашиваю?

— Почему бы тебе не спросить об этом?

— Ну, я просто имею в виду, что не хотел влезать в твою личную жизнь.

— Вот как! Думаю, я переехала, потому что воспринимала это как возвращение домой.

— Ага, у меня тоже здесь есть ощущение дома. Но в твоем ведь случае все не так, как у меня. Ты могла бы поехать куда угодно и делать…

— Ну да, ну да: поехать куда угодно и делать все, что мне заблагорассудится. Не знаю, сколько раз мне приходили в голову эти слова. Но теперь, видишь ли, все значительно упростилось, потому что денег у меня почти не осталось. Я пожертвовала почти все.

Сразу это было не переварить. Люси без денег? За все то время, что он ее знал, он представить себе не мог такое откровение: Люси без денег. И ему даже не хотелось думать, как сложилась

бы его жизнь, если бы у Люси с самого начала не было денег. Лучше? Хуже? Как знать?

— Бог мой, вот это да! Бог мой! — сказал он. — А могу я у тебя спросить, кому ты их пожертвовала?

— Я пожертвовала их «Эмнести интернешнл». — Она произнесла это название так гордо и так застенчиво, что он понял, как безмерно много эта организация для нее значит. — Ты знаешь, чем они занимаются?

— Очень примерно; только то, что читал в газетах. Но я знаю, что это достойная организация. То есть я имею в виду, нельзя сказать, что они занимаются ерундой.

— Нельзя, — сказала она. — Конечно нельзя. И я тоже стала активно в этом участвовать.

— В каком смысле «активно участвовать»?

— Ну, я участвую в работе нескольких комитетов, помогаю организовывать встречи и круглые столы, пишу для них множество пресс-релизов — такие вещи. Может быть, они отправят меня в Европу на пару месяцев; по крайней мере, я на это надеюсь.

— Хорошо. Это очень… очень хорошо.

— Понимаешь, мне эта работа нравится, — сказала Люси, — потому что она реальная. Ее нельзя

отрицать, от нее нельзя отмахнуться, или высмеять, или даже отобрать. В мире есть политические заключенные. Несправедливость и притеснения есть по всему миру. Когда занимаешься такой работой, ты ни на день не отрываешься от реальности, а со всем остальным, чем я пыталась заниматься, это было не так.

— Ну да, — сказал он. — Я слышал, ты много что перепробовала.

Она слегка подняла голову, лицо у нее мгновенно напряглось, и Майклу стало ясно, что говорить этого не следовало.

— Вот как! — сказала она. — Ты слышал. И от кого же ты это слышал?

— Всего лишь от Нельсонов. И мне показалось, что они на самом деле очень по тебе скучают, Люси; они очень просили меня передать тебе привет.

— Ах да! — сказала она. — Ну, они оба мастера подколоть, правда, эти Нельсоны? Подколоть — в смысле насмехаться, я имею в виду, и в смысле бесконечного жеманного флирта тоже. Сколько лет я не могла этого понять!

— Подожди-подожди. Откуда ты взяла эти «насмешки»? Не думаю, что над тобой хоть кто-нибудь мог насмехаться. Слишком ты крута для

этого.

— Да? — И глаза у нее сузились. — Может, поспорим? Тогда слушай: наверное, я никогда этого не показывала — и, пожалуй, это стоило мне немалых усилий, — но иногда, когда я оглядываюсь на свою жизнь, я не вижу там никого, кроме девочки из пансиона, которую все ужасно не любят, над которой все насмехаются, которую все задирают и у которой во всем мире есть только одна подруга — учительница рисования. Может, я даже никогда тебе не рассказывала про эту учительницу рисования, потому что многие годы это был мой секрет, и только потом, когда ты уже ушел, я попыталась написать об этом рассказ… Мисс Годдард. Забавная, тощая, одинокая девушка, немногим старше меня, очень яркая, очень застенчивая и, может даже, лесбиянка, хотя эта сторона вопроса мне тогда в голову не приходила. Но она говорила мне, что у меня прекрасные рисунки, и она искренне это говорила, и для меня это была такая честь, что я едва не теряла сознание. По вечерам мне одной во всей школе разрешалось приходить в квартиру мисс Годдард на рюмку хереса и английский бисквит, и это меня невероятно возвеличивало. Я чувствовала одновременно ужас и собственное величие;

можешь себе представить? Можешь представить более поразительное сочетание чувств для такого человека, как я? Единственное, чего я тогда хотела, — это как-то удостоиться, оказаться пригодной для участия в том, что мисс Годдард всегда называла «миром искусства». Какое печальное, вычурное выражение, если задуматься! «Мир искусства»! И раз уж на то пошло, можно заметить, что «искусство» само по себе — досадно ненадежное словечко, верно? В любом случае, думаю, мне бы хотелось предложить еще один тост, если ты не против.

И Люси подняла бокал на уровень глаз.

— Нахуй искусство, — сказала она. — Правда, Майкл. Нахуй искусство, а? Разве не смешно, как мы всю жизнь за ним гоняемся? Чуть не умираем, чтобы только приблизиться к тем, кто, по нашему мнению, его понимает, как будто это может хоть чем-то помочь; то и дело спрашиваем себя, возможно ли, что мы всегда были от него безнадежно далеки или даже что его вообще не существует? Потому что вот тебе интересное предположение: что, если его просто нет?

Он задумался или, скорее, сделал вид, что задумался, разыграв из этого небольшой, но весьма серьезный спектакль, решительно отказываясь

поднимать свой стакан.

— Ну нет, извини, дорогая, — начал он, тут же сообразив, что «дорогую» следовало бы из этого предложения убрать, — не могу поднять с тобой этот тост. Если бы я хоть раз решил, что его нет, я бы, думаю… даже не знаю… пустил бы себе пулю в лоб или что-то в этом роде.

— Нет, не пустил бы, — сказала она, опуская бокал на стол. — Ты бы первый раз в жизни расслабился. Бросил бы курить.

— Ладно, может быть. Слушай, вдруг ты помнишь длинное стихотворение, которое было в конце моей первой книги, сто лет назад?

— «Если начистоту».

— Да. Так вот, из-за этого стихотворения меня и пригласили в этот… как его… Бостонский университет. Человек написал мне письмо, чтобы сообщить. Он сказал… сказал, что, по его мнению, это одно из лучших стихотворений, написанных в этой стране после Второй мировой войны.

— Что ж… — сказала она, — что ж, это, конечно, очень… я очень горжусь тобой, Майкл.

И она быстро опустила глаза, вероятно смутившись, что сказала такую глубоко личную вещь, как «горжусь тобой», и он тоже в ответ смутился.

И вскоре они уже снова шли по Кембриджу,

стиль которого он перестал понимать, а теперь не стал бы даже исследовать, если бы ему удалось поселиться на бостонской стороне реки. Но ему было приятно идти рядом с такой симпатичной, храброй и прямолинейной женщиной — с женщиной, которая умела говорить откровенно, когда ей этого хотелось, и которая понимала укрепляющую ценность молчания.

Когда они дошли до ее дома, он подождал, пока она не найдет ключи, и потом сказал:

— Что ж, Люси, было очень приятно.

— Я знаю, — сказала она. — Мне тоже понравилось.

Он взял ее за плечо очень нежно и поцеловал в щеку.

— Будь здорова, — сказал он.

— Обязательно, — пообещала она, и в уличном свете он с трудом заметил, что глаза у нее заблестели. — И ты тоже, Майкл, ладно? Ты тоже.

Когда он пошел прочь в надежде, что она смотрит ему вслед, — неужели другим мужчинам тоже хочется, чтобы женщины смотрели им вслед? — ему пришло в голову, что за эти три часа он ни разу не подумал о Саре.

Ну ничего, скоро он снова будет думать только о ней. Слова, которые он записал на фирмен-

ном бланке «Шератона», так и лежат там на столе — «Не терзай меня, Сара» — и, вероятно, подверглись уже тщательному изучению со стороны какой-нибудь работающей в ночную смену горничной, которая зашла в комнату, чтобы приготовить ему постель.

Что за никчемная строчка! Слезливая, истерическая, горестная. «Не терзай меня, Сара» было ничуть не лучше, чем «Пожалуйста, не уходи» или «Зачем ты хочешь разбить мне сердце?». Разве люди говорят так в жизни? Или такие разговоры можно услышать только в кино?

Сара была слишком милой, чтобы обвинять ее в том, что она «терзает» мужчину; он всегда это знал. Но в то же время она никогда не была человеком, который позволит разрушить собственное будущее, и это он тоже прекрасно о ней знал.

Скоро, за пятнадцать тысяч миль отсюда, она будет перед сном приводить в порядок их канзасский дом: ребенок спит, телевизор погас и умолк, тарелки помыты и расставлены по местам. На ней будет, наверное, хлопчатобумажная пижама до колен, голубая, с узором из клубничек, — она всегда ему нравилась, потому что открывала ноги и потому что эта пижама значила, что она его жена. Он знал, как эта пижама пахнет. Она навер-

няка будет думать о том, что они наговорили друг другу по телефону сегодня днем, и маленькая вертикальная морщинка меж ее бровей углубится от замешательства.

До «Шератона» было еще далеко — сияющий красный логотип на крыше был отсюда едва различим, — но Майкл был не прочь пройтись; никто еще от этого не умирал. И он начал понимать, что в том, что он прожил уже полвека, были свои мелкие радости: сама твоя походка воспринималась на улице как знак того, каким умиротворенным и ответственным ты стал; никакой погони за эфемерными вещами больше не будет. Если носить приличную одежду и хорошие ботинки, будешь всегда выглядеть с достоинством независимо от того, есть оно у тебя или нет, и можно даже рассчитывать, что почти все будут называть тебя «сэром». Бар в отеле еще открыт; это хорошо, это значит, что Майкл Дэвенпорт сможет посидеть в его приглушенном свете наедине со своим скептицизмом и выпить перед тем, как подняться наверх.

Может, она приедет и будет жить здесь с ним, может быть, не приедет; имелась и еще одна кошмарная возможность; что она приедет и проживет здесь с ним совсем недолго, в духе

временной покорности, ожидая, когда окончательное решение не сделает ее свободной.

«…Каждый человек, по существу, одинок», — сказала она, и он начал понимать, сколько в этом правды. И, кроме того, теперь, когда он стал старше и когда он был дома, конец этой истории, похоже, уже не имел особенного значения.

О Ричарде Йейтсе

Послесловие переводчика

Ричард Йейтс — стилистически изощренный автор, но изощренность его выражается в удивительной простоте повествования. Его романы не блещут лексическим разнообразием, не отличаются интеллектуализмом, не играют с формой. В каждой книге он просто рассказывает историю: голые факты, редкие детали, кое-где — эмоции и реакции, иногда — параллели. Истории просты, линейны, почти исключительно биографичны. Но вес их всегда превосходит сказанное в словах, и средствами его нагнетания являются у Йейтса интонация и тонкая, едва заметная концептуализация детали.

Интонация передается конструкцией фразы, особым расположением частиц, пунктуацией. Продемонстрировать эту работу без множества примеров невозможно, но именно ее имеют в виду англоязычные критики, когда характеризуют Йейтса как безупречного стилиста и называют его тексты *fine writing*. Йейтс пишет длинными фразами, и едва ли не в каждой из них заключен

парадокс: из первой части грамматически следует (в силу значения союза, например) то, что по логике вовсе из нее не следует, и в этом логико-грамматическом сдвиге вдруг проглядывает эмоциональная правда. Сначала переводчику инстинктивно хочется разбить периоды на короткие предложения — просто потому, что грамматический строй английского не совпадает с грамматическим строем русского языка (а то и противоречит ему). Но стоит только так попробовать — и из текста пропадает не только Йейтс, но и смысл как таковой. На следующем этапе переводческих бдений одолевают попытки разъяснить лаконизмы (в полной мере присущие, как ни парадоксально это звучит, непомерно длинным предложениям) — и уже только потом понимаешь, что работа переводчика должна, очевидно, состоять в упаковке всех слоев смысла в гладкую, но странно будоражащую этой своей гладкостью фразу. Очевидно, именно в этом состояла и авторская работа.

Дополнительную трудность здесь создает литературно-историческая параллель, неизменно приходящая в голову каждому русскому (и не только русскому) читателю Йейтса: подтекстуальность, недосказанность его прозы, как,

впрочем, и чувство спокойного, обдуманного отчаяния, по преимуществу присутствующие в ней, приводят на ум Чехова. И Йейтс действительно на него похож. Другие реалии, другое время — но тот же пристальный взгляд, тот же построенный на поразительных, но как бы само собой разумеющихся нелепостях юмор, та же преодоленная горечь. Одна беда: Чехов по-русски писал совершенно иначе, чем Йейтс по-английски. Чехов укорачивал фразу, добиваясь от родного языка практически невозможного. Йейтс свою до невозможности удлинял и сращивал, противясь аналитичности английской речи. Написать Чехова не по-чеховски, но при этом по-русски довольно сложно.

Работу второго писательского инструмента Йейтса, концептуализированной детали — детали, по ходу повествования перерастающей в понятие, — на коротком отрывке проследить нельзя, но суть ее в следующем: упомянутая в бытовом контексте реалия позже (и всегда неожиданно) попадает в другой контекст, где выступает уже как средство для объяснения чего-то еще. На этом ее работа не прекращается, потому что при следующем упоминании она привносит в новую ситуацию уже оба смысла. С переводческой точки

зрения, можно обозначить это свойство йейтсовской прозы как терминологичность, потому что оно обязывает переводчика найти устойчивый эквивалент словесного выражения этой детали-понятия, иначе читатель ее попросту не узнает и проследить связь (и всю дальнейшую работу этого «макросинтаксиса») будет не в состоянии.

Постоянное внимание к непрерывному движению этих двух синтаксических слоев дает странные эффекты. Язык переводчика в какой-то момент необратимо перестраивается на йейтсовский лад, что делает совершенно невозможным «простой» (по меркам русского языка) рассказ о писателе. Как справится со своей задачей рассказ сложный — судите сами.

Издательская вечеринка в честь публикации шестого романа Ричарда Йейтса «Плач юных сердец» состоялась в нью-йоркском отеле «Плаза» в октябре 1984 года. К тому времени связь Йейтса с родным городом давно уже истончилась: с середины шестидесятых он бывал в Нью-Йорке лишь наездами, отчаявшись найти хоть какой-нибудь финансовый повод, чтобы обосноваться там постоянно; добиться же хотя бы литературной прописки в городе — посредством публикации в «Нью-Йоркере» — у него не получалось вот уже

тридцать лет. В начале восьмидесятых литературные расхождения во вкусах с редакторами лучшего еженедельника Америки печалили стремительно стареющего романиста куда больше, чем прочие жизненные неудачи. «Все, что я хочу, — это рассказ в гребаном „Нью-Йоркере“!» — кричат он своему агенту. Агент молчал, методично отсылал рассказы и получал неизменно вежливые отказы. Когда в «Нью-Йоркер» поступил седьмой из рассказов, позже составивших сборник «Влюбленные лжецы»[90], редактор Роджер Энджел не выдержал. Он готов был признать за автором талант и мастерство, но отмечал, что больше не хотел бы иметь дело с его вопиюще мрачными произведениями. Редакторы, желающие иметь дело с Йейтсом, пришли работать в «Нью-Йоркер» лишь через девять лет после смерти писателя. Как бы то ни было, по окончании вечеринки пьяный Йейтс долго упрекал представителя издательства «Делакорт» за то, что те сняли ему комнату, а не апартаменты в «Плазе».

Зачем одинокому писателю, которому застарелая болезнь легких уже не позволяла без посторонней помощи преодолеть и пару ступенек

---

[90] Примечания: 90

Йейтс Р. Влюбленные лжецы. СПб.: Азбука-классика, 2010.

на лестнице отеля (что, впрочем, не мешало ему курить одну от одной и в той же манере поглощать бурбон), нужны были именно апартаменты, сразу не ответил бы и сам писатель. Он был абсолютно, совершенно одинок: сопровождать его на вечеринке в качестве «девушки» отказалась даже старая боевая подруга Уэнди Сиэрз, а ведь товарищеские отношения с ней основывались на незыблемом фундаменте издевательского отношения к серьезной политике! Совместное преодоление бесконечной скуки плановых и внеплановых совещаний у министра юстиции Роберта Кеннеди, где Йейтс обязан был присутствовать как штатный спичрайтер, а Уэнди — как секретарша, создавало связь, отменить которую была не в состоянии даже чисто женская обида.

У Сиэрз были не слишком стройные ноги. Наткнувшись в его романе на героиню с «непростительно толстыми лодыжками», она невинно спросила: «Дик, насколько толстыми позволительно быть лодыжкам, пока они не станут „непростительно толстыми“?» Грех неидеально стройных ног был ей отпущен: там, где дело идет о политике, чувство юмора важнее эротических ожиданий. На совещаниях у Кеннеди они обменивались уморительными записками

и карикатурами, после них — за кружкой пива в баре издевались над выступавшими, потом шли к себе на съемную квартиру, атмосферу которой не отягчали ни матримониальные планы, ни ожидания долгой счастливой жизни. Это было в начале шестидесятых, но и полтора десятилетия спустя Уэнди, успевшая за это время выйти замуж в Италии, развестись и вернуться в гущу нью-йоркской жизни, не переставала удивляться, насколько постоянным был ее боевой приятель Дик Йейтс: по ее словам, что в шестидесятые, что в восьмидесятые он продолжал существовать в атмосфере пятидесятых, намеренно не желая покидать эпоху, в которую создавался роман, принесший ему славу и, вероятно, сломавший ему жизнь.

Впрочем, завсегдатаем нью-йоркской «Плазы» Йейтс стал именно в годы своего спичрайтерства у Боба Кеннеди: на праздники он приезжал из Вашингтона, снимал в отеле апартаменты и привозил туда двух своих дочерей, Шерон и Монику, живших тогда с матерью в пригороде Нью-Йорка. Роскошь отеля покоряла дочерей, хотя младшая не могла избавиться от беспокойного чувства, что отцу все это не по карману. Возможно, именно эти воспоминания заставили его требовать

апартаментов после презентации «Плача юных сердец».

С первой женой, Шейлой, Ричард Йейтс расстался незадолго до публикации «Дороги перемен» (Revolutionary Road, 1961) — тревожного и отчаянно реалистического повествования[91] о пригородном существовании семейной пары, попытавшейся честно бороться за свое счастье, не разрушая взаимной близости. Борьба героев этой книги, завершившаяся самоубийством жены, была настолько жизненной, что старые приятели Йейтсов считали своим долгом сразу по прочтении романа осведомиться, жива ли Шейла, — и узнавали о разводе. Непосредственным поводом к разводу послужило пьянство. Кроме того, Шейле казалось, что начинающий автор не задумываясь переложил на нее все заботы о заработке, тогда как сам погрузился в бесконечные препирательства с собственным текстом, которому, по ее понятиям, уже давно пора было выйти в свет. Последний аргумент задел писателя до глубины души, и после развода Шейла не

[91] Примечания: 91

Книга не утратила своей тревожности и по сей день: иначе чем объяснить подмену в переводе сухого, фактического заглавия «Шоссе Революции» (всего лишь название улицы, на которой живут герои) туманной и отдающей китайскими гаданиями «Дорогой перемен»?

могла упрекнуть бывшего мужа только в одном: в том, что он просрочил или пропустил выплату алиментов. Отсутствующий муж стал для нее гарантом финансовой стабильности. Каковым никогда не был в совместной жизни.

Но, даже дисциплинировав себя до абсолютно надежного алиментоплательщика, Ричард Йейтс остался крайне неровным писателем по части производства новых текстов. После громкого дебюта с «Дорогой перемен» (в 1962 г. роман вошел в список финалистов Национальной книжной премии вместе с «Фрэнни и Зуи» Сэлинджера, «Уловкой-22» Джозефа Хеллера и «Кинозрителем» Уокера Перси, причем премию получил, разумеется, последний), после выхода сборника рассказов «Одиннадцать видов одиночества» (1962), за который Йейтс удостоился от французского критика Жака Кабо титула «Флобера, прошедшего суровую школу журнальной литературы», должно было пройти семь долгих лет, прежде чем свет увидел роман «Дыхание судьбы», не снискавший особого успеха. Когда еще через шесть лет был опубликован следующий, «Возмутитель спокойствия» (1975), критики единодушно наградили Йейтса обидным для сорокасемилетнего писателя званием «автора

одной книги». Даже поверхностных сведений о его писательской биографии достаточно, чтобы понять: в жизни Йейтса была какая-то фундаментальная проблема, и все, что с ним происходило — от огромного успеха его первых двух книг до отсутствия апартаментов в «Плазе», — эту проблему лишь углубляло.

Ричард Уолден Йейтс родился 3 февраля 1926 года в ближайшем пригороде Нью-Йорка, Йонкерсе. Свое детство он зафиксировал довольно близко к реальности в целом ряде произведений. Как и герой рассказа «Ах, Иосиф, я так устала!» из «Влюбленных лжецов», он жил с сестрой и матерью в Нью-Йорке и окрестностях, редко видел отца — сотрудника отдела продаж компании «Дженерал электрик», наделенного (по свидетельству сестры) чуть ли не оперным голосом. Мать Йейтса Рут, которую все кругом звали Дуки и которую сам он слегка переделал в «Пуки» в романе «Пасхальный парад»[92], была начинающим скульптором. Расставшись с мужем, она отправилась (прихватив детей) учиться мастерству в Париж, но уже спустя семестр вынуждена была вернуться домой из-за финансовых сложностей.

---

[92] Примечания: 92
СПб.: Азбука-классика, 2009, перевод Сергея Таска.

Что не отвратило ее от творческой работы: всю свою жизнь Дуки упорно продолжала заниматься скульптурой, изрядно выпивала, то и дело впадая в истерики, и без конца надеялась на персональную выставку, богатых коллекционеров и окончательное решение финансового вопроса. Она действительно лепила голову только что избранного президента Рузвельта, действительно заставляла своего сына позировать для садовых эльфов и фавнов, действительно (как героиня «Пасхального парада») переехала жить за город к замужней дочери, действительно продолжала работать по выходным до последнего дня. То же упорство позднее проявил в отношении словесного творчества ее сын. Только славы ему досталось заметно больше. Дуки не смогла получить не только посмертного признания, но даже и непредвзятой оценки: ко времени создания первой биографии ее сына[93] наследникам не удалось обнаружить ни единой скульптуры Рут Йейтс-старшей.

Старшей — потому что была еще и младшая Рут Йейтс, сестра писателя. Ее судьба с документальной точностью зафиксирована в романе

[93] Примечания: 93

Blake Bailey. A Tragic Honesty. The Life and Work of Richard Yates. London, Methuen, 2003.

«Пасхальный парад». Рано выйдя замуж за красавца-соседа (вылитый Лоуренс Оливье!), Рут, с детства стремившаяся стать писательницей, стала вместо этого матерью троих детей, жертвой семейного насилия и жесткого алкоголизма. Она умерла в сорок шесть лет, и если у нее с младшим братом и была общая фундаментальная проблема, то Рут так и не смогла ее преодолеть.

Проблемой, очевидно, был затрудненный — с финансовой, психологической, образовательной и прочих, какие только можно представить, сторон — старт. Для одного только преодоления всех этих затруднений требовалась едва ли не вся жизнь. Однако в придачу ко всем отягчающим обстоятельствам у этого старта имелся еще и рано артикулированный финиш: сын «ненастоящей» скульпторши Рут Йейтс хотел стать «настоящим» писателем. Сделать это было почти невозможно.

Переходя из школы в школу из-за вечных переездов, вызванных столь же вечной неуплатой за очередное снятое жилье, Йейтс рано понял, что значит быть худшим: он был хуже всех в классе одет, хуже всех накормлен, хуже всех учился и хуже всех проводил выходные. Говорить о каникулах даже не приходилось: к очередным каникулам они, как правило, успевали в очеред-

ной раз переехать. В какой-то момент стремление Дуки к прекрасному и невозможному принесло плоды, и Ричарда, уже вообще отказывавшегося ходить в какую-либо школу, отправили в частный интернат для мальчиков «с проблемами». Школа, подробно описанная в романе «Хорошая школа» (1978), действительно оказалась неплохой, и Йейтс мог бы стать совершенно счастливым молодым человеком — главным редактором школьного журнала «Крылатый бобер», начинающим литератором с вечной сигаретой в зубах и завидным красавцем, — если бы не смерть отца. Винсент Йейтс умер от пневмонии в 56 лет, и его единственный сын остался в конце 1942 года не только без отца, но и без денег, необходимых для оплаты последних полутора лет школы.

Школу — правдами и неправдами — удалось окончить. Ради этого Йейтсу пришлось работать каждые каникулы газетным курьером, а Дуки — расстаться на время с артистическими замашками и устроиться на фабрику, выпускающую манекены. Но даже и такая жертва не могла уберечь ее сына от армии. Шла война, и, пройдя начальную подготовку пехотинца в 1944 году, Йейтс в начале января сорок пятого очутился в Англии. Последняя серьезная опера-

ция, проводившаяся при участии американских пехотинцев, в Арденнах, подходила к победному концу, и прибывших новобранцев переправили прямиком на континент, в Нормандию. Йейтсу хватило недели, чтобы получить серьезное воспаление легких, которое вывело его из строя до самой весны и оставило на всю жизнь легочным больным.

За год военной службы (Йейтс демобилизовался в январе 1946 г.) он не сделал ни одного выстрела, зато увидел Париж и Лондон, получил пожизненное право на бесплатное лечение в ветеранских госпиталях, а также возможность обучаться в университете за счет государства. Впрочем, последней возможностью Йейтс воспользовался только как упущенной: до конца своей жизни он, уже имея немалый опыт преподавания в разных университетах, не уставал горевать, что сам университета так и не окончил.

Оправданием такого жизненного попустительства была Дуки, которую нужно было содержать и утешать. Другим оправданием — необходимость посвящать писанию все свободное от работы время. Стараясь взлететь, Йейтс будто намеренно усложнял условия старта. Очень скоро переносить пьянство и артистический самообман Дуки

стало невыносимо; писать тоже не получалось, и, сложив из двух невозможностей третью, Йейтс, как потом не раз случалось в его жизни, решил, что обнаружил верный путь к спасению: он женился. Хемингуэй из него получался образцовый: к двадцати двум годам он успел побывать на войне, отказаться от учебы, поработать в газете и жениться. Сходства не было лишь в одном: ничего из написанного для публикации пока не годилось. Газетная работа тоже была далека от настоящей журналистики — Йейтс составлял биржевые сводки, не всегда понимая значение финансовых терминов, которые ему приходилось употреблять. Из такой ситуации профессиональная дорога могла вести начинающего писателя только в одном направлении — в пиар. Йейтс продал душу восходящему капитализму и стал копирайтером компании «Ремингтон Рэнд», начинавшей тогда производство первого в мире коммерчески успешного компьютера, UNIVAC.

Знакомые реалии российских девяностых, но даже и здесь американский опыт был чуть иным. Перегруженного работой рекламиста, страдающего от хронической усталости и уже пытавшегося расстаться с женой, покончить с собой, а после рождения дочери почти даже отказавшегося от

писательских амбиций, спас бесплатный ветеранский госпиталь, где стремительно худевшему молодому человеку диагностировали туберкулез. Йейтса уложили в постель и наказали как можно меньше двигаться. Собственно, только этого он к тому моменту и хотел. Коллеги по работе принесли ему коробку классических романов, и пригородная нью-йоркская больница стала для будущего романиста университетом, вырваться из которого у него уже просто не было сил.

С успехом усложнив условия своего писательского старта еще раз, Йейтс после выписки обнаружил, что ему полагается пенсия. Он трезво оценил свои финансовые возможности, купил билет на пароход и отправился с семьей во Францию, а оттуда через некоторое время в Лондон. Именно там — вдали от «Ремингтон Рэнд» и страдающей от собственных истерик Дуки — ему удалось написать первые принятые к печати вещи. Впрочем, успех дорогого стоил. Шейла Йейтс не смогла найти себе занятий в Европе и, расстроенная тем, что муж ни на час не отрывался от письменного стола и, несмотря на кашель, продолжал курить по нескольку пачек в день, уехала с дочерью домой, решив, что развод можно будет оформить и потом. Здесь снова

повторилась определяющая жизнь Йейтса формула: любое преодоление изначальной трагедии всегда оборачивается еще более глубоким провалом. Ричард Йейтс всю жизнь ни на минуту не забывал об этом и, преодолевая уверенность в грядущем провале, продолжал по возможности писать, упорно цепляясь за воспоминания о молодой решимости и за пятидесятые годы, когда литературный успех и жизненный провал впервые пришли к нему вместе. Одинокое утро в Лондоне, когда он получил известие о том, что его рассказ принят к публикации журналом «Космополитен», навсегда осталось самым счастливым воспоминанием в его жизни.

За возвращением на родину последовало воссоединение с женой, рождение второй дочери, освоение жизненного уклада фрилансера, долгая работа над первым романом, окончательный развод. На сей раз расставание с женой, совпавшее с огромным успехом «Дороги перемен», повлекло за собой еще более глубокое падение. В какой-то момент, пьяный от сыплющихся со всех сторон похвал и долгого алкогольного марафона, Йейтс обнаружил, что не может спать, не слишком контролирует собственные действия и отчего-то мнит себя Иисусом Христом. В 1960 году, еще до

официального выхода романа в свет, он впервые становится пациентом психиатрической клиники. Ниже падать (впрочем, как и выше взлетать) было уже некуда, и с этого момента градус благополучия в жизни писателя определялся тремя параметрами: ходом работы над очередной книгой, текущей степенью алкоголизма и частотой попадания в психушку. Но даже и при таких вводных в его жизни хорошо прослеживалась кривая взлетов и падений.

К 1984 году Йейтс успел поработать сценаристом в Голливуде (где его сценарий по роману Уильяма Стайрона «Сойти во тьму» был с восторгом принят, но так и не поставлен), спичрайтером у Роберта Кеннеди, преподавателем писательского мастерства в Высшей школе социальных исследований в Нью-Йорке, профессором в той же компетенции в Айове, Канзасе и Массачусетсе, успел жениться во второй раз, в третий раз стать отцом (а потом и дедом), пережить еще один развод и окончательно определить необходимый для дальнейшей работы жизненный уклад. Йейтс жил теперь в Бостоне, менее дорогом и куда более старомодном, чем Нью-Йорк, снимал небольшую квартиру в центре, мучился по утрам похмельем, днем писал, а вечера неизменно проводил в

ирландском пабе «Кроссроудз», где его хорошо знали и ничему не удивлялись. Большинство заработков он по-прежнему перенаправлял на нужды дочерей, советами взяться за ум и позаботиться о здоровье по-прежнему гнушался и в отношении жизненных стандартов продолжал пребывать, как метко заметила Уэнди Сиэрз, в дорогих ему пятидесятых.

И в восьмидесятые годы он по-прежнему носил костюмы, а не джинсы, ел стейки, а не пиццу, не выносил женщин за рулем и оставался гомофобом даже тогда, когда выяснилось, что его собственный литературный агент — гей. Йейтсу было абсолютно безразлично, куда идет время, его целиком занимала цель, поставленная себе в те самые пятидесятые: он должен был опубликовать пятнадцать книг, за три или четыре из которых ему не должно быть стыдно. Именно в этих словах описывает свои устремления один из героев «Плача юных сердец», немолодой, но все еще начинающий писатель Карл Трейнор — одно из альтер эго автора, действующих в этом

романе[94].

Что же до романа, то он о любви. Но не о любви людей друг к другу — этого там нет и в помине. Единственной прочной человеческой привязанностью Майкла Дэвенпорта так и остается до конца книги Диана Мэйтленд. В этой любви он признается даже не ей, а своим старым приятелям в самом конце, то есть два брака и три сборника стихов спустя. Да и любовь эта могла сохраниться лишь потому, что он не пытался ее высказать, то есть сделать материалом для той страсти, что поглощает его, а также и всех остальных героев романа, — страсти к искусству.

С искусством связаны все: Майкл Дэвенпорт пишет стихи и пьесы, его ближайший друг и соратник по «Миру торговых сетей» Билл Брок мечтает написать пролетарский роман, Томас Нельсон и Пол Мэйтленд — художники, Диана Мэйтленд выходит замуж за театрального режиссера и так далее. Вот только с искусством у них у всех отношения разные. Счастливыми они

---

[94] Примечания: 94

До своей смерти в 1992 г. Ричард Йейтс успел опубликовать семь романов и два сборника рассказов. Роман из времен его спичрайтерства у Р. Кеннеди «Неясные времена» остался незавершенным. Первую часть программы писатель, очевидно, не выполнил. Зато вторую можно считать осуществленной.

оказались разве что у Томаса Нельсона: искусство в лице музейщиков и галеристов отвечает ему взаимностью, причем взаимность эта имеет также и финансовое выражение. Ни разу в романе Нельсон не рассуждает о сути своих занятий. Он будто бы никогда и не решал стать художником — просто он этим занимается. Будто бы никаких слов, кроме чисто технических, он о своей работе сказать не может. Отношения с жизнью у него совершенно гармоничные, единственная проблема в том, что у него слишком много детей. Они, конечно, милые, с ними можно играть в солдатиков, но все же четверо — это излишество. Фигурой Тома Нельсона Йейтс как будто нарочно иллюстрирует романтическое понятие гения: гений — дитя природы, и плоды его трудов — все равно что игра стихий. Чем меньше он думает, тем аутентичнее его произведения. Словом, «дуракам везет».

И Майкл действительно относится к нему не без зависти. Собственно, их отношения вообще возможны исключительно потому, что Нельсон — художник, а не писатель. Чего стоит хотя бы постоянная фиксация Майкла на «незаслуженном» танкистском жилете, который носит Нельсон: если в искусстве они не соперники, то уж по

части войны фронтовик Майкл так и стремится преподать чрезмерно удачливому приятелю моральный урок. Пол Мэйтленд поначалу вообще наотрез отказывается знакомиться с более успешным коллегой и называет Нельсона «выскочкой», очевидно, потому, что убежден: искусство требует от художника страданий. Дэвенпорт хоть и называет подобное отношение «глубокомысленным бредом» о Великом Трагическом Художнике, Мэйтлендом тем не менее очарован. На первых же страницах мы узнаем, что Мэйтленд — фронтовик, но говорить об этом не любит. И по всему получается, что искусство неразрывно связано для него с практикой избывания собственной боли. Мэйтленд готов проработать всю жизнь плотником — лишь бы у него была санкционированная культурой возможность регулярно возвращаться к травматическому прошлому. В Америке об этой стороне творчества постоянно напоминал Курт Воннегут. Излечиться от войны невозможно, говорил он. Можно только изживать этот опыт в своем творчестве. Искусство есть своего рода терапия, а произведения — лишь слепки с искалеченной души.

Йейтс и соответственно его романный двойник Майкл Дэвенпорт думают об искусстве в других

терминах. Основной творческий принцип Майкла мы узнаем на первой же странице: делать сложные вещи простыми. Не выдавать их за простые, а передавать сложность так, чтобы она обнаруживала в себе простоту. Забавно, что эту мудрость Майкл почерпнул на военных курсах. Она была подана ему как принцип профессионализма в любом деле. Значит, искусство есть для него ремесло? Да. Которому можно и нужно учиться? Конечно. Тогда почему обращение к этому ремеслу сопряжено с такими жертвами? Зачем отказываться от денег жены и обрекать себя на бессмысленную работу, зачем препираться с самим собой, оправдывая такое «попустительство», как бесплатное ветеранское обучение в Гарварде? Откуда кокетство? К чему щепетильность?

Похоже, «глубокомысленный бред» о Великом Трагическом Художнике кажется Майклу неприемлемым ровно по тем же причинам, что и культурный гедонизм Гарварда: поэтическое ремесло каким-то таинственным образом связано у него с внутренней самодисциплиной. Искусство есть работа над формой, но мастерство оттачивается исключительно ради внятного изображения важнейшего. И Полу Мэйтленду, с его спонтанным абстрактным монументализмом, Майкл вменяет

в вину именно непрофессионализм. Он готов признать его искренность, но не может простить непроработанности. Самый тяжкий грех для Майкла — оторвать произведение от некой очевидной «жизненной правды», от соотнесенности с опытом человеческих переживаний, лишить его понятной другим душевной предметности. Отсюда — огромное раздражение, которое он переживает при виде беспредметной живописи.

Второй смертный грех — превратить искусство в развлечение. По сути, Майкл в этом вопросе разделяет позицию Сэлинджера, который, если верить воспоминаниям его дочери Маргарет, властно запрещал окружающим «баловаться» искусством даже в такой невинной форме, как получение искусствоведческого образования. Понимать искусство должны — в силу важности его предмета — все; заниматься его производством — только мастера, достигшие совершенства благодаря суровой самодисциплине. Искусствоведы излишни. Любительство непростительно.

Похоже, именно по причине этого своего убеждения ни Йейтс, ни Сэлинджер не получили в 1962 году Национальной книжной премии: как признался один из судей того года, романист Герберт Голд, ему хоть и нравилось, как пишет

Йейтс, роман показался излишне монотонным — слишком много было в нем боли. «Если не получаешь от писания удовольствия, какой смысл продолжать?» — спрашивает Голд, тогда как оба финалиста того года прямо запрещают себе всякое связанное с творчеством удовольствие. Искусству, по их мнению, следует предаваться не иначе как с фанатичным упорством, разве что Сэлинджер обставлял предмет своего поклонения восточными ритуалами, а Йейтс выбирает в качестве своего ритуала саморазрушительную практику алкоголизма. Монотонная повторяемость как необходимая характеристика ритуала присутствует в обоих случаях.

Получается, искусство — занятие религиозное. Или, принимая во внимание отсутствие в этом деле какого-либо бога, занятие в кантовском смысле нравственное. «Писать» означает для Йейтса и его героя Дэвенпорта «исполнять долг». Какие здесь могут быть удовольствия? В этом смысле разногласия Голда и Йейтса исчерпывающе описывает шиллеровская эпиграмма на Канта:

> — Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность.
>
> Вот и гложет вопрос: вправду ли нрав-

ственен я?

— Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье.

И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг.

Однако перед кем этот долг? Почему именно искусство подминает под себя все традиционные сферы нравственности? Разве для исполнения долга не достаточно просто поступать по совести? Искусство не знает ответов на эти вопросы. Неясность адресата служения и неопределенность возмездия тревожат. Долг перетолковывается в долг перед собственным талантом. Опубликованные книги становятся вещными свидетельствами его исполнения. Майкл Дэвенпорт долго думает, что живет, только когда пишет. Лишь к концу романа он признает, что достоинство человека может измеряться не только количеством написанных стихотворений. Он идет по улице и вдруг понимает, что хорошие ботинки могут с тем же успехом служить вещным выражением его человеческого достоинства, что и тома, пылящиеся на полках университетских библиотек.

Интересно, что нравственное служение искусству обнаруживает в романе и свою обратную

сторону. Ее демонстрирует судьба Люси Дэвенпорт. После развода с Майклом все свои силы она тратит на то, чтобы привнести в свое существование хоть какой-нибудь смысл. Люси попросту не знает, чем ей заняться: унаследованные от отца миллионы освобождают от всяких необходимостей, круг семейных дел исчезает вместе с исчезновением мужа. Как героини нью-йоркских фильмов Вуди Аллена, она пытается заполнить внутреннюю пустоту полнотой, будто бы присущей искусству. От кого она узнала об этой полноте? Надо думать, от бывшего мужа, без колебаний посвящавшего все свободное время сочинительству. Пока профессиональный поэт бился над словами ради осуществления собственного предназначения, его непосвященная жена видела в его мучениях воплощенную полноту жизни. Так начинаются блуждания ничем не занятой молодой женщины в пантеоне искусств. Практика непростительного любительства, изнутри оправданная желанием прикоснуться к самому важному.

Начинает Люси, вполне понятно, с обращения к актерскому опыту собственной молодости. И успешно повторяет его во всех подробностях: один сезон она играет на сцене Бланш Дюбуа

— играет потому, что ей случилось познакомиться с молодым режиссером летнего театра, стать его любовницей и выручить любимого по случаю нехватки подходящей актрисы. Сезон заканчивается, и подающий надежды режиссер уезжает, связав свою судьбу с другой актрисой из своей труппы. Далее следуют прочие доступные взрослому человеку искусства, причем занятия каждым из них сопровождаются у Люси романом с человеком соответствующей творческой профессии, и в каждый следующий она вкладывает все меньше искренности и надежд. Всякий раз она обнаруживает в себе полное отсутствие «таланта», то есть ту самую пустоту, бегство от которой и обращает ее к искусству. Она продолжает следить за жизненными историями своих приятелей и внимать произведениям своих любовников — с той же проницательностью, с какой у Вуди Аллена неудачливая в искусстве героиня картины «Ханна и ее сестры» читает роман Ричарда Йейтса «Пасхальный парад»[95].

Но вот что примечательно: жизненный вывод,

[95] Примечания: 95

Справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от своих алленовских женщин-двойников, Люси никогда не занималась фотографией. Подчеркнуто старомодный Йейтс просто не считал это крайне модное в семидесятые годы занятие в достаточной мере «искусством».

к которому она в итоге приходит, не далеко отстоит от великого открытия ее бывшего мужа, обнаружившего символ человеческого достоинства в приличных ботинках. Люси жертвует все свое состояние на нужды «Эмнести интернешнл», понимая вдруг, что «в мире есть люди, сталкивающиеся с реальными проблемами». Так роман о беззаветной любви к искусству оборачивается в конце концов рассказом о самообольщении и возвращает человеческим поступкам и занятиям их истинный смысл. Особое предназначение искусства — лишь миф XX века. Лучше быть достойным человеком, чем неудавшимся художником.

Не все оценили по достоинству эту тонкую композицию из утраченных иллюзий, но больше других возмущались друзья писателя. Юмор, исподволь пробивающийся в каждой сцене романа, строится у Йейтса на обостренном ощущении нелепости жизненных обстоятельств, на стыдной абсурдности ситуаций. Герои (в большинстве своем — амбициозные творцы) не видят того, что перед ними, не слышат того, что им говорят, и не понимают, что с ними происходит. Как бы в подтверждение этой мысли прототип Тома Нельсона, успешный художник Боб Паркер, написал предельно серьезный отзыв на роман

и озаглавил его *A Clef*[96]. Паркер обнаружил в книге не вымышленных героев (каковые, по его представлениям, должны были там действовать), а реальных людей своего круга и единственным интеллектуальным усилием, уместным при чтении такого текста, счел расшифровку подставных имен. Это занятие не принесло ему удовольствия. «Все было не так!» — возмущался Паркер. Во-первых, главный герой, в судьбе которого явно проглядывают злоключения Йейтса, наполовину списан с другого человека — поэта Питера Кейна Дюфо, выпускника Гарварда, боксера и мужа богатой жены, что нарушает жанровые правила «романа с ключом». А во-вторых, танкистский жилет Нельсона, так возмущавший Дэвенпорта своей «незаслуженностью», подарил Паркеру сам Йейтс.

Другой приятель Иейтса, критик «Нью-Йорк таймс» Анаголь Бройярд, тоже пошел на принцип, однако его интересовали уже не прототипы, а замысел. В чем смысл столь тонкого разбирательства в трагических нелепостях жизни — спрашивал он. Что это — метафизика или энтомология? Если это метафизика, то почему она

---

[96] Примечания: 96

Французское жанровое обозначение, «роман с ключом», в котором реальные лица и события замаскированы под выдуманные.

так мелка и ничтожна, а если энтомология, то какой от нее прок пыжащимся и страдающим нью-йоркским насекомым?

Бройярд был проницательным человеком, достаточно напыжившимся за свою жизнь в статусе начинающего романиста, чтобы с апломбом задавать в рецензиях принципиальные вопросы. Он знал, конечно, что никакая метафизика, разводимая по поводу человеческой жизни, без энтомологии смысла не имеет, равно как не имеет никакой цены спокойное достоинство рядового поэта Дэвенпорта без целой жизни, поставленной на службу «Миру торговых сетей» ради мелкого удовлетворения от способности самостоятельно зарабатывать на «приличное» существование, без долгого потакания себе (в чем бы оно ни выражалось — в пьянстве, как у Дэвенпорта, или в безудержном увлечении психологией, как у его жены Люси), без оправданий этого потакания необходимостью выполнять тупую работу для «Мира торговых сетей» и без повторного прохождения этого порочного круга в искусстве. Как, не прибегая к энтомологии, показать трагизм поэтического «призвания» Майкла, не желающего считать сочинительство обыкновенным (разве что убыточным) ремеслом,

верящего в особую природу искусства и при этом прекрасно знающего, что оно не принесет избавления? Чем, как не пройденным по многу раз кругом самообмана, можно обосновать финальную удовлетворенность героя? Метафизический ответ, содержащийся в последних строках, невозможен без детального знания собственных границ, без убежденности в том, что ограниченность присуща в равной мере и другим, без понимания нелепостей, трудностей, горестей и самых нелицеприятных мотивов других людей. Иными словами, метафизика без энтомологии невозможна. Точнее, она бессодержательна, ибо свелась бы в таком случае к простой истине о том, что люди рождаются, живут и умирают.

И похоже, что толкового писателя от бестолкового (вести речь о величии в свете сказанного в романе не приходится) отличает как раз способность к энтомологически точному изображению жизни, проникнутого не только пониманием каждой детали, но и единственно возможным «метафизическим» знанием о ней. Да, человеческие насекомые нелепо барахтаются в общественной невнятице, тонким слоем покрывающей земной шар. Но дело, вероятно, в том, что барахтаются они каждый по-разному. Свести

бройярдовскую антиномию воедино можно лишь в очень хорошем романе. На то, чтобы понять, что он хороший, уходит еще несколько десятков лет.

Статус современного классика достался Ричарду Йейтсу через десять лет после смерти в результате случайного шевеления массы писателей и критиков[97]. Публикация в «Нью-Йоркере»[98] способствовала переизданиям. Переиздания — экранизации «Дороги перемен»[99]. Экранизация — переводам на иностранные языки. Едва ли в этом расползании романов есть какой-то метафизический смысл. Но как произведения ни от чего не спасающего искусства они превосходны.

Ольга Серебряная

---

[97] Примечания: 97

Особенную роль сыграло эссе Стюарта О'Нана «Потерянный мир Ричарда Йейтса: произведения великого писателя века тревог больше не переиздаются», опубликованное в 1999 г. в журнале «Бостон ревью».

[98] Примечания: 98

В 2001 г. «Нью-Йоркер» отметил переиздание сборника рассказов Йейтса публикацией рассказа «Пролив», ранее журналом отвергнутого.

[99] Примечания: 99

Режиссер Сэм Мендес, в главных ролях — дуэт из «Титаника»: Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет (2008).